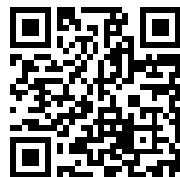

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>





Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

Rd 11
I.



Rd 11
I.

16.



Slovenská knihovna

SLOVANSKÁ KNIHOVNA

3186287369



3186287369

Handwritten text at the top right corner, possibly a page number or date.

38870

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
10 В.
В. Ю. ЖАДОВСКОЙ.

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ
СЪ ПОРТРЕТОМЪ, ФАКСИМИЛЕ И БИОГРАФИЧЕСКИМЪ ОЧЕРКОМЪ
ПОДЪ РЕДАКЦІЮ П. В. БЫКОВА.

Томъ I.

БЮГРАФІЯ.—СТИХОТВОРЕНІЯ (1844—1859).—ПОВѢСТИ
(1849—1859).

ВТОРОЕ ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.

Первое изданіе одобрено Ученымъ Комитетомъ
Мин. Нар. Просвѣщенія, какъ полезный мате-
риаль для чтенія ученикамъ и ученицамъ сред.
учебныхъ заведеній за № 6744-мъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книгопродавца И. П. Перевозникова.
1894.





Дозволено ценз. Спб. 4 Декабря 1884 г.



Н. Мухоморова

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Приступая къ изданію полного собранія сочиненій покойной моей сестры, извѣстной писательницы Юліи Валеріановны Жадовской, я съ своей стороны употребилъ всѣ старанія, чтобы собрать ея сочиненія, какъ напечатанныя при ея жизни и разсыянные по разнымъ періодическимъ изданіямъ, такъ и найденныя послѣ ея смерти, что и удалось мнѣ сдѣлать при содѣйствіи Петра Васильевича Быкова, редактировавшаго настоящее изданіе. Обращался я также съ просьбою и ко всѣмъ, у кого могли быть ея сочиненія не напечатанныя, и многіе удостоили почтить память писательницы присылкою мнѣ нѣсколькихъ ея произведеній и писемъ.

*Считаю священною обязанностію и съ глубокой душевной признательностію заявить, что въ изданіи сочиненій моей сестры, въ матеріальномъ отношеніи, приняли участіе **ВЫСОЧАЙШІЯ** особы, Члены **ИМПЕРАТОРСКАГО** дома, а затѣмъ нѣкоторые высокопоставленныя лица, истинные любители всего изящнаго въ литературу. Пусть сохраняются въ исторіи русской литературы и вспомянутся благодарнымъ потомствомъ почтенныя имена ихъ: первая—покойная **Апполинарія Михайловна Веневитинова**, урожденная **Графиня Віельгорская**, **Генералъ-Адъютантъ Оттонъ Борисовичъ Рихтеръ**, **Графъ Иларіонъ Ивановичъ Воронцовъ-Дашковъ**, **Статсъ Секретарь Иванъ Давидовичъ Деляновъ** и **Флигель-Адъютантъ Илья Александровичъ Зеленый**.*

Павель Жадовскій.

ЮЛІЯ ВАЛЕРІАНОВНА ЖАДОВСКАЯ.

Извѣстная поэтесса Юлія Валеріановна Жадовская происходитъ изъ довольно древняго дворянскаго рода. Отецъ ея, Валеріанъ Никандровичъ Жадовскій, воспитанникъ морскаго кадетскаго корпуса, сперва служилъ во флотѣ, а потомъ, выйдя въ отставку съ чиномъ капитанъ-лейтенанта, перешелъ въ гражданское вѣдомство, состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій при ярославскомъ губернаторѣ и окончилъ свое служебное поприще предсѣдателемъ ярославской гражданской палаты, въ чинѣ статскаго совѣтника. Мать Юліи Валеріановны, Александра Ивановна Готовцева также дворянскаго происхожденія, воспитывалась въ Смольномъ Институтѣ, гдѣ оказывала блестящіе успѣхи и, записанная на золотой доскѣ, была большой любимицей покойной императрицы Маріи Феодоровны и вышла изъ института съ нифромъ. Въ замужствѣ она прожила только три года и умерла, оставивъ двухъ дѣтей: дочь—Юлію и сына—Павла. Юлія, будущая поэтесса, была первымъ ребенкомъ и родилась 29-го іюня 1824 года, въ родовомъ имѣніи отца, сельцѣ Субботинѣ, любимскаго уѣзда, ярославской губерніи. Судьба отнеслась, на первыхъ-же порахъ, совсѣмъ не ласково къ новому пришельцу въ міръ: ребенокъ родился съ физическимъ недостаткомъ—безъ лѣвой руки и только съ тремя пальцами на правой; мало того, онъ, не успѣвъ окрѣпнуть, лишился матери, имѣя всего годъ и нѣсколько мѣсяцевъ. Такимъ образомъ Юлія Валеріановна довольно рано почувство-

вала себя несчастной; и физическій недостатокъ, и сиротство, съ самыхъ юныхъ лѣтъ, повліяли на ея впечатлительную натуру и были причиною грусти, которая осталась на всю жизнь въ ея характерѣ. Отсюда становится понятнымъ тотъ меланхолическій, грустный оттѣнокъ, какимъ отличаются почти всѣ произведенія писательницы, невидавшей материнскихъ ласкъ и принужденной постоянно стѣсняться упомятымъ физическимъ недостаткомъ.

По смерти матери, братъ Юліи Валеріановны, Павелъ былъ отвезенъ въ Москву, въ первый кадетскій корпусъ, а трехлѣтнюю сестру его взяла на свое попеченіе родная бабка дѣвочки съ материнской стороны, Настасья Петровна Готовцева. Она добрымъ сердцемъ своимъ поняла положеніе сироты, поняла ясно, что мужчина, будь это самый любящій и сердцебольный отецъ, не можетъ замѣнить своему ребенку мать, не въ состояніи окружить его тѣми нѣжными попеченіями и заботами, на какія способна только женщина. А бабушка, къ тому-же, была одинока и могла посвятить себя всецѣло своей внучкѣ, ребенку нѣсколько болѣзненному, тихому, робкому и симпатичному, къ которому нельзя было не привязаться. Она перевезла внучку въ свое родовое помѣстье, село Панфилово, находящееся въ верстахъ двадцати отъ уѣзднаго городка Буя. Бабушка малолѣтней Юліи не получила блестящаго образованія и была воспитана въ духѣ тогдашняго времени, когда отъ женщины средняго круга требовалось немного: умѣнье держать себя въ обществѣ, болтать по-французски, брѣнчать на фортепіано и умѣть танцовать. Но у старушки Готовцевой былъ недюжинный умъ, хотя и простой, безхитростный, однако трезвый; она много читала, много видѣла на своемъ вѣку и, на сколько могла, старалась быть полезной своей внучкѣ, окруживъ ее чисто материнскими заботами. Женщина высоко-нравственная, религіозная, она воспитывала внучку по своему, что называется «въ страхѣ Божиѣмъ», не стѣсняла ее, но вмѣстѣ съ тѣмъ зорко слѣдила за каждымъ ея ша-

гомъ. На шестомъ году она начала, шутя, учить внучку грамотѣ, но, въ виду слабого здоровья ея, не особенно налегала на ученіе, тѣмъ не менѣе Юлія выказала много понятливости, прилежанія, любознательности и сама, безъ посторонней помощи, выучилась писать, такъ какъ бабушка затруднялась учить письму внучку, въ силу ея физическаго недостатка, и ограничивалась бесѣдами съ ней о прочитанномъ, да заставляла ее твердить молитвы и пересказывать событія изъ священной исторіи. Часто бабушка заставляла ее читать вслухъ, вслѣдствіе чего маленькая Юлія незамѣтно пристрастилась къ чтенію и жадно поглощала все то, что заключала въ себѣ небогатая бібліотека старушки, состоявшая изъ старыхъ журналовъ и беллетристическихъ произведеній. Такъ росла она, пользуясь деревенской полной свободой, на лонѣ природы и болѣе всего любила уединеніе, любила, хотя и безсознательно, отдаваться созерцанію красотъ природы, подъ благотворнымъ вліяніемъ которой складывался характеръ дѣвушки, мечтательный, вдумчивый, терпѣливый. Чтеніе тоже дѣлало свое дѣло, пробуждая въ нѣжной, отзывчивой душѣ ея лучшія человѣческія чувства. Эту жизнь свою въ старинной барской усадьбѣ, подъ крылышкомъ милой и нѣжно-любящей бабушки, Юлія Валеріановна воспроизвела впослѣдствіи въ романѣ «Въ сторонѣ отъ большаго свѣта», посвятивъ описанію мирной сельской жизни нѣсколько прелестныхъ поэтическихъ страницъ; хотя она слегка идеализировала типъ бабушки, но въ общихъ чертахъ онъ вышелъ какъ живой.

Когда Юліи Валеріановнѣ исполнилось пятнадцать лѣтъ, бабушка, не смотря на всю привязанность къ внучкѣ, рѣшилась разстаться съ ней, такъ какъ въ молодой, мечтательной головкѣ начинала уже шевелиться работа мысли и пробуждаться жажда знанія. Словомъ, бабушка рѣшила, что внучкѣ пора учиться и съ этой цѣлью отвезла ее въ Кострому, къ ея родной теткѣ Аннѣ Ивановнѣ Корниловой, урожденной Готовцевой. Тетка эта была женщина свѣтская, весьма образованная для

своего времени, страстно любила литературу и сама участвовала въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ конца двадцатыхъ годовъ: въ «Московскомъ Телеграфѣ», «Сынѣ Отечества», «Галатеѣ» С. Е. Раича и друг., помѣщая статьи и стихотворенія. Анна Ивановна Корнилова дѣятельно принялась за образованіе своей племянницы; сама преподавала ей языки, географію и исторію, а сельскій священникъ училъ ее закону Божію. Потомъ, по желанію отца, Юлія Валеріановна поступила въ востромской пансіонъ Прибытковой, гдѣ училась прекрасно, но особенные успѣхи оказывала въ русской словесности. Предметъ этотъ преподавалъ въ пансіонѣ молодой, талантливый педагогъ, Петръ Мироновичъ Перевлѣсскій, вандидатъ московскаго университета, впоследствии профессоръ Александровскаго лицея, извѣстный своими трудами по филологіи и исторіи словесности. Онъ обратилъ особенное вниманіе на Юлію Валеріановну, сталъ руководить ея занятіями, выбиралъ ей книги для чтенія и способствовалъ развитію ея эстетическаго вкуса. Кончилось тѣмъ, что учитель влюбился въ свою ученицу, которая отвѣчала ему взаимностью; любовь молодыхъ людей продолжалась цѣлыхъ пять лѣтъ. Къ этому времени ея первой любви относится ея стихотвореніе «Короткая повѣсть»:

Они оба такъ молоды были,
И другъ друга такъ нѣжно любили?
Мало счастья дано имъ въ удѣлъ—
Имъ разсудокъ разстаться велѣлъ.
Они, бѣдные, плакали много,
И пошли въ жизни разной дорогой...

Перевлѣсскій рѣшилъ просить ея руки, но отецъ Юліи Валеріановны рѣшительно воспротивился этому браку; человекъ, зараженный старыми предрассудками, онъ никакъ не могъ примириться съ мыслью, что дочь его, дворянка, выйдетъ замужъ за бывшаго семинариста. Покорная дочь не пошла противъ воли отца и должна была разстаться съ любимымъ че-

ловѣкомъ, глубокое чувство къ которому оставило замѣтный слѣдъ въ ея разбитомъ сердцѣ. Перевѣтскій былъ переведенъ въ Москву на службу, а Юлія Валеріановна, послѣ этого, переѣхала жить къ отцу, въ Ярославль. Отецъ сильно любилъ ее, но у него былъ суровый непреклонный характеръ, и подъ его опекой Юліи Валеріановнѣ жилось не легко. Старый морякъ, привыкшій къ служебной дисциплинѣ, завелъ у себя въ домѣ строгіе порядки, на военный манеръ. Къ чаю, обѣду и ужину всѣ домашніе обязаны были собираться въ назначенные часы и минута въ минуту. Къ одиннадцати часамъ ночи, по его приказанію, огни въ домѣ гасились и все погружалось въ глубокой сонъ.

Но не спала Юлія Валеріановна: она долго, иногда вплоть до разсвѣта, грезила о любимомъ человѣкѣ, и плодомъ этихъ грезъ и безсонныхъ ночей являлись первые поэтическіе опыты ея. Эти опыты, въ черновой тетради ея помѣченные 1842 годомъ, Юлія Валеріановна исключила изъ собранія своихъ стихотвореній (1858 г.), а между тѣмъ, между ними попадаются очень граціозныя, миленькія пьески, въ которыхъ уже чувствовалась будущая симпатичная поэтесса. Вотъ, напримѣръ, одна изъ подобныхъ пьесъ:

Не на землѣ ищи ты вдохновенья,
 Не въ этой жизни бѣдной, мелочной,
 Но чаще ты, въ часы уединенья,
 Гляди на небо съ мыслию благой.
 И думы свѣтлыя въ умѣ твоемъ родятся;
 Забьется сердце чаще и сильнѣй
 И чувства всѣ надеждой озарятся:
 Душою станешь ты и лучше и свѣтлѣй.

Однако молодая поэтесса писала стихи втихомолку и показывала ихъ сперва только своей двоюродной сестрѣ, дѣвужкѣ-сиротѣ, которая, по желанію Юліи Валеріановны, была съ девяти лѣтъ взята въ домъ Жадовскихъ и дѣлила съ нею ея одинокую, невеселую жизнь. Впослѣдствіи, она сдѣ-

лалась какъ-бы домашнимъ секретаремъ ея, и Юлія Валеріановна диктовала ей очень часто свои произведенія. Но, наконецъ, о поэтическихъ опытахъ дочери узналъ и отецъ и рѣшилъ дать ходъ ея дарованію, для чего повезъ ее въ Москву и Петербургъ. Въ Москвѣ Юлія Валеріановна посѣтила Ю. Н. Бартенева, который былъ близокъ съ семьей Жадовскихъ и зналъ ее еще маленькой дѣвочкой, и при его содѣйствіи познакомилась съ М. П. Погодинымъ. Послѣдній обласкалъ молодую поэтессу, призналъ въ ея стихотворныхъ попыткахъ признаки несомнѣннаго таланта и помѣстилъ въ своемъ «Москвитянинѣ» ея стихотвореніе: «Водяной». Это было въ 1844 году. Вслѣдъ за названнымъ стихотвореніемъ стали появляться и другія пьесы Юліи Валеріановны. Въ Петербургѣ она посѣщала вечера извѣстнаго любителя искусствъ и владѣльца знаменитой картинной галлерей Фед. Ив. Прянишникова, у котораго собиралось самое лучшее общество: художники, артисты, литераторы. Здѣсь, между прочимъ, она познакомилась съ извѣстнымъ переводчикомъ гётевскаго «Фауста» Михаиломъ Павловичемъ Вронченко, который принималъ въ ней большое участіе и съ которымъ она въ послѣдствіи вела самую дѣятельную переписку. Онъ ввелъ ее въ разные литературные кружки, познакомилъ съ Тургеневымъ, Дружининымъ, кн. Вяземскимъ, Розенгеймомъ, Губеромъ и другими. По возвращеніи домой, она переписывалась со многими изъ литературныхъ дѣятелей, которые всегда относились съ уваженіемъ къ ея таланту. Но ни въ одномъ изъ петербургскихъ изданій, въ это время, она не печаталась.

Въ 1846 году Юлія Валеріановна собрала всѣ свои стихотворенія, печатавшіяся преимущественно въ «Москвитянинѣ», и, добавивъ нѣсколько новыхъ, издала ихъ отдѣльной книгой, въ количествѣ пятидесяти восьми пьесъ. Было здѣсь нѣсколько слабыхъ стихотвореній,—которыя она послѣ сама исключила при второмъ изданіи,—но въ общемъ книжка производила пріятное впечатлѣніе; имя Жадовской стало извѣст-

но въ публикѣ, и почти всё періодическія изданія того времени отзывались о ея стихотвореніяхъ вполне сочувственно; рецензіи появились въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Современникѣ», «Библиотекѣ для чтенія», «Иллюстраціи», «Сѣверной Пчелѣ». Вотъ, напримѣръ, что сказалъ о стихахъ Жадовской «Современникъ», издававшійся въ то время П. А. Плетневымъ.

«Въ явленіи таланта есть что-то неразгаданное. Онъ видимо освобожденъ природою отъ многихъ повинностей, лежащихъ на обыкновенномъ человѣкѣ. Никому не дается безъ труда никакое знаніе. Талантъ приноситъ въ себѣ множество свѣдѣній, приобретаемыхъ постепенно и требующихъ усилія для расширенія ихъ. Онъ, можетъ быть, и безсознательно, высказываетъ довременно то, до чего другихъ доводятъ опыты и изслѣдованія. Такъ показалось намъ, когда мы читали стихотворенія г-жи Жадовской. Нѣкоторая неисправность въ выраженіяхъ, въ стихосложеніи и другихъ принадлежностяхъ поэзіи заставляеть насъ думать, что сочинительница не тратила много времени на ученое постиженіе того искусства, къ которому влекло ее призваніе. Между тѣмъ, сколько достоинствъ открытъ можно, вникая въ ея произведенія! Предметы, такъ сказать, исчерпанные поэзіею, для нея не остались безъ новости содержанія, безъ занимательности идей, безъ музыки стиха. Все это почерпнула она въ простой, чистой любви своей къ искусству...

Самое настроеніе поэзіи сочинительницы обнаруживаетъ самобытность ея таланта. Она выразила стихами внутренній міръ свой, міръ женщины, чувствующей, мечтающей, любящей, надѣющейся и вѣрующей. Между этимъ элегическимъ міромъ и красою природы всегда существовала гармоническая связь. Вотъ и все, что льется изъ прекрасной души новой писательницы нашей. Но вслушайтесь, какъ это высказано въ стихотвореніи «Куда сложить тяжелый грузъ души»?..

Самое счастливое изображеніе чувствованій и красотъ природы становится утомительнымъ, когда мысли перестаютъ сообщать особенность характера и новостъ взглядовъ. Мы приводимъ другое стихотвореніе, столь-же художнически обработанное, какъ и первое, но исполненное другихъ воззрѣній: это—«Двѣ сестры». Прочитавши такіе стихи, никто не усумнится, чтобы у автора не было въ душѣ прекрасныхъ матеріаловъ для созданія поэмы. Сочинительница совершенно овладѣла тѣмъ стихомъ, который необходимъ для разсказа свободнаго, яснаго и вмѣстѣ поэтическаго. Даже было бы жалко, еслибы, послѣ первыхъ опытовъ, не пошла она далѣе. Элегическихъ изображеній для нея уже довольно. Полноты жизни, богатства характеровъ, болѣе рѣшительнаго направленія поэзіи—вотъ чего желаемъ мы отъ автора. Но для выполненія подобныхъ условій недостаточно формъ только лирическихъ. И сочинительница доказала уже, что достиженіе сокровеннаго въ жизни людей для нея доступно. Она часто въ немногихъ стихахъ выражаетъ очень многое, какъ напримѣръ въ слѣдующихъ:

Чудесное что-то бываетъ порою со мной:
 Въ душѣ нѣтъ ни горя, ни счастья, ни даже любви;
 Безъ чувствъ равнодушно гляжу я на міръ и людей
 И кажется міръ мнѣ пустыннымъ, и мрачнымъ, и скучнымъ,
 А люди какими-то куклами... Я же сама—
 Ничтожнымъ кажусь я созданьемъ, безъ воли и силы.
 И еслибы, мнится, въ эти минуты явилась
 Мнѣ грозная смерть, со всѣмъ своимъ страннымъ величьемъ—
 Она-бъ не смутила меня, и я-бъ тихо главу
 Склонила, въ надеждѣ покою обрѣсти и забвенью.

«Отечественныя записки» помѣстили болѣе пространный отзывъ, кажется, принадлежащій Вал. Ник. Майкову. Сдѣлавъ очеркъ исторіи развитія женской природы, рецензентъ говоритъ: «Содержаніе стихотвореній г-жи Жадовской вполнѣ выражаетъ собою общій характеръ и общественное положеніе

женщины и потому уже заслуживаетъ полнаго вниманія людей мыслящихъ, независимо отъ таланта новаго поэта. Темою всѣхъ ея стихотвореній служитъ *внутренняя* борьба женщины, которой душа развита природою и образованіемъ, со всѣмъ тѣмъ, что противодѣйствуетъ этому развитію и что не можетъ съ нимъ ужиться. Это полная, хотя и краткая исторія женской души, исполненной стремленія къ нормальнымъ условіямъ жизни, но встрѣчающей на каждомъ шагѣ противорѣчія и преграды своему стремленію не въ однихъ вѣшнихъ обстоятельствахъ, но и въ собственныхъ недоразумѣніяхъ, колебаніяхъ и самообольщеніяхъ... Стихотворенія г-жи Жадовской прежде всего поразили насъ со стороны своего содержанія тѣмъ, что всѣ они какъ-будто бы принадлежать къ различнымъ періодамъ развитія поэта. Но скоро это самое обстоятельство и дало имъ въ нашихъ глазахъ большую занимательность: мы увидѣли передъ собою живое изображеніе идеи развитія женской натуры. Въ этихъ стихотвореніяхъ и непосредственность, въ ея высокомъ значеніи, и романтизмъ, повидимому, такъ необыкновенно, но въ сущности такъ естественно, такъ характеристически дружно не уживаются, но сопоставляются между собою, что только поль автору и объясняетъ намъ такое явленіе. вмѣстѣ съ тѣмъ, это самое и придаетъ стихотвореніямъ г-жи Жадовской силу полнаго психологическаго интереса. Приглашаемъ читателей прослѣдить по изданному ею собранію стихотвореній исторію ея успѣховъ. Вотъ стихотвореніе «Въ сумерки» (Я въ позднія сумерки часто, и проч.). Не правда-ли это чистая непосредственность, хотя не чуждая поэзіи? Вотъ еще стихотвореніе того же періода, отличающееся наивностью и граціей: «Солнце ужъ сѣло; зарею пурпурною западъ зажегся»...

Но романтизма гораздо больше въ стихотвореніяхъ Жадовской, чѣмъ непосредственности: съ стѣсненнымъ сердцемъ должны мы признаться, что, какъ ни противно намъ это направленіе, однакожъ оно все-таки составляетъ собою успѣхъ

въ развитіи, какъ переходъ къ положительности, т. е. къ жизненности. Притомъ, романтизмъ въ женщинѣ гораздо сноснѣе, чѣмъ въ мужчинѣ, ибо сфера жизни дѣйствительной, отмежеванная ей, — конечно не природой, — къ несчастью слишкомъ тѣсная для ея дѣятельности, обыкновенно доходитъ до сознанія женщинъ въ какомъ-то страшномъ, обезображенномъ видѣ... Гдѣ имъ узнать ее во всей ея красотѣ, особенно до замужства, когда онѣ только и слышатъ, что наставленія въ *моральномъ* тонѣ, да сужденія непосредственности? Приходится довольствоваться опіумомъ романтизма... Въ разбираемомъ собраніи встрѣчается много пьесъ, подобныхъ слѣдующей:

Любовь усыплю я, пока еще время, холодной рукою
 Не вырвало чувства изъ трепетной груди!
 Любовь усыплю я, покуда безумно своей клеветой,
 Святыню ея не унизили люди.

Любовь усыплю я; пусть чувства святого
 Ничто недостойное здѣсь не коснется!
 Ее усыплю я для міра земнаго—
 Пускай въ небесахъ она сладко проснется!

Особый третій родъ составляютъ тѣ стихотворенія, которыя выражаютъ собою борьбу положительности съ романтизмомъ и переходъ отъ послѣдняго къ первой. Посмотрите, сколько драматизма, напримѣръ въ небольшой пьесѣ «Искушеніе» («Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ сладкимъ сномъ»).

Наконецъ въ собраніи стихотвореній г-жи Жадовской встрѣчается нѣсколько такихъ, которыя и по содержанію и по формѣ могутъ быть названы прекрасными: въ нихъ нѣтъ уже и тѣни романтизма, чувство полно и ясно; стихъ дышетъ истинно художественною простотою. Таково, напримѣръ, стихотвореніе безъ названія «Ты скоро меня позабудешь». Вообще, романтизмъ и мистицизмъ (несистематическій) не мало препятствуютъ поэтическому таланту г-жи Жадовской выразиться въ полномъ его объемѣ: они вредятъ всему — и ясности идей,

и неподдѣльности чувствъ, и художественной вѣрности и наконецъ даже стиху, который часто дѣлается подѣ ихъ вліаніемъ вялъ, натянутъ и прозаиченъ. Зато, лишь-только удержится она отъ всякаго романтическаго и мистическаго искушенія, дарованіе ея выражается въ пьесахъ несомнѣннаго эстетическаго достоинства. Особенно хорошо удается ей выражать свои чувства при видѣ явленій природы. Не можемъ не привести здѣсь, для доказательства, небольшого стихотворенія «Приближающаяся туча»: по нашему мнѣнію, эти восемь стиховъ стоятъ цѣлой груды романтическихъ и мистическихъ произведеній.

Какъ хорошо! въ безмѣрной высотѣ,
Летять рядами облака, чернѣя,
И свѣжій вѣтеръ дуетъ мнѣ въ лице,
Передъ окномъ цвѣты мои качая;
Вдали гремитъ, и туча, приближаясь,
Торжественно и медленно несется...
Какъ хорошо! передъ величьемъ бури
Души моей тревога утихаеть.

Какъ это просто, вѣрно и симпатично! Кажется, такъ и *чувствуешь бурю!*

Не менѣе сочувственно отнеслась къ первымъ опытамъ молодой поэтессы и «Библиотека для чтенія» Сенковского. Въ многихъ стихотвореніяхъ госпожи Жадовской—говоритъ рецензентъ этого журнала,—видно сильное дарованіе; вездѣ проглядываетъ глубокое чувство или замѣчательная мысль; она пишетъ не по заказу, не отъ нечего дѣлать, а по неодолимому влеченію души, по глубокому поэтическому призванію. Но она сама въ прекрасномъ стихотвореніи («Лучшій перлъ таится») выразила мысль, что только сильное чувство должно увлекать и вдохновлять поэта... Мѣстами видно, что поэтъ еще не вполне подчинилъ себѣ форму, иногда стихъ упрямится, рима не слушается мысли; но это первые опыты, первые произведенія, богатый задатокъ на будущее время.. Дарованіе госпожи

Жадовской такъ сильно, она такъ хорошо управляетъ языкомъ, что современемъ непремѣнно одолѣетъ всѣ трудности стиха, страшныя для другаго, ничтожныя для нея. Въ этихъ стихотвореніяхъ видны не только глубокія чувства, но и умѣніе рисовать искуснымъ карандашемъ самыя трудныя картины.

Хотя въ Петербургѣ Юлія Валеріановна встрѣтила радушный пріемъ и часто выслушивала похвалы своему таланту, но жизнь столицы тяготила ее. Она чувствовала себя какъ на чужбинѣ, и ее влекло къ роднымъ мѣстамъ, на лону природы, которую она такъ страстно и неизмѣнно любила. Робкая, застѣнчивая дѣвушка не была создана для шумной жизни; она предпочитала тишину, спокойствіе, уединеніе глуши, гдѣ любила уходить въ себя и мирно отдаваться занятіямъ поэзіей. Петербургъ ей, вообще, не понравился, онъ подавлялъ ее своимъ мрачнымъ великолѣпіемъ, своими гранитными сооруженіями; комплименты и похвалы нѣсколько льстили ея авторскому самолюбію, но не туманили ей головы, и она, безъ сожалѣнія, покинула невскую столицу, откуда переселилась въ Москву. Москва, эта громадная деревня, пришла ей болѣе по сердцу; здѣсь она пробыла довольно продолжительное время, познакомилась съ Хомяковымъ, Загоскинымъ, Глинкой, Ив. Серг. Аксаковымъ, который велъ съ нею потомъ переписку, и помѣстила нѣсколько стихотвореній и прозаическихъ очерковъ въ «Московскомъ Сборникѣ», «Москвитянинѣ» и «Московск. Городск. Листкѣ».

Наконецъ, она вернулась снова къ отцу, въ Ярославль, и здѣсь, одно за другимъ, въ теченіи десяти лѣтъ, написала всѣ свои выдающіяся произведенія въ стихахъ и прозѣ. Вскорѣ, по возвращеніи своемъ въ Ярославль, она начала переписку съ своими московскими друзьями и, между прочимъ, съ Ю. Н. Бартевымъ; одно изъ писемъ онъ отдалъ въ «Москвитянинъ», гдѣ оно и появилось съ примѣчаніемъ отъ редакціи, «благодарившей за сообщеніе письма, которое — по ея мнѣнію —

такъ хорошо знакомить съ личностью автора, слишкомъ извѣстнаго читателямъ «Москвитянина». «Вотъ я опять въ Ярославль—пишетъ Ю. В. Жадовская—Послѣ пятидневнаго томленія ужаснѣйшей дороги, я захворала, потомъ говѣла и приобщалась, а теперь неуспѣла оглянуться, какъ уже и праздникъ на дворѣ, и поздравленье не будетъ не кстати. Пусть письмо скажетъ вамъ за меня отрадное: Христосъ Воскресъ! Хорошо, еслибъ оно сѣумѣло рассказать вамъ и всѣ теплыя и нѣжныя чувства, которыми полна душа моя, когда думаетъ о васъ и о вашей супругѣ. Да гдѣ!... Есть вещи и предметы, которые только профанируются словами... Прошло около двухъ часовъ, какъ я написала эти строки. Все это время я просидѣла безъ движенія, поддавшись какому-то невольному раздумью. Мысли одолѣли меня. А бѣда, какъ мысль овладѣетъ человѣкомъ. Что ни станеть говорить, выходитъ путаница. Надо чтобъ человѣкъ владѣлъ мыслью,—тогда, что ни солется съ языка, или съ пера будетъ носить отпечатокъ ясности и силы душевной. Какъ не задуматься? И небо ясно, и солнце свѣтитъ, да и дни такъ велики, такъ святы. Въ ухахъ звучатъ слова страданья и искупленья. Скоро смѣнить ихъ торжественная пѣснь воскресенія; а человѣкъ живетъ по горло въ грязи и тинѣ страстей и заблужденій... Какъ будто не для него звучитъ эта пѣснь, не за него умеръ Искушитель!—Продумала я, и не кончу сегодня письма! Прощайте до завтра. *На другой день.* Съ добрымъ утромъ, почтенный и дорогой другъ мой! Утро сегодня ясно и весело; маленькая комнатка моя облита лучами солнца; зелень на окнахъ будто улыбается; цвѣтки жасмина дышутъ ароматомъ. Мнѣ кажется, что эти цвѣты, блѣдные и благоуханныя, гармонируютъ съ моею жизнью... Оттого я люблю ихъ болѣе другихъ цвѣтовъ.—Мнѣ что-то особенно хочется получить отъ васъ письмецо. На этотъ разъ мнѣ нечего послать вамъ изъ моихъ сочиненій. Нашъ сборникъ («Ярославскій Литературный сборникъ» 1849) обообразъ

меня.— Повѣсть мою «Непринятая жертва» я перепишу для васъ, если вы пожелаете, въ томъ видѣ, какъ она вышла изъ подъ пера моего. Мнѣ отраднo знать, что вы читаете мои произведенія. Я не сочиняю ихъ, а выбрасываю на бумагу, потому что эти образы, эти мысли не даютъ мнѣ покоя, преслѣдуютъ и мучатъ меня до тѣхъ поръ, пока я не отвязусь отъ нихъ, перенеся ихъ на бумагу. Можетъ быть, оттого и носятъ они печать той задушевной искренности, которая нравится многимъ. Ярославль. 1849. Марта 30».

Письмо это, дѣйствительно, интересно въ томъ отношеніи, что прекрасно обрисовываетъ симпатичный образъ поэтессы; въ этихъ безхитростныхъ, искреннихъ строкахъ сквозитъ душа простая, полная глубокой вѣры, тонко чувствующая,— чистая, какъ душа ребенка. Не красна наша жизнь; много въ ней лжи и фальши, много безотрадныхъ явленій. Плохо приходится тѣмъ немногимъ личностямъ «съ душой возвышенной и чистой», которыя хорошо видятъ эту ложь и фальшь, которымъ честная натура препятствуетъ входить въ сдѣлки съ неправдой. Такіе люди чувствуютъ себя вѣчно одинокими путниками въ необозримой пустынѣ жизни... И Ю. В. Жадовская принадлежала именно къ этимъ людямъ. Придя въ соприкосновеніе съ жизнью, она не могла помириться съ ея фальшью и вынесла много нравственныхъ пытокъ, бездну разочарованій, столько горечи. И все-таки, не смотря на это, она до конца сохранила незлобивость и чистоту души. Почти каждое стихотвореніе ея вѣетъ глубокой, затаенной грустью, въ нихъ чувствуются горячія слезы, выжатая настоящей нравственной пыткой, но въ нихъ нѣтъ и тѣни гнѣва и озлобленія, нѣтъ желчи. Даже такія пьесы ея, какъ «Тунеядцамъ», «Среди бездушныхъ и ничтожныхъ», «Современному челоуѣку», «Говорятъ, придетъ пора, будетъ легче челоуѣку», несомнѣнно навѣянная эпохой «гражданскихъ мотивовъ», отличаются, свойственнымъ даровитой поэтессѣ, спокойнымъ тономъ, проникнуты всепрощающей лю-

бовью; даже въ нихъ звучать только ноты грусти, а не раздраженія.

Въ 1857 году Юлія Валеріановна помѣстила въ «Русскомъ Вѣстникѣ» правописательный очеркъ, безъ подписи имени, называющійся «Жизнь-бытье на Корѣгѣ. Записки Гульпинской Авдотьи Степановны». Въ немъ она вывела нѣсколько живыхъ лицъ, которыхъ наблюдала въ провинціи; портреты ихъ очерчены весьма рельефно, и въ очеркѣ есть нѣсколько мастерски написанныхъ страницъ. Но еще талантливѣе написанъ ея романъ «Въ сторонѣ отъ большаго свѣта», появившійся въ томъ-же году и въ томъ-же журналѣ и затѣмъ изданный отдѣльно. Это необыкновенно живая хроника деревенской жизни, рассказанная просто, безъ претензій, гдѣ все до мелочей правдиво и вѣрно дѣйствительности. Дѣйствующія лица хроники — все живые типы, въ числѣ которыхъ особенно удачно воспроизведенъ типъ тетки, любящей, нѣжной, самоотверженной, души невидящей въ своей племянницѣ, типъ «добраго стараго времени». Съ большимъ мастерствомъ автору удалось обрисовать также и типъ старика съ непреклонною волей, строго нравственнаго, но человѣка тяжелаго, порядочнаго деспота. Типъ этотъ Юлія Валеріановна цѣликомъ списала съ своего отца. Къ сожалѣнію, романъ, не смотря на всѣ его достоинства, прошелъ незамѣченнымъ; о немъ данъ былъ всего одинъ отзывъ, въ «Журн. Мин. Нар. Просв.», да, спустя годъ, о немъ сказали нѣсколько словъ Добролюбовъ, при разборѣ стихотвореній Жадовской.

Второе изданіе стихотвореній Юліи Валеріановны вышло въ 1858 году, и въ томъ же году, изданъ былъ и маленькій томикъ ея повѣстей; во второмъ изданіи авторъ выбросилъ около пятнадцати пьесъ прежняго перевода и всего помѣстилъ сто двадцать одно стихотвореніе. Книжка стихотвореній Жадовской явилась въ очень неудачную минуту. Это было вскорѣ послѣ окончанія крымской войны, когда обличительная литература и стихи, «облитые горечью и злостью»

всецѣло овладѣли и вниманіемъ, и расположеніемъ общества. Только немногіе, истинные цѣнители поэзіи прочли съ наслажденіемъ книжку стиховъ ея, большинство-же читающей публики, занятой вопросами дня, игнорировало появленіе этой книжки. Тѣмъ неменѣе она встрѣтила въ тогдашней печати вполне сочувственные отзывы. Даже строгій критикъ «Журн. Мин. Народн. Просвѣщенія», хотя и причислилъ Жадовскую въ числу «поэтовъ, служащихъ болѣе или менѣе частнымъ, мелкимъ вопросамъ жизни и не нашелъ въ ея стихахъ многообъемлющаго поэтического взгляда, ни сильнаго таланта, исчерпавшаго хотя бы одну сторону, одну струю жизни», но все таки отнесся съ уваженіемъ къ ея дарованію. Онъ пришелъ къ тому убѣжденію, что «поэзія Жадовской всегда останется слишкомъ субъективной и для полнаго и сочувственнаго ея пониманія нужно много душевной чуткости... искусства читать неясныя черты, недорисованные образы». Короче сказать, рецензентъ неудовлетворился поэзіей Жадовской, потому только, что, по духу своему, ея поэзія не подходила подъ господствовавшее тогда направленіе въ литературѣ и являлась диссонансомъ...

За то рецензентъ «Библ. для Чтенія», П. И. Вейнбергъ, упрекнулъ поэтессу въ другомъ. «Жадовская—говоритъ онъ— писательница съ *свѣтлымъ* умомъ и *неподдѣльнымъ* дарованіемъ; это доказываютъ многія страницы ея стихотвореній. Но ее читаешь съ полнымъ удовольствіемъ только до тѣхъ поръ, пока, она остается *женщиной*, т. е. существомъ разумнымъ и, прежде всего, чувствующимъ; тихая грусть, мечта о прошломъ счастіи, слеза въ память потеряннаго друга,— все это очень хорошо и заставляетъ сочувствовать писательницѣ. Но чуть только г-жа Жадовская начинаетъ писать стихи, которые она называетъ думами... Чуть только она принимаетъ видъ поэта, размышляющаго о чемъ нибудь глубокимъ, все это выходитъ слабо, безжизненно, безцвѣтно. Притомъ же, большая часть стихотвореній, навѣянныхъ глу-

бокомысліемъ, отличается характеромъ рутиннымъ, избитымъ; то хочетъ авторъ полетѣть вслѣдъ за облаками, то задумывается надъ участіемъ ребенка, который долженъ узнать горечь жизни, и тому подобныя безчисленныя варіаціи на одну тему. Мы говоримъ все это потому, что видимъ въ г-жѣ Жадовской много чувства истиннаго, женственнаго, теплаго, и желали бы—вмѣсто думъ ея, встрѣтить въ книжкѣ побольше стихотвореній, подобныхъ, напримѣръ, пьесѣ «Гдѣ ты теперь, въ часъ вечера туманный»? Въ идеѣ этого стихотворенія, какъ видите, очень мало новаго и глубокаго; но тутъ много искренности, женственной покорной грусти, не напыщеннаго, накрахмаленнаго чувства,—и стихотвореніе читается съ удовольствіемъ»...

Лучше всѣхъ понялъ и оцѣнилъ талантъ Юліи Валеріановны Добролюбовъ,—человѣкъ съ тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, настоящій знатокъ поэзіи. «Стихи Жадовской—говоритъ этотъ замѣчательный критикъ—не имѣютъ внѣшнихъ достоинствъ, рѣзко бросающихся въ глаза. Но мы, нисколько не задумываясь, рѣшаемся причислить книжку ея стихотвореній къ лучшимъ явленіямъ нашей поэтической литературы послѣдняго времени... Стихъ г-жи Жадовской, какъ сказали мы, не отличается внѣшней отдѣлкой, такъ поражающей насъ въ произведеніяхъ новѣйшихъ поэтовъ. Рима часто измѣняетъ ей, иногда выходятъ стихи неловкіе, незвучные, отзывающіеся прозой. Но мы признаемся, что даже эти прозаическіе стихи ея намъ нравятся и что именно многіе изъ нихъ произвели на насъ сильное впечатлѣніе своей простотой и задумчивостью. Задумчивость, полная искренность чувства и спокойная простота его выраженія—вотъ главные достоинства стихотвореній г-жи Жадовской. Настроеніе чувствъ ея грустное; главные мотивы ея—задумчивое созерцаніе природы, сознаніе одиночества въ мірѣ, воспоминаніе о быломъ, когда-то свѣтломъ, счастливымъ, но безвозвратно прошедшемъ. Г-жа Жадовская не воспользовалась ни однимъ изъ эффектовъ.

Она сумѣла найти поэзію въ своей душѣ, въ своемъ чувствѣ и передаетъ свои впечатлѣнія, мысли и ощущенія совершенно просто и спокойно, какъ вещи очень обыкновенныя, но дорогія ей лично. Это именно уваженіе къ своимъ чувствамъ, безъ всякой претензіи на возведеніе ихъ въ идеаль всемірный и составляетъ прелесть стихотвореній г-жи Жадовской. Она дорожитъ своими грустными воспоминаніями; тяжелыя чувства сердца дѣйствительно составляютъ для нея святыню, которую она боится осквернить напыщенной фразой, ложнымъ эффектомъ. Она даже боится говорить о своихъ страданіяхъ; она молчала бы о нихъ, еслибъ могла, но сердце, противъ воли, рвется наружу, хочетъ высказаться. Именно сердце видно въ каждомъ стихотвореніи г-жи Жадовской; въ каждомъ стихотвореніи видно ясно, что оно не фраза, а чувство, что оно прожито, а не придумано. Въ созданіи почти каждого стихотворенія, какъ будто чувствуешь тотъ таинственный процессъ мысли и ея выраженія, который такъ поэтически изображенъ въ пьесѣ «Лучшій перлъ таятся». Этотъ восторгъ, въ который приходитъ душа, потрясенная чувствомъ, чтобы выразить свѣтлую мысль, зрѣющую въ душевной глубинѣ, — составляетъ неотъемлемое достоинство всѣхъ или почти всѣхъ стихотвореній Жадовской».

Приведа множество выписокъ изъ книжки ея стихотвореній, въ которыхъ слышатся грустныя жалобы, Добролюбовъ замѣчаетъ далѣе, что это не сантиментальность, не желаніе выставить себя непонятою, непризнанною, съ цѣлью порисоваться, щегольнуть своими страданіями. Въ ея стихахъ видна дѣйствительная грусть и грусть эта происходитъ изъ источника болѣе глубокаго, нежели какія нибудь мечтательныя или личныя раздраженія. Ея сердце, ея умъ дѣйствительно наполнены горькими страданіями, которыхъ не хочетъ или не умѣетъ раздѣлить современное общество. Ея стремленія, ея требованія слишкомъ обширны и высоки, и немудрено, что многіе бѣгутъ отъ поэтическаго призыва души, страдающей не только за себя, но и за другихъ, и съ увлеченіемъ говорящей:

Говорятъ, придетъ пора,
 Будетъ легче человѣку,
 Много пользы и добра
 Свѣтитъ будущему вѣку!..

Тихая, но глубокая грусть за другихъ прекрасно выражена въ ея стихотвореніяхъ: «Кто мнѣ родня?», «Среди бездушныхъ и ничтожныхъ», «Тунеядцамъ», «Не даромъ вставила всю жизненную драму», «Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй»; прочитавъ эти стихотворенія, не скажешь, что кругозоръ поэта былъ тѣсенъ, что онъ ограничивался личными мотивами неудовлетворенной любви, лирическими восторгами, бесплодными мечтами. Напротивъ большая часть произведеній Жадовской, особенно послѣдняго періода, явно отмѣчена серьезной мыслью, глубокой думой, проникнута осмысленной любовью къ человѣчеству. Въ стихотвореніи «Ребенку» поэтъ, полный думъ, спрашиваетъ:

Пойдешь-ли въ жизни ты дорогой гладкой, ровной,
 Безъ сильныхъ чувствъ и безъ блестящихъ грезъ,
 И не стремишься поднять ея завѣсы темной,
 Не будешь знать тоски, мученья, горькихъ слезъ?
 Иль вдругъ безумныя желанія родятся
 Въ душѣ взволнованной и жаждущей твоей
 И строгіе въ умѣ вопросы зародятся...
 Иль будешь все искать, напрасно и бесплодно,
 Ты счастья высшаго, и правды, и добра,
 Встрѣчая ложь одну, или расчетъ холодный?..

Въ другой пьесѣ поэтъ, обращаясь къ кому-то, совѣтуетъ «идти впередъ и совершенствоваться по мѣрѣ своихъ способностей и силъ»; въ стихотвореніи «Двѣ сестры»—прекрасно рисуетъ два женскіе типа: дѣвушку живую, рѣзвую, безпечную, съ вѣчной улыбкой на розовыхъ устахъ, чуждую какихъ бы то ни было думъ, и другую, начинавшую размышлять и грезить о лучшемъ въ жизни.

Какъ скучно тянулась жизнь Юліи Валеріановны въ глуши, среди общества ей чуждаго и притомъ въ зависимости отъ

отца, и матеріальной и нравственной, это видно, между прочимъ, изъ нѣкоторыхъ строфъ ея поэтическаго посланія къ Михаилу Павловичу Вронченко:

...Вотъ мнѣ о жизни пасмурной моей
 Такъ грустно и писать... Однообразно
 Тащится день за днемъ; почти людей
 Не вижу я. Невольно скукъ праздной
 Я предаюсь; теперь-же все мрачнѣй
 Съ приходомъ осени, холодной, грязной,
 Я цѣлый день почти одна бываю,—
 Пишу, работаю, подчасъ мечтаю...
 На завтра тоже... тоже! Тѣсенъ кругъ
 Житейскій, и душа въ немъ тихо дремлетъ...

Послѣ изданія, въ 1858 году, книжки стихотвореній, Юлія Валеріановна печаталась мало. Она ограничилась помѣщеніемъ нѣсколькихъ пьесъ, переведенныхъ изъ Гейне, въ «Сынъ Отечества» Старчевскаго, «Иллюстраціи», «Сборникъ литературныхъ статей, посвященныхъ памяти Смирдина», въ «Русскомъ Словѣ» и въ «Сынъ Отечества», гдѣ, въ 1860 году, появилось послѣднее ея стихотвореніе—произведеніе прекрасное и по формѣ, и по содержанію. Послѣ этого она перестала писать стихи: она рѣшительно не въ состояніи была насиловать свой талантъ—писать пьесы на новый ладъ, поддѣлываться подъ тонъ господствовавшаго тогда направленія; она видѣла, что публику занимали только излюбленные, модные мотивы, видѣла рабѣнное поклоненіе «музѣ мести и печали»—и принуждена была умолкнуть, какъ поэтесса. Въ 1860 году она почувствовала себя плохо и пріѣхала въ Петербургъ посоветоваться съ врачами, которые отправили ее въ Галсалъ. Въ эту поѣздку ее посѣтилъ И. Д. Деяновъ, принявшій въ ней самое живое участіе и выхлопотавшій ей денежное пособіе на лѣченіе; онъ былъ всегда поклонникомъ ея поэтическаго таланта, ободрялъ ее во время этого свиданія и совѣтовалъ не бросать литературныхъ занятій. Въ Галсалѣ она познакомилась съ Некрасовымъ, который также отнесся сочувственно къ ея дарова-

нію. Возвратясь изъ Галсаля на родину, Юлія Валеріановна принялась за беллетристическую работу; она написала романъ «Женская исторія» и затѣмъ повѣсть «Отсталая». Оба эти произведенія, написанныя съ неменьшимъ талантомъ, какъ и романъ «Въ сторонѣ отъ большаго свѣта», долго не находили себѣ пріюта въ печати и, только благодаря хлопотамъ І. Н. Шилля, появились въ 1861 году, въ журналѣ «Время», гдѣ покойный Шилль былъ постояннымъ сотрудникомъ. Публика отнеслась съ полнымъ равнодушіемъ къ названнымъ произведеніямъ, критика не обмолвилась о нихъ ни единымъ словомъ, и Юлія Валеріановна, огорченная такимъ незаслуженнымъ невниманіемъ, совсѣмъ бросила писать. Она отводила душу въ дружеской, дѣятельной перепискѣ съ Шиллемъ и другими лицами, а также въ бесѣдахъ и перепискѣ съ нѣжно-любимымъ своимъ братомъ, П. В. Жадовскимъ, который тоже занимался литературой и участвовалъ въ разныхъ изданіяхъ конца сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ.

Будучи уже въ немолодыхъ лѣтахъ, Юлія Валеріановна вышла замужъ за старика доктора К. Б. Севенъ. Бракъ этотъ совершился въ 1862 году; по собственному признанію Юліи Валеріановны, она рѣшилась на такой шагъ единственно ради того, чтобы стать, наконецъ, свободной и выйти изъ подъ матеріальной и нравственной опеки отца, котораго характеръ дѣлался съ каждымъ днемъ тяжелѣе и который писательница не въ состояніи была выносить въ послѣднее время. Старикъ Жадовскій умеръ въ 1870 году; спустя три года Юлія Валеріановна продала доставшееся ей родовое имѣніе въ Ярославлѣ и купила въ буевскомъ уѣздѣ Костромской губерніи сельцо Толстиково. Здѣсь она тихо коротала свои дни, и хотя ничего не писала, но продолжала дѣятельно слѣдить за литературой и интересоваться современными событіями до самой кончины. Она скончалась въ іюлѣ 1883 года, черезъ годъ послѣ смерти мужа, скоропостижно и при довольно странныхъ обстоятельствахъ... Еще въ началѣ своей литературной

дѣятельности Юлія Валеріановна, въ отвѣтъ, на лестныя похвалы ея таланту, писала одному лицу слѣдующее:

Напрасно ты сулишь, такъ жарко, славу мнѣ:
 Предчувствіе мое, я знаю, не обманетъ,
 И на меня она, безвѣстную, не взглянетъ;
 Зачѣмъ будить мечты въ душевной глубинѣ?
 На бѣдный, грустный стихъ мнѣ люди не отвѣтятъ;
 И съ многодумною и странною душой,
 Я въ мірѣ промелькну падучею звѣздой,
 Которую, повѣрь, не многіе замѣтятъ...

Это были пророческія слова; онѣ сбылись вполне: несомнѣнно даровитую, но чрезвычайно скромную поэтессу оцѣнили очень не многіе, и не смотря на то, что нѣкоторыя задушевные пьесы ея, положенныя на музыку, («Ты скоро меня позабудешь», «Я все еще его безумная люблю», «Я сегодня работать хотѣла» и друг.) облетѣли всю Россію, печатались и печатаются во всѣхъ лучшихъ хрестоматіяхъ; дѣятельность симпатичнаго автора забыта была скоро, даже слишкомъ скоро... Какъ бы то ни было, но имя Жадовской останется жить въ исторіи литературы, гдѣ она занимаетъ одно изъ почетныхъ мѣстъ.

Въ настоящемъ изданіи собрано, по возможности, все, что Ю. В. Жадовская написала въ стихахъ и прозѣ въ теченіе слишкомъ пятнадцати лѣтъ и помѣстила въ разныхъ журналахъ и сборникахъ. Стихотворенія напечатаны здѣсь въ хронологическомъ порядкѣ, переводы помѣщены въ особый отдѣлъ. Не вошли только слишкомъ слабыя, неотдѣланные пьесы, найденныя нами въ черновыхъ тетрадкахъ автора, а также и тѣ стихи ранней молодости, которые включила сама поэтесса изъ книжки своихъ стихотвореній, изданной въ 1846 году. Новыхъ стихотвореній, независимо отъ переводовъ изъ Гейне (40 пьесъ), помѣщено здѣсь болѣе двадцати; въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ восстановлены пропущенныя по разнымъ причинамъ строфы.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

1844 — 1847.

* *
*

Лучшій перль таится
Въ глубинѣ морской;
Зрѣеть мысль святая
Въ глубинѣ души.
Надо сильно бурѣ
Море взволновать,
Чтобъ оно, въ бореньи,
Выбросило перль;
Надо сильно чувству
Душу потрясти,
Чтобъ она, въ восторгѣ,
Выразила мысль.

Приближающаяся туча.

Какъ хорошо! въ безмѣрной высотѣ
Летать рядами облака, червя...
И свѣжій вѣтеръ дуетъ мнѣ въ лицо,
Передъ окномъ цвѣты мои качая;
Вдали гремитъ, и туча, приближаясь,
Торжественно и медленно несется...
Какъ хорошо! передъ величьемъ бури
Души моей тревога утихаетъ.

М о л и т в а.

Молю Тебя, Создатель мой:
Смири во мнѣ страстей волненье,
Избавь меня отъ искушенья,
Исполни кротости святой!

Отъ грѣшныхъ чувствъ, отъ гордыхъ думъ
Оборони меня, Спаситель,—
И озари мнѣ, Искупитель,
Небеснымъ свѣтомъ бѣдный умъ!

В о д я н о й.

Тамъ. гдѣ на рѣкѣ
Мельница шумитъ,
Разъ я, въ вечеръ тихій,
Стукъ ея колесъ
По зарѣ внимала;
Вдругъ, изъ струй холодныхъ,
Какъ туманъ, сѣдой,
Надъ рѣкой поднялся
Дядя-Водяной,
Бороду густую
До колѣнъ спустивши,
Зеленые очи
На меня уставя.
Духа водяного
Разсмотрѣть желая,
Я къ шумливой рѣкѣ
Подходила ближе...
Но всплеснувъ струями
И холодной пѣной
Всю меня обрызгавъ,
Онъ исчезъ въ туманѣ.

Возвратъ весны.

Что въ душу мнѣ такъ дивно льется?
Кто шепчетъ сладкія слова?
Зачѣмъ, какъ прежде, сердце бьется,
Невольно никнетъ голова?...

Зачѣмъ отрадою неожиданной
Опять я, грустная, полна?
Зачѣмъ весной благоуханной
Въ сны счастья погружена?

Надеждъ, уснувшихъ такъ глубоко,
Кто разбудилъ кипучій рой?
Прекрасно, вольно и широко
Кто жизнь раскинулъ предо мной?

Или еще не отжила я
Моей весны всѣхъ лучшихъ дней?
Или еще не отцвѣла я
Душой тревожною моею?

П р и т в о р с т в о .

Какъ часто слушаю ничтожный разговоръ
Съ участіемъ притворнымъ я и ложнымъ!
Вниманье полное изображаетъ взоръ,
Но мысли далеко и на сердцѣ тревожно...
Какъ часто я смѣюсь, тогда, какъ изъ очей
Готовы слезы жаркія катиться!...
О, какъ бы я тогда бѣжала отъ людей!
Какъ сладко было-бъ мнѣ, одной, грустить, молиться!

Вечерняя мысль.

Какъ хорошо ты, вечернее майское небо!
Скоро ужь полночь, а ты и прозрачно и ясно!
Божьи лампы-звѣздочки теплятся тихо;
Очи смыкаетъ дремота, но жаль мнѣ закрыть ихъ,
Неба не видѣть! и сну я предаться боюсь—
Богъ знаетъ, небо-ль увижу во снѣ?...

С О В Ъ Т Ъ .

Въ часъ, когда, волнуясь,
Суетныя страсти
Душу помрачаютъ,—
Къ небесамъ лазурнымъ
Равнодушныхъ взоровъ
Ты не устремляй:
Не найдешь отвѣта,
Не найдешь отрады—
Будетъ лишь укоромъ
Неба чистота:
Звѣзды золотыя
На тебя посмотрятъ
Грустно, непривѣтно;
Метеоръ огнистый
Горькія мечтанья,
Тяжкія сомнѣнья
Въ сердцѣ зародить.

Но когда душа полна
Тишиной священной,
И когда святые въ ней
Чувства пробуждаются
И къ добру стремленіе,—
Съ вѣрой и любовью,
На небо взгляни тогда:

Свѣтлыя, прекрасныя,
Давно-безпредѣльныя
Небеса въ душѣ твоей
Отразятся—счастьемъ
Неземнымъ, невѣдомымъ
Сердце усладятъ тебѣ.

* *
*

Мнѣ грустно; осеннее небо угрюмо,
На улицахъ слякоть и грязь,
И вѣтеръ послѣдніе листья
Срываетъ съ поблекшихъ деревьевъ.
Я вижу лишь сѣрое небо
Да старые дома, да грязь!
Ни въ чемъ нѣтъ отрады кругомъ—
Ни сладкаго звука, ни милаго слова!..
Мнѣ грустно; въ прошедшее я загляну:
Тамъ тихо и ясно все было;
Тамъ рощи шумѣли, цвѣты разцвѣтали,
И солнце играло въ ручьи;
Свѣтила луна, распѣвалъ соловей,
Будилъ онъ желанье въ душѣ;
Тамъ сердце спокойно и полно...
Прошло все давно и назадъ не вернется!

Мнѣ грустно; я въ душу свою загляну:
И зла, и добра въ ней довольно!
Въ ней есть и покорность судьбѣ,
Въ ней есть и порывы къ роптанью;
Живетъ въ ней и теплая вѣра,
Заходитъ въ нее и сомнѣнье...
Да, есть въ ней и чувства святая,
Въ ней есть и желанья земныя;
Всего же въ ней больше—любви!

Любовь въ ней господствуетъ чудно,
И мракъ освѣщаетъ мнѣ жизни,
И сердце дельветъ и грѣетъ,
Святое въ немъ все пробуждая!...

* *
*

Ты скоро меня позабудешь,
Но я не забуду тебя;
Ты въ жизни разлюбишь, полюбишь,
А я—никого, никогда!
Ты новыя лица увидишь,
И новыхъ друзей изберешь;
Ты новыя чувства узнаешь,
И, можетъ быть, счастье найдешь.
Я—тихо и грустно свершаю,
Безъ радостей, жизненный путь;
И какъ я люблю и страдаю—
Узнаеть могила одна!

М о л и т в а.

Къ Тебъ, Всемогущій,
Съ душой утомленной,
Печальной и мрачной,
Измученной жизнью,
Къ Тебъ возношусь я
Мольбою усердной:
Пошли, Всеблагой, мнѣ
Отраду святую;
Своей благодатью
Печальное сердце
Мое озари,
И умъ помраченный,
Премудрость святая,
Молю, просвѣти!

Въ сумерки.

Я въ позднія сумерки часто
Сажу у окна и во мракѣ
Пою заунывныя пѣсни
Иль думаю странныя думы,
Иль на домъ сосѣда смотрю я—
И вижу: мгновенно въ немъ огна
Свѣтлѣють, и свѣчи мелькають,
Мелькають порой и головки,
Вечернюю жизнь начиная...
Порою мнѣ грустно бываетъ;
Порой же лучъ свѣта, ко мнѣ пробиваясь,
Счастіемъ тихимъ меня обдаеть.

С о ж а л ѣ н і е.

Какъ западъ запылалъ зарею золотой,
И небо чистое какимъ блаженствомъ дышетъ!
О, какъ прекрасно день веселый умираетъ!
Его я съ тихою, невѣдомой отрадой
Въ нѣмую вѣчность провожаю...
И рада я почти, что нѣтъ въ душѣ моей
Порывовъ и тревогъ, безумнаго волненья,
Любви безъ радости и счастья безъ надеждъ...
Да, рада я, что, съ тишиной вечерней,
Во мнѣ самой становится такъ тихо!
Бывало, прежде, я и плачу, и тоскую,
Надѣюсь и люблю, желаю и мечтаю,
И рвуся въ даль;—бывало, прежде, я...
Нѣтъ! жалко мнѣ прошедшаго безумья
И горькихъ слезъ, и сладкаго страданья!

Вечеръ и утро.

Солнце ужъ съло; зарею пурпурною западъ зажегся;
Небо свѣтло и прозрачно. Люблю въ это время сидѣть и
Передъ открытымъ окномъ, и смотрѣть на вечернюю зорю,
Какъ она, съ каждой минутой, блѣднѣетъ, и звѣзды
Въ небѣ далекомъ одна за другой зажигаются ярко.
Думаю: рады онѣ удаленію жаркаго солнца—
Весело имъ и привольно мерцать безъ него, на свободѣ;
Люди ихъ видятъ, любятъся ими... Но тише и тише
Шумъ на землѣ, и заря золотая погасла, а звѣзды,
Съ каждой минутой, яснѣй и яснѣе блистаютъ на небѣ;
Тихо и сладостно дышетъ ночной вѣтерокъ, навѣвая
Мысли отрадныя! Какъ мнѣ пріятно сидѣть у окошка,
Воздухомъ теплымъ дышать, любоваться чудесною ночью!—
Всего же пріятнѣе—думать, мой другъ, о тебѣ.
Спать еще всѣ; но ужъ утро въ окно мое смотреть при-
вѣтно;
Алой зарею востокъ, какъ порфирой, одѣлся, и звѣзды
Гаснутъ поспѣшно одна за другой... Я съ укромнаго ложа
Тихо встаю, отряхая съ очей моихъ маки Морфея;
Въ садикъ зеленый окошко спѣшу отворить: какъ прохладно
Утренній воздухъ пахнулъ на меня!—И природа чего-то
Ждетъ съ нетерпѣніемъ... Рано по утра люблю на востокъ я

Т е п е р ь н е т о .

Ужь теперь не то, что было прежде!
Грустно мнѣ, какъ вспомню о быломъ:
Раскрывалась сладко грудь надеждѣ
И мечтамъ о счастіи земномъ:

Въ горе я вдавалась безотчетно,
Безъ сознанья радостна была
И впередъ глядѣла беззаботно,
Не страшася ни людей, ни зла.

Ужь теперь не то, что прежде было!
Равнодушно я гляжу на свѣтъ;
Въ сердцѣ грустно стало и уныло,
И желаній прежнихъ больше нѣтъ;

Жизнь теперь я лучше разумѣю;
Счастья въ мірѣ переставъ искать,
Безъ надежды я любить умѣю
И могу безъ ропота терять.

И с к у ш е н і е.

Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ, сладкимъ сномъ;
Не сплю лишъ я одна въ безмолвіи ночномъ!
Полна томительныхъ съ самой собою битвъ,
Напрасно я ищу спасительныхъ молитвъ,
Напрасно ихъ зову на грѣшныя уста—
Душа моя земнымъ, ничтожнымъ занята!
Ей грустно, тяжело! Есть слезы на очахъ;
Но я ихъ лью... не о грѣхахъ!

Двѣ сестры.

Одна была жива, рѣзва, безпечна,
На розовыхъ устахъ съ улыбкой вѣчной,
И съ живостью пріятной въ разговорѣ;
Въ ея разсѣянномъ, блестящемъ взорѣ
Слеза и горестъ выражались рѣдко;
Въ осмнадцать лѣтъ она была кокетка,
И взоръ уже приманивать умѣла
Атласнымъ плечикомъ и ручкой бѣлой.
По членамъ пробѣгалъ невольный трепеть
У ней при звукахъ вальса иль кадрили,
И лестъ мужинь, притворно-нѣжный лепеть
Порою ей до сердца доходили,
Хоть имъ она не вѣрила, и ловко
Качала, мило тагъ, своей головкой;
Не отягчаясь грустной, тяжелой думой,
На жизнь она глядѣла не угрюмо,
А весело; и въ розовомъ все цвѣтѣ
Ей представлялось. Такъ на бѣломъ свѣтѣ
Живется хорошо!

Сестра другая...

Она была мила, прекрасна тоже,
И только годомъ съ небольшимъ моложе.
Прекрасна—да: всякъ, на нее взирая,
Мечтамъ предаться былъ готовъ невольно,
А сердцу сладко дѣлалось и больно...

И мнилось, что, съ небесною улыбкой,
На землю ангель залетѣлъ ошибкой!
Она тиха, стройна и граціозна;
Ея движенья важны и серьезны;
Рѣчь кроткая, взоръ скромный и печальный,
А голосъ сладостный и музыкальный.
Ей локоны густые осѣняли
Лицо; уста порою выражали
Иронию и грусть; она любила,
Когда тоска ей душу тяготила,
Одна остаться, погрузиться въ думы;
Съ отрадою она внимала шуму
Густыхъ деревъ и птицъ весеннихъ пѣнью;
Въ волнахъ любила неба отраженье;
Невольную слезу и трепеть груди
Она всегда старалась скрыть... и люди
Ее не понимали! И случалось,
Когда о лучшемъ въ жизни ей мечталось,
Свою головку оперши на руки,
Она въ душѣ вдругъ обрѣтала звуки
Чудесные; ихъ выразить желала;
Но, посмотрѣвъ вокругъ, вздыхала и молчала.

Я плачу.

Я плачу все о томъ, что сердце увидаеть,
Что леденить его холодный свѣтъ,
И что его ни что, ни что не оживляетъ,
Что радости исчезнуль легкій слѣдъ,
Я плачу и о томъ, что сладостной надеждѣ,
По прежнему, предаться не могу,
Что не могу мечтать и плакать такъ, какъ прежде...
И плачу я и слезъ не берегу!
Я плачу и о томъ, что грустно и ничтожно
Проходить быстро молодость моя;
Что ранняя тоска души моей тревожной
Мнѣ отравила прелесть бытія.
Я плачу и о томъ, что, скучною машиной,
Между людей я, тихо, прохожу;
Я плачу и о томъ, что въ мірѣ ни единой
Родной души себѣ не нахожу!

* *
*

Я все еще его, безумная, люблю!
При имени его душа моя трепещетъ;
Тоска, по прежнему, сжимаетъ грудь мою,
И взоръ горячею слезой неволью блещетъ.

Я все еще его, безумная, люблю!
Отрада тихая мнѣ душу проникаетъ,
И радость ясная на сердце низлетаетъ,
Когда я за него Создателя молю.

* *
*

Что такъ неожиданно
Взоръ твой оживленъ,
И такой невиданной
Нѣжностью зажженъ?
Чѣмъ тебѣ повѣяло?
Иль бывшее, другъ,
Что у насъ такъ делѣяло,
Пробудилось вдругъ?
Иль тебѣ вновь видится
Ароматный садъ?
Или снова слышится,
Какъ древа шумятъ,
Какъ заводитъ сладостно
Пѣсню соловей—
И свѣтло, и радостно
На душѣ твоей?
Будто ожидаешь ты,
Снова сладкихъ встрѣчъ,
Будто, вновь, внимаешь ты
Чудную ту рѣчь...
И всеильной властію,
Душу у тебя
Охватила страстію
Вновь любви змѣя?

Русалка.

Робко, къ рѣчкѣ дѣвушка
Подошла съ вѣнкомъ,
И гадала думала:
Поплыветъ иль нѣтъ?
И вѣночекъ трепетно
Поднесла къ водѣ.
Вдругъ, русалка рѣзвая
Ручкой бѣлоснѣжною,
Ничего не думая,
Унесла вѣнокъ
И напрасно дѣвушка,
Съ тайнымъ ожиданіемъ,
На воду глядитъ:
Солнце золотое въ ней
Чудно отражается,
Будто бы другіе въ ней
Небеса красуются,—
Но вѣночка нѣтъ, какъ нѣтъ!
И печально голову,
Преклонивъ къ груди,
Вотъ, садится дѣвушка
На берегъ крутой:
Омрачились скорбію
Ясные глаза,
И алмазомъ чистымъ въ нихъ

Свѣтится слеза;
У другого-жъ берега,
Въ тростникѣ густомъ,
Голова видѣется,
Съ ивовымъ вѣнкомъ;—
Кудри золотистыя
Тихо вѣтръ струитъ,
И холодный взоръ очей
Радостью блеститъ;
Солнце отражается
Въ голубой рѣкѣ,—
И свѣтается съ злобою
Голова въ вѣнкѣ.

Вечеръ.

Повсюду тишина: природа засыпаетъ
И звѣзды въ высотѣ, такъ сладостно, горятъ!
Заря на западѣ далекомъ потухаетъ;
По небу облачка едва, едва скользятъ.
О, пусть моя душа больная насладится
Такою же отрадной тишиной!
Пусть чувство въ ней святое загорится
Вечернею, блестящею звѣздой!
Но отчего я такъ тоскую и страдаю?
Кто, кто печаль мою пойметъ и усладить?
Я ничего теперь не жду, не вспоминаю:
Такъ чтожъ въ моей душѣ? Вокругъ меня все спитъ;
Ни въ чемъ отвѣта нѣтъ.... лишь огненной чертою
Звѣзда падучая блеснула предо мною.

Исторія цвѣтовъ.

Въ весеннее время,
Цвѣты распускались
Роскошною жизнью:
Отъ чудныхъ листочковъ
Несли ароматы
И вѣжили чувства;
Ихъ солнце ласкало,
Живило и грѣло;
А ты, въ вечеръ ясный
По саду гуляя—
Ты жадно вдыхала
Ихъ запахъ отраднѣй,
И ручкой лилейной
Ихъ тихо срывала.
Вотъ, къ груди горячей
Безумцы склонялись
И медленно гибли;
А ты, предаваясь
Мечтамъ перелетнымъ,
Смотрѣла на звѣзды,
О нихъ забывая.
Но счастье умчалось,
Но солнце сокрылось
И вѣтеръ осеннѣй
Уныло качаетъ

Печальныя вѣтви
Деревъ облаженныхъ;
А ты, по алеѣ
Бродя, одиноко,
Тоскуешь, жалѣешь
О прошломъ блаженствѣ,
О радостяхъ сердца,
Мгновенно-прекрасныхъ;
На мрачное небо
Порою взираешь,
И ножкой-малюткой
Безжалостно топчешь
Послѣдніе листья
Минутныхъ счастливецъ!

* *
*

Опять спокойно надо мной
Сіяють небеса,
И безотчетною слезой
Блестятъ мои глаза:
Опять, опять въ душѣ моей
И тихо, и свѣтло—
Какъ будто счастье прежнихъ дней
Опять ко мнѣ пришло!
И сердце бьется... и полно
Опять любви святой—
Земное въ немъ заглушено
Небесной тишиной!...
И будто ангелы летятъ
Въ прозрачной вышинѣ;
Звѣздами очи ихъ горятъ
И льютъ отраду мнѣ!

* *
*

Я люблю смотрѣть
Въ ясну ноченьку,
Какъ горять въ небѣ
Ярки звѣздочки,
Какъ блеститъ въ лучахъ
Молодой мѣсяцъ—
Въ Волгѣ-рѣченкѣ
Отражается,
Чистымъ серебромъ
Разливается.
Я люблю слушать,
Какъ шумять листы,
Съ вѣтеркомъ ночнымъ
Сладко шепчутся;
Я люблю слушать,
Какъ журчатъ струи,
Къ берегамъ рѣки
Рѣзво ластятся;
И когда всѣ спять
Сладкимъ, крѣпкимъ сномъ,—
Мнѣ не хочется

Покидать огня,
Мнѣ не хочется
Перестать глядѣть
Въ небо свѣтлое,
Въ Волгу-рѣченьку!

М о л и т в а.

Міра Заступница, Матерь всепѣтая!
Я предъ Тобою съ мольбой:
Бѣдную грѣшницу, мракомъ одѣтую,
Ты благодатью прикрой,
Если постигнуть меня испытанія,
Скорби, утраты, враги—
Въ трудный часъ жизни, въ минуту страданія,
Ты мнѣ, молю, помоги!
Радость духовную, жажду спасенія
Въ сердце мое положи;
Въ царство небесное, въ міръ утѣшенія
Путь мнѣ прямой укажи!

Ангель Хранитель.

Я видѣла Тебя души моей очами:
Ты радостенъ, Ты чуденъ, свѣтель былъ,
И, окруженъ небесными лучами,
На небеса свой взоръ съ любовью возводилъ.
Твой кроткій ликъ сиялъ святымъ привѣтомъ,
Ты освнялъ меня спасительнымъ крыломъ...
Какимъ божественнымъ, отраднымъ, дивнымъ свѣтомъ
Ты былъ проникнутъ весь, въ величьи неземномъ!
Я съ тихимъ трепетомъ на свѣтлаго взирала,—
И все въ моей душѣ, восторженной, молчало.

Д и т я.

Съ какой печальною, смущающею думой,
Малютка, предъ тобой безмолвно я стою!
Ахъ, чувства тяжкія волнують грудь мою!
Здѣсь, въ этой комнаткѣ, удалена отъ шума,
Здѣсь я могу, дитя, не скрыть слезы моей
И при тебѣ излить тоску мою могу я;
Но ты играй, мой другъ; пытающихъ очей
Ко мнѣ не обращай, и лаской поцѣлуя
Мнѣ горя усладить не покушайся! Дай
Поплакать мнѣ одной, въ тиши; не узнавай
О чемъ я плачу такъ, о чемъ я такъ страдаю,
Зачѣмъ отъ всѣхъ свои страданія скрываю!
Ты такъ же слезъ моихъ, какъ люди, не поймешь;
Но какъ они, ты ихъ, мой другъ, не осмѣешь...

Невыдержанная борьба.

Боролась я долго съ суровой судьбой—
Душа утомилась неравной борьбой!
Всей силой надежду я въ сердцѣ хранила;
Но силы не стало—судьба ихъ убила;
И я, съ затаенной глубоко тоской,
Склонилась смиренно предъ мощной судьбой.
Что дѣлать? Мнѣ стыдно и грустно, и больно...
И лью я горячія слезы, невольно.

Н о ч ь.

Вѣтъ тихо, вѣтъ сладостно
Мнѣ дыханье вѣтерка;
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно;
Отражаетъ ихъ рѣка;
И, въ раздумьи, наклонились
Вѣтви гибкія деревь;
И, какъ звѣзды, засвѣтились
Свѣтляки среди кустовъ.
Дышетъ все святой отрадою
На землѣ и въ вышинѣ;
Ночь весенняя, прохладою,
Освѣжаетъ сердце мнѣ.
Что-то въ душу чудно просится,
Проникаетъ въ глубину,
И, невольно, мысль уносится
Все туда, все въ вышину!
Вѣтъ тихо, вѣтъ сладостно
Мнѣ дыханье вѣтерна;
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно....
Спать на днѣ души тоска!

* * *

Все ты уносишь, нещадное время—
Горе и радость, дружбу и злобу;
Все забираешь всеильнымъ полётомъ;
Что же мою ты любовь не умчало?
Знать позабыло о ней ты, сѣдое;
Или ужь слишкомъ глубоко мнѣ въ душу
Чувство святое запало, что взоръ твой,
Видящій все, до него не проникнулъ?

Ребенку.

(д у м а).

Ты сладко спишь теперь, прекрасное дитя;
Ты улыбаешься безопасно и свободно.
Спи, ангелъ мой, пока лелѣють сны тебя,
Пока язвительнымъ дыханьемъ свѣтъ холодный
Еще твоей души невинной не затмилъ!
Я съ грустнымъ на тебя участіемъ взираю,
И угадать, мой другъ, судьбу твою желаю:
Что въ мірѣ для тебя Творецъ опредѣлилъ?
Пойдешь ли въ жизни ты дорогой гладкой, ровной,
Безъ сильныхъ чувствъ и безъ блестящихъ грѣзъ,
И не стремишься поднять ея завѣсы темной,
Не будешь знать тоски, мученья, горькихъ слѣзъ?
Иль вдругъ безумныя желанія родятся
Въ душѣ, взволнованной и жаждущей, твоей,
И строгіе въ умѣ вопросы зародятся?
И съ сожалѣньемъ ли ты будешь на людей
Смотрѣть, мой милый другъ, иль чуждый ихъ утѣхъ,
И полный мрачнаго на нихъ негодованья,
Возненавидишь ихъ нелѣпый судъ и смѣхъ,
Всѣ ихъ ничтожныя, нелѣпыя страданья?
И муки тайныя, душевныя твои,
И сердца скорбнаго тяжелое волненье
Придутъ ли замѣнить—святое наслажденье,

Очарованія и радости любви?
Иль будешь все искать, напрасно и бесплодно,
Ты счастья высшаго, и правды, и добра,
Встрѣчая ложь одну, или расчетъ холодный?
Тогда, дитя, мнѣ жаль тебя!... Была пора,
Когда и на меня задумчиво смотрѣли,—
И также угадать судьбу мою хотѣли!...

Вопросъ о счастіи.

Прекрасенъ, порою, міръ Божій бываетъ!
Сегодня, проснувшись, окно я открыла:
Создатель! какъ чудно свѣтило мнѣ солнце!
Сирень распустилась роскошно, и, будто
Привѣтствуя утро, легонько вѣтвями
Въ окно мнѣ кивала; исполнены жизни
И тайны, зеленныя листья тѣснились
Вкругъ вѣтокъ лиловыхъ—ихъ шопоть мнѣ чуднымъ
Казался и въ сердце струился отрадой.
Склонясь на окошко, я странному чувству
Тогда предалась: весь міръ разцвѣтая,
Съ любовію, мнилось, мнѣ въ душу тѣснился;
И что же? весь міръ обнимая душою,
Я сердцемъ чего-то искала напрасно!
Цвѣты, дерева, небеса вопрошала—
Безмолвно синѣло далекое небо;
Деревья шумѣли, какъ будто сердито,
Цвѣты же печально головки склоняли...
Отвѣтъ поняла я, и грустно сказала:
Прекрасенъ, порою, міръ Божій бываетъ,
Но жалко, что счастья въ немъ нѣтъ!

Тяжелый часъ.

Что чувствовала я въ минуту роковую,
И сколько я въ тотъ часъ перестрадала—
То знаетъ Богъ, то знаетъ это сердце!
Казалось, все во мнѣ убито было;
Способность лишь страдать одна мнѣ оставалась—
Способность жалкая! Я все пережила...
Я думаю, что самый смерти часъ
Не можетъ быть труднѣе и ужаснѣй.
Смерть—что она? Покой, забвенье, сонъ,
Блаженство, можетъ быть... а въ ту минуту
Ни умереть и ни уснуть я не могла!

Н о к т у р н о .

Полночь глухая. Ты думаешь: все ужь уснуло,
Все тихо, и міръ, какъ кладбище, безмолвенъ.
Неправда! Прислушайся: шепчуть въ просонкахъ деревья,
Кузнечикъ въ высокой травѣ распѣваетъ.
Прислушайся къ сердцу: безмолвно ль оно?
Прислушайся къ думамъ своимъ: молчить ли твой умъ?
Мой другъ! въ нашей жизни нѣтъ тишины совершенной;
Безмолвна лишь смерть; но и въ этомъ безмолвьи
Отыщешь ты нѣчто такое, что страшно
И сладко, и чудно думѣ говорить!

Ж а ж д а н е б е с н а г о .

Исцѣли меня, Благодѣтель прѣвѣчная!

Исцѣли мои раны сердечныя?

Предъ Тобою я въ прахъ лежу

И небесной отрады прошу.

О, возьми Ты всѣ блага ненужныя,

Услади мою душу недужную,

И божественной силой любви

Благотворно меня оживи.

Уничтожь во мнѣ, силой чудесною,

Все земное; пошли мнѣ небесное!

О небесномъ молю я въ тиши—

Не отвергни моленій души!

М О Н О Л О Г Ъ .

Куда сложить тяжелый грузъ души?
Кому повѣдать скорбь, гнетущую мнѣ сердце?
Вокругъ меня людей знакомыхъ много,
И многіе меня бы стали слушать;
Но гдѣ найду я теплое участье?
Гдѣ душу обрѣту, съ сочувствіемъ отраднымъ,
Которая со мной всѣ радости и горе
Понять и раздѣлить могла бы непритворно?
Кому я укажу на это небо,
Покрытое блестящими звѣздами?...
Мнѣ скажутъ равнодушно: хорошо—
И не поймутъ души моей волненья!
Да, не поймутъ, какъ всю меня проникла
Непостижимая и тайная отрада,
Какъ съ каждой ярко-блещущей звѣзды
Потокомъ огненнымъ въ меня струятся чувства,
Какъ мой языкъ съ невольнымъ увлеченьемъ
Тревожныя лепечеть рѣчи,
И слезы медленно изъ глазъ моихъ катятся...
И еслибъ кто увидѣлъ эти слезы —
Съ какой улыбкою взглянулъ бы онъ на нихъ;
Съ какой холодностью-бъ спросилъ: о чемъ я плачу?
Потомъ съ насмѣшкою невыносимо-глупой
Меня бы онъ мечтательницей назвалъ!...
Кто жъ объяснитъ души моей волненье?

Бабушкинъ садъ.

Ахъ, бабушкинъ садъ!
Какъ счастливъ, какъ радъ
Тогда я бывалъ,
Какъ въ немъ я гулялъ,
Срывая цвѣты
Въ высокой травѣ,
Лелѣя мечты
Въ моей головѣ...
Ахъ, бабушкинъ садъ!
Живой аромать
Цвѣтущихъ кустовъ;
Прохладная тѣнь
Высокихъ деревъ,
Гдѣ вечеръ и день
Просиживалъ я,
Гдѣ сладко меня
Лелѣяла тѣнь...
Ахъ, бабушкинъ садъ!
Какъ былъ бы я радъ
Опять погулять,
Опять помечтать
Въ завѣтной тѣни,
Въ отрадной тиши—

Всѣ скорбные дни,
Все горе души
На мигъ позабыть,
И жизнь полюбить!

* *
*

Много капель свѣтлыхъ
Въ синемъ море падаетъ;
Много искръ небесныхъ
Людямъ посылается.
Не изъ каждой капли
Чудно образуется
Свѣтлая жемчужина,
И не въ каждомъ сердцѣ
Искра разгорается
Пламенемъ живительнымъ!

Ө. Н. Г л и н к ъ.

Мнѣ было хорошо у васъ!
Душа отраднo отдыкала,
Я съ наслажденьемъ вамъ внимала.
Судьба даритъ не часто насъ
Такими свѣтлыми часами...
Нѣтъ! Мнѣ не высказать словами,
Какъ было хорошо у васъ.

П * * *

Напрасно ты сулишь, такъ жарко, славу мнѣ:
Предчувствіе мое, я знаю, не обманетъ,
И на меня, она, безвѣстную, не взглянетъ.
Зачѣмъ будить мечты въ душевной глубинѣ?

На бѣдный, грустный стихъ мнѣ люди не отвѣтятъ;
И съ многодумною и странною душой,
Я въ мнѣ промелькну падучею звѣздой,
Которую, повѣрь, не многіе замѣтятъ.

Вечеромъ.

По прежнему, въ отрадной тишинѣ,
Луна, твой тихій лучъ проникъ въ окно ко мнѣ;
Хоть онъ, таинственный, теперь меня не можетъ
Ни взволновать, — ни потревожить,
Но все-же я предъ нимъ задумчиво стою
И, глядя на тебя, тоскую и пою...

В з г л я д ъ .

Я помню взглядъ, — мнѣ не забыть тотъ взглядъ; —
Онъ предо мной горитъ неотразно.
Въ немъ счастья блескъ, въ немъ страсти сладкій ядъ,
Огонь любви, тоски невыразимой.
Онъ душу мнѣ такъ сильно взволновалъ,
Онъ новыхъ чувствъ родилъ во мнѣ такъ много;
Онъ сердце мнѣ надолго оковалъ
Невѣдомой и сладостной тревогой...

О ш и б к а.

Я думала, погасло пламя,—
Оно въ душевной глубинѣ сокрылось;
Я думала, промчалась буря,—
Она на сердцѣ только затаилась.
Повѣявъ вѣтеръ—пламя разлилось
И обняло пожаромъ душу,
Коснулось сердца,—бурей пронеслось
По немъ любви, восторга чувство.

В о с п о м и н а н і е.

Какой чудесною, чарующею силой,
Воскресъ передо мной опять твой образъ милый?
Воскресла прежняя, погасшая любовь!
Мнѣ слышится отрадный голосъ вновь;
Мнѣ кажется, я жду желанной встрѣчи.
Откуда-же блеснулъ неожиданный свѣтъ?
Онъ освѣтилъ мнѣ радость прежнихъ лѣтъ, —
И пробудилъ заснувшія желанья
И всѣ завѣтныя души воспоминанья?

* *
*

Какъ сильно тебя я любила,
Тебя, незабвенный мой другъ!
Теперь ужь не то, я покойнѣй,
Проходить душевный недугъ.

Теперь твое имя я слышу
Безъ трепета въ сердцѣ моемъ,—
То имя, что прежде такъ чудно
Меня обливало огнемъ.

Теперь я могу, не блѣднѣя,
Мой другъ, говорить о тебѣ,
Разстались на вѣкъ мы съ тобою,—
Такъ видно угодно судьбѣ...

Но часто въ часъ сумерекъ тихій,
Когда я бываю одна,—
Мнѣ грустно,—и горько я плачу,
Незванной печалью полна.

И трепеть меня проникаетъ,
И сердце болить у меня,—
И, кажется, я умерла бы,
Когда-бъ увидала тебя!

* *
*

Вперед темнѣть
Жизнь безъ наслажденья,
Въ сердце проникаетъ
Скорбное сомнѣнье...
Мало-ли ихъ было
Чистыхъ упованій...
Ни одно изъ жаркихъ
Не сбылось желаній!
Безпощадной волей
Всѣ они разбиты...
Не было участя,
Не было защиты!
Гдѣ-жь, для новой жизни,
Гдѣ возьму я силы?
Знать, не будетъ больше
Счастья до могилы!
Зажигайтесь звѣзды
Въ небѣ поскорѣе!
Раздавайтесь звуки
Соловья сильнѣе!

Заглушите въ сердца
Горе и сомнѣнье,—
Пусть струей отрадной
Льется мнѣ забвенье...

Н е и з б ѣ ж н о е .

Долго-ль еще будешь
Сердце ты томиться,
И въ нѣмомъ страданьи
О любви молиться?

Мало тебѣ было
Горя и печали?
Мало тебя въ жизни
Люди оскорбляли?

Что еще трепещешь,
И чего желаешь?
Понапрасну ищешь,
А чего—не знаешь...

Видно въ тебѣ много
Жизни юной, силы...
Не умрешь ты, видно,
Сердце до могилы!

Кажется и то ужь
Насъ судьба съ тобою,
Крѣпко держать, сжала
Мощною рукою...

Погоди: придавить
Этой жизни бремя...
Не умаешь горе,
Такъ ослитъ время.

Д о с в и д а н ь я .

Не говори, не повторяй
Мнѣ слова страшнаго «прощай»;
Отравой горькаго сознанья
Моей души не помрачай,
Съ улыбкой руку мнѣ подай
И тихо молви: «до свиданья».

1847—1856.

* *
* *

Я вновь полна чудесныхъ звуковъ
И сладкихъ пѣсенъ старины:
Какъ прежде, душу мнѣ объемлютъ
Надеждъ, любви святыя сны!

Что жъ? сердце ихъ принять готово—
Готово въ прошломъ погостить,
И въ области мечты волшебной
Земное горе позабыть...

Никто не виноватъ.

Никто изъ насъ, никто не виноватъ:
Ни ты, ни я,—судьба ужь такъ рѣшила!—
Судьба страшна, всеильна, говорятъ,—
Она и насъ съ тобою разлучила.
Не виноватъ мой другъ, не виноватъ и ты,
Что на душѣ твоей любовь остыла;
И я не виновата, что мечты
Безумной юности такъ долго сохранила;
Что свѣтятся онѣ отрадно предо мной,
Повсюду слѣдуютъ за мной неотразимо,
И что надъ этой грустной пустотой
Горить любовь звѣздой неугасимой.

Ахъ, эта жизнь своею тишиной
Меня томить какъ страшное видѣнье!
Какъ будто смерть летаетъ надо мной...
Желанна буря мнѣ, какъ грѣшнику спасенье.

Вотъ, что теперь на память мнѣ пришло
Изъ дѣтства дней, почти забытыхъ мною:
Поляну помню я; на ней росло
Цвѣтовъ такъ много, яркою весною.
Но не весенніе, душистые цвѣты
Меня туда, ребенка, привлекали:
Среди поляны той два дерева стояли;

И сладостно шептали ихъ листы,
И мѣрно вѣтви ихъ зеленыя кивали.
Они росли одинъ къ другому близко; но
Никакъ коснуться не могли другъ друга,—
Знать, было такъ судьбою суждено.—
Вотъ, поднялась, однажды, туча съ юга.
И близилась. Въ молчаніи ждала
Ее усталая природа. Торопливо
Летали птицы, спряталась пчела;
Замолкъ деревьевъ разговоръ шумливый...
И грянулъ громъ, и полилъ дождь ручьемъ.
Я видѣла, какъ бурный вихоръ жадно
Моихъ любимцевъ охватилъ,—какъ послѣ,
Сомгнувъ ихъ вѣтви, вырвалъ безошадно
Онъ съ корнемъ одного и бросилъ далеко...
Съ тѣхъ поръ всегда, малюткѣ, мнѣ казалось,
Что уцѣлѣвшее страдаетъ глубоко,
Что утромъ не росой,—слезами обливалось,
Что счастье его на вѣкъ отравлено,—
Что, бѣдное, все бури ждетъ оно...

П р о щ а й.

Прощай! не нужно мнѣ участя:
Не жалуясь, не плачу я.
Тебѣ—вся прелесть бытія,
Тебѣ—весь блескъ земного счастья,
Тебѣ—любовь, тебѣ—цвѣты,
Тебѣ—всѣ жизни наслажденья;—
Мнѣ—сердца тайныя мученья
Да безотрадныя мечты.
Прощай! пришла пора разлуки..
Иду въ печальный, долгій путь...
Богъ вѣсть, придется-ль отдохнуть
Мнѣ здѣсь отъ холода и скуки!

Облака.

Смотрю на облака, безъ мысли и безъ цѣли...
Опять вы, легкіе, съ весною прилетѣли!
Опять вы, вольные, по выси голубой,
Воздушной, свѣтлою гуляете грядой;
Опять гляжу на васъ печальными очами,—
И какъ желеда-бъ я помчаться вслѣдъ за вами!

В о з р о ж д е н і е.

Во мглѣ печальныхъ заблужденій,
Въ тяжеломъ снѣ душа была,
Полна обманчивыхъ видѣній;
Ее тоска сомнѣнья жгла.

Но ты явился мнѣ: сурово
Съ очей души завѣсу снялъ,
И вѣщее промолвилъ слово,
И мракъ сомнѣнья разогналъ.

Явился ты, мой геній грозный,
Разоблачилъ добро и зло,
И стало на душѣ свѣтло—
Какъ въ ясный день... зимы морозной...

С и л а з в у к о в ъ .

Изъ ума у меня не выходитъ
Все та пѣсня, что пѣли вчера;
Все мнѣ грустныя думы наводитъ,
Все звучитъ мнѣ страданьемъ она.
Я сегодня работать хотѣла;
Но лишь только иголку взяла,
Какъ въ глазахъ у меня потемнѣло,
И склонилась на грудь голова;
Какъ недугомъ лихимъ охватило
Тѣми звуками душу мою,
И болѣзненно сердце заняло...
И шепчу все: «люблю я, люблю»!..

Отвѣтъ С. А. Николаевскому.

Нѣтъ, не моею печальною, бѣдной лирѣ
Подобные восторги пробудить!
Не ей, въ холодномъ, скучномъ этомъ мѣрѣ,
Святой огонь сочувствія разлить...

Но твой привѣтъ, отрадный и нежданный,
Меня отрадой свѣтлой подарилъ;
Но жаръ хвалы твоей благоуханной
Тревожную мнѣ душу освѣжилъ.

Такъ, иногда, въ день осени ненастной,
Внезапно лучъ живительный блеснетъ,—
И радостью кругомъ живой и ясной
Печальную природу обольетъ.

* *
*

Не бросай ты цвѣтовъ
Въ воду быстрой рѣки:
Унесутся волной
Незабудки твои.
Вѣдь, подумай, цвѣтокъ
И красивъ, и лежокъ,—
Оттого и скользить
По струѣ голубой;
Оттого и бѣжитъ
Въ безконечную даль.
Брось же камень въ рѣку,—
Онъ на дно упадетъ,
И, какъ сердце тоску,
Его глубь бережетъ.
Вотъ, и жизни потокъ
Все, что радуешь насъ,
Какъ волна твой цвѣтокъ,
Увлечетъ далеко.
Уплываютъ цвѣты,
Улетаютъ мечты,
И въ нѣмой глубинѣ
Остаются на днѣ
Только камни одни.

Необходимое притворство.

Я въ душѣ огорчена глубоко,
Я готова горько зарыдать;
Но сейчасъ ко мнѣ придуть чужіе,—
Я должна съ улыбкой ихъ встрѣчать.

Не сказать же имъ, что душу мучить,
Не сказать, какъ я оскорблена;
Я должна предъ ними улыбаться,
Я при нихъ веселой быть должна.

Какъ мнѣ быть веселой, улыбаться,
Если грудь моя тоски полна,
Если ловко, тонко и прилично,
Но глубоко я оскорблена?

Если все во всемъ мнѣ измѣняетъ,
Всюду вижу пошлость и обманъ?..
О, какъ трудно, грустно и обидно
Мнѣ скрывать всю боль сердечныхъ ранъ!

Какъ-то справлюсь я съ моею ролью?
Какъ-то слезы, горе утаю!
Какъ-то скрою отъ людей и свѣта
Я печаль душевную мою?

Ничего,—немножко только воли,
И исчезнуть слезы на глазах;
Ничего.... еще одно усилие,—
И мелькнет улыбка на устах!

* *
* *

Ты всюду предо мной: повѣть-ли весна,
Я чувствую тебя въ ея отрадѣ тайной;
Любуюсь-ли цвѣткомъ, я ужь тоски полна,—
Я мыслю о тебѣ; забросить ли случайно
Холодная луна свой блѣдный лучъ ко мнѣ,
Иль кроткая звѣзда вечерняя сіяетъ.—
Все это мнѣ тебя, мой другъ, напоминаетъ.
Я плачу о тебѣ въ печальной тишинѣ.
Тоской, любовію, разлукою томима,
Вся жизнь моя—безсильная борьба...
Меня гнететъ недугъ неисцѣлимый
И неизбѣжный какъ судьба...

Э. И. Губеру.

Средь прозаическихъ заботъ,
Средь глупостей провинціальныхъ,
Улыбокъ, минъ официальныхъ,
Сквозь скуки и приличій ледъ,
Визитовъ, сплетенъ лабиринтъ,—
Блеснулъ мнѣ вашъ привѣтъ радушный,
Однажды такъ, дорогой скучной,
Расцвѣтшій пышно гіацинтъ,
На грязной станціи, мелькнулъ
Передо мной. Забывъ усталость,
Цвѣткомъ я долго любовалась...
Онъ мнѣ поэзіей пахнулъ.

Вѣрь—не вѣрь.

Срывай цвѣты душистые;
Пей взорами лазурь небесъ;
Дремли, мой другъ, подъ шумъ деревъ,
Подъ шумъ деревъ развѣсистыхъ;
Дремли,— не вѣрь, что счастье
Уйдетъ, пройдетъ, какъ облачко,—
То облачко летучее,
Съ крайками золочеными
И съ серединой темною...
Ахъ, вѣрь—не вѣрь,—придетъ пора—
Печальная, ненастная:
Цвѣты возьметъ, листы сорветъ,
Разгонитъ птицъ, нагонитъ грусть,
Завоетъ пѣснь унылую...

Люби, мой другъ, довѣрчиво,
Лелѣй мечту летучую.
Люби,—не вѣрь, что молодость
Уйдетъ—мелькнетъ, какъ звѣздочка,—
Та звѣздочка падучая,
Которой посылала ты
Вчера желанье жаркое.
Ахъ, вѣрь—не вѣрь,—придетъ пора—

Суровая, холодная:
Мечты возьметъ, любовь убьетъ,
Отравитъ злой насмѣшкою
Кумиръ души и юности.

* *
* *

Вчера, уединясь съ тобой съ саду тѣнистомъ,
Сидѣли мы вдвоемъ, подъ сводомъ небачистымъ, —
Сидѣли, погружаясь въ обычныя мечты.
Склонясь на грудь мою, свои желанья ты
Передавала мнѣ. И твой безпечный лепетъ
На душу мнѣ навелъ отраднѣй, сладкѣй трепетъ...
Всю жизни пустоту забыла я съ тобой:
Въ душѣ моей вился твоихъ мечтаній рой. —
Такъ слушаетъ дитя болтливой няни сказки,
И вѣритъ имъ вполнѣ, смыкая тихо глазки.
Видѣнья чудныя его лелѣютъ сонъ:
Ребенокъ въ золото и нѣгу погруженъ; —
А въ комнатѣ его, и маленькой, и бѣдной,
Едва мелькаетъ лучъ лампы тихій, блѣдный,
Что предъ иконами старинными горитъ,
Да няня старая въ углу спокойно спитъ....

* *
* *

Чудная минута!
Будто счастья жду я.
И мечты слетаютъ,
Нѣжа и чаруя.
Какъ на чувства сердце
Въ этотъ мигъ не скупю!—
Я готова плакать,
Какъ это ни глупо...
Что-жь?—никто не видитъ...
Лейтесь слезы смѣло!
Мѣсяцу съ звѣздами
Что до васъ за дѣло?...

* *
*

Все бы я теперь сидѣла да глядѣла!
Я глядѣла бы все на ясное небо,
На ясное небо да на вечернюю зорю,—
Какъ заря на западѣ потухаетъ,
Какъ на небѣ зажигаются звѣзды,
Какъ вдали собираются тучи,
И по нимъ молнья пробѣгаетъ...
Все бы я теперь сидѣла да глядѣла:
Я глядѣла бы все въ чистое поле,—
Тамъ, вдали, чернѣетъ лѣсъ дремучій,
А въ лѣсу гуляетъ вольный вѣтеръ,
Деревамъ чудныя рѣчи шепчетъ...
Эти рѣчи для насъ непонятны;
Эти рѣчи цвѣты понимаютъ,—
Имъ внимая, головки склоняють,
Раскрывая душистые листочки...
Все бы я теперь сидѣла, да глядѣла!...
А на сердцѣ тоска, будто камень,
На глазахъ пробиваются слезы...
Какъ, бывало, глядѣла я другу въ очи,—
Вся душа моя счастьемъ трепетала,
Въ моемъ сердцѣ весна разцвѣтала,
Вмѣсто солнца любовь свѣтила...
Вѣкъ бы цѣлый на него я глядѣла!...

Вечернія думы.

I.

Когда я у окна задумчиво сижу,
И взоромъ облако вечернее слѣжу,
Иль вѣтромъ сломенную вѣтку,
Иль сѣвось деревъ причудливую сѣтку
Любуюсь яркою, вечернею зарей,
Иль отразившейся въ водахъ рѣки звѣздой.—
Зачѣмъ въ моихъ глазахъ ты ищешь выраженья,
Глубокихъ, тайныхъ думъ, порыва вдохновенья?—
Въ то время, мысленно, стиховъ я не пишу,
А просто воздухомъ съ отрадою дышу,
И думаю о томъ, что вечеръ тихъ и ясенъ,
Что Божій міръ, порой, и чуденъ, и прекрасенъ,
Что въ жизни счастье есть; и вижу сладкій сонъ...
Тебѣ покажется смѣшенъ и страненъ онъ...

II.

Я все хочу разслушать,
Что говорятъ онѣ,
Вѣтвистыя березы,
Въ полночной тишинѣ?..
Все хочется узнать мнѣ,
Зачѣмъ ихъ странный шумъ

Наводитъ мнѣ такъ много,
Такъ много сладкихъ думъ?
Все хочется понять мнѣ,
О чемъ, въ тѣни вѣтвей,
Поетъ съ такимъ восторгомъ.
Волшебникъ-соловей? —
Вотъ отчего такъ долго,
Такъ долго и одна,
Въ часы прохладной ночи,
Сижу я у окна.
Вотъ, отчего, такъ часто,
Въ бесѣдѣ я живой,
Вдругъ становлюсь печальной,
Недвижной и нѣмой.

III.

Пой, дитя; пускай твой голосъ
Крики сердца заглушить;
Сладко мнѣ глядѣть на небо,
Гдѣ звѣзда твоя горитъ.
Пой, дитя; пускай отрава
Эти звуки для меня,
Это сладкая отрава,
Это счастье... пой, дитя!
Пой... пускай зажжетъ желанье
Голосъ твой въ душѣ моей,
Пусть пробудитъ въ сердцѣ муки,
Выжметъ слезы изъ очей, —
Пой, не бойся, эти слезы
Добрый признакъ для меня, —
Это жизни проявленье,
Это жизнь, мое дитя!

IV.

Гдѣ ты теперь, въ часъ вечера туманный?
Глядишь-ли съ грустію на гаснущій закатъ,
Одинъ, съ мечтой своей упрямой и желанной,
Иль, оттолкнувъ ее, ты новой гостьѣ радъ?
Въ бесѣдѣ-ли друзей простой и откровенной,
Не видишь пламени вечернія зари;
Или съ подругою, въ тѣни уединенной,
И тихо говоришь ей: «другъ мой! посмотри,
Какъ тѣнь деревъ густа, какъ сводъ небесный ясенъ,
Какъ хороши цвѣты, облитые зарей,
Какъ милъ мнѣ голосъ твой, какъ свѣтлый взоръ
прекрасенъ!...»
Ну, что-же? рада я... Будь счастливъ, Богъ съ тобой...

И с ь м о .

I.

Тепло, свѣтло кругомъ—такая же весна,
Какъ годъ тому назадъ, надъ міромъ вѣтъ;
Благоуханьемъ розъ и резеды полна
Вся комната; ихъ тоже солнце грѣтъ;—
Лишь я не та: печальна, холодна,
Меня теперь не тѣшитъ, не лелѣтъ
Природы пиръ;—на немъ еще грустнѣй,
Усталой и больной душъ моей.

II.

Но, подивись, что въ этотъ чудный день,
Мнѣ вдругъ пришло горячее желанье
Писать къ тебѣ: мою ты знаешь лѣнь.
Причиною тому воспоминанье:
Оно, мелькнувъ, какъ облачко, какъ тѣнь,
Расшевелило стихшее страданье,—
И я полна непрошеной тоской...
Её-ль не выскажу передъ тобой?

III.

Смотря на эти пышные цвѣты,
Я вечеръ вспомнила одинъ ненастный...
Смѣшно? не правда ли смѣешься ты?
Моя-жь душа полна тоскою страстной,
Мнѣ жаль мои погибшія мечты...
И, кажется, я слышу вновь ужасный
Вой зимней вьюги, стукъ ставней;
Старушку вижу,—карты передъ ней.

IV.

И, кажется, что счастлива я вновь...
И, какъ тогда, ея я ожидаю,
И страшно мнѣ! меня томить любовь;
Я пѣснямъ вѣтра трепетно внимаю,
И то горитъ во мнѣ, то стынеть кровь!..
Но... я, не правда-ль, о смѣшномъ болтаю?..
Прочь, глупыя мечты, пустая страсть!
Кто даль вамъ надо мной такую власть?

V.

Прочь, призраки обманчивые! вы,
По прежнему, меня не обольстите,
Не отуманите тревожной головы...
Чего еще вы отъ меня хотите?
Не оживить подкошенной травы
Лучъ солнца!—Вы меня не оживите?
Я, безъ надеждъ, встрѣчаю каждый день,
И стало жить мнѣ тяжело и дѣнь.

VI.

Да, гѣнь мнѣ жить! Пускай, пускай весна
Цвѣты и счастье всюду щедро сѣетъ,—
Я равнодушіемъ и скукою больна,—
Мнѣ радостью весна ужь не повѣетъ!
Тяжеле мнѣ, когда придетъ она,
Когда покровъ полей зазеленѣетъ;—
Тяжеле мнѣ—воспоминаній рой
Меня гнететъ безсильемъ и тоской!

Д у м а.

О, рѣзвися, играй, моя радость!
Мнѣ такъ сладко глядѣть на тебя;
Скоро явится буйная сладость,
Скоро жизнь ты узнаешь, дитя.

Скоро очи освѣтятся думой,
Перестанешь безопасно играть,
И заляжетъ заботы угрюмой
На лицѣ твоємъ миломъ печать.

Станешь жить и смотрѣть осторожно,
Станешь съ грустью чего-то все ждать;
Станешь тщетно душою тревожной
Свою будущность ты вопрошать.

Вотъ, узнаешь любовь ты.—и ярко
Заблеститъ, засверкаетъ твой взглядъ,
И неопытнымъ сердцемъ и жаркимъ,
Будешь пить усладительный ядъ.

Цѣлый міръ разцвѣтетъ предъ тобою:
Будешь вольно, отрадно дышать,
Своей юной, безумной душою,
Цѣлый міръ пожелаешь обнять...

Не на долго... восторгъ твой свободный
Уничтожится градомъ клеветъ,
И повѣтъ дыхавемъ холоднымъ
На него разсудительный свѣтъ.

Оскорбить тебя люди жестоко,
Опозорятъ святыню души;
Будешь, другъ мой, страдать одиноко,
Лить горячія слезы въ тиши.

А, быть можетъ, безъ лишннихъ волненій,
По разсчету, пойдешь подъ вѣнецъ;
Много умныхъ дадутъ наставленій
Тебѣ вѣжные мать и отецъ.

Заживешь ты богато, на диво,
Будешь мужа въ рукахъ ты держать;
Станешь барыней, важно, спѣсиво,
У себя ты гостей принимать.

Чтобы дѣти тебѣ не мѣшали,
Ты ихъ въ дѣтскую съ нянькой запрешь...
И не зная сердечной печали,
Пресчастливо свой вѣкъ проживешь.

П р о б у ж д е н і е с е р д ц а .

Всѣ спать давно; блести красною вѣчной,
Въ окно глядятъ, мелькаютъ тихо звѣзды.
Ужъ за полночь, а мнѣ ни какъ не спится...
На мысль, на звукъ никто не отзовется.
Томить меня нѣмая тишина;
Но никого будить я не хочу.
Одна хожу; дай сердце разбужу....
Оно такъ долго спитъ, такъ крѣпко спитъ.
Проснись же, раздѣли бессонницу мою;
Поразкажи безумье прошлыхъ дней ...
Была пора, насильно усыпляла
Тебя я пѣснью мудраго разсудка...
Теперь проснись— ты слишкомъ долго спишь.
Какъ мнѣ тяжелъ твой сонъ, твоё безмолвье!...
И, мнится мнѣ, что я, въ вечерній сумракъ,
Брожу одна, между могилъ знакомыхъ,
Не находя ни слезъ, ни сожалѣнья;
А между тѣмъ, томлюсь глухимъ сознаньемъ,
Что нужно тутъ и плакать, и молиться....
Проснись, проснись, и плакать силу дай!

Ты помнишь ли тотъ мигъ, какъ въ первый разъ,
Подъ сводомъ неба, ясно-голубого,
Забилось ты ребяческимъ восторгомъ,
Появлявъ красу, гармонию созданья?

Ты помнишь-ли какъ жадно приикало
Ты чуткимъ ухомъ къ голосу природы,
Подслушивало шумъ деревъ зеленыхъ,
Слѣдило жизнь прекраснаго цвѣтка.
Потомъ, проникнувшись восторгомъ безотчетнымъ,
Ты, будто птица въ клѣткѣ, трепетало
Незнаемымъ и чуднымъ ощущеньемъ?
Ты помнишь-ли, какъ вешнею грозой
Къ тебѣ слѣтѣла первая любовь?...
Какъ билось ты, какъ сильно билось, сердце,
Когда я съ нимъ по темной шла алеѣ,
И слушала его прерывистыя рѣчи,—
И рѣчи тѣ дышали силой чувства.
Я слушала его съ отраднымъ удивленьемъ,—
И вспыхивалъ въ щечакѣ румянецъ яркій,
И сладкія въ глазахъ блистали слезы....
Онъ былъ такъ добръ, такъ искрененъ, такъ кротокъ....
Онъ былъ дитя душой, какъ я лѣтами....
Онъ бѣденъ былъ.— «Мой другъ!— онъ мнѣ сказалъ,—
На голову безумную мою
Судьба вѣнокъ терновый положила.
Не знаю я, куда меня откинетъ
Суровой жизни мутная волна...
Быть можетъ, завтра побреду я нищимъ...
Дитя мое! не жить, не жить намъ вмѣстѣ...
Хоть я за это радъ отдать всю душу.
Пройдутъ года—и ты опять полюбишь...
Но въ этомъ морѣ жизненнаго зла,
Моя любовь, моя молитва будутъ,
Невидимо, носиться надъ тобой...
Мнѣ что-то говорить, что твой удѣлъ
И страненъ и глубокъ.... что много слезъ
Ты, ангелъ мой прольешь, и много горя
Извѣдаешь;—поймешь и наслажденье
Высокихъ думъ, и горькій ядъ бессилья»....
И много лѣтъ прошло, а я не знаю,
Гдѣ онъ, что онъ? и живъ ли онъ, или нѣтъ?—

И никогда, быть можетъ, не узнаю.
Но часто и теперь въ часы раздумья,
Когда глухой въ душѣ раздастся ропоть,
Мнѣ кажется, что кто то тихо шепчетъ
Слова терпѣнья, вѣры и любви;
Что чья-то, свѣтлымъ облакомъ, молитва
Надъ головой поникшею летаетъ...
Ты помнишь, сердце, горькій мигъ прощанья?...
Но ты, едва-едва, пошевелилось....

Неслушай-же, теперь еще тебѣ припомню
И грустное, и мрачное мгновенье:
Былъ зимній день; блѣднѣя догораль
Послѣдній лучъ печальнаго заката,
А онъ, тотъ странный, жалкій человекъ,
Со страстью на словахъ, съ безсиліемъ въ поступкахъ,
Молилъ меня о взглядѣ, объ улыбкѣ...
Его слова отчаяньемъ дышали,
Какъ будто бы во мнѣ послѣднее спасенье
Онъ видѣлъ... всѣ его движенья были
Проникнуты безумной, горькой страстью.
Онъ плакалъ жаркими у ногъ моихъ слезами,
Плающая рѣчь изъ устъ его лилась!
Ты помнишь,—жалостью неодолимой, сердце,
Болѣзненной, глубокой ты прониклось...
Я чуть ему руки не протянула,
И чуть сама не залилась слезами;
Но вспомнила, что ты его не любишь,
И равнодушно, гордо повернула
Къ нему холодное и строгое лицо...
Потомъ съ язвительной, насмѣшливой улыбкой,
Ему на дверь изъ дома показала...
То было для меня тяжелое усилье!
Но въ немъ я видѣла лекарство отъ недуга...
Но ты все спишь, все крѣпко, сердце, спишь...

Ну, слушай же—еще воспоминанье,—

И если отъ него ты не проснешься —
Тогда ужь спи, тогда хоть вѣчно спи!...
Ты помнишь ли тяжелый часъ разлуки,
Разлуки съ тѣмъ, кого такъ безграбично,
Довѣрчиво, восторженно любило;
Чье имя было для тебя святыней,
О комъ п мысль казалася молитвой?...
Ты помнишь ли послѣднее свиданье,
Въ печальной комнаткѣ, гдѣ все такъ бѣдно,
Гдѣ по стѣнамъ доскутьями обон
Висѣли; гдѣ все украшенье было
Въ углу съ блестящей ризою икона.
Да передъ ней хрустальная лампада?
Ты помнишь ли, какъ весь онъ былъ взволнованъ,
Какъ онъ мечталъ о томъ завѣтномъ счастьи,
Которому не сбыться суждено?
Ты помнишь ли, какъ онъ, мужчина, плакалъ?...
Ахъ, съ той поры на бѣдную меня
Обрушилось такъ много, много горя. —
Забвенья холодъ, боль пренебреженья
Глубокое, нѣмое оскорбленье,
На дно души упавшее какъ камень
Тяжелый. — все извѣдано глубоко!
Судьба однимъ безжалостнымъ ударомъ
Убила всѣ мои святыя упованья.
Прошедшее на вѣки отравила;
О будущемъ п думать я боюсь....
Мнѣ кажется, что я плыву безъ цѣли
Бездоннымъ моремъ; берега не видно,
А небо скрыто тучами густыми,
И море то зовется — безнадежность....
Но, Боже мой что это? плачу я?!
А! ты проснулось, чувствую я, сердце!...
Стѣснилась грудь... въ глазахъ темнѣеть.... душно....
Нѣтъ, больно мнѣ! усни, усни опять!...

Разная участь.

Въ жизни разные дороги
Намъ съ тобою суждены;
Разной долей, разнымъ даромъ
Мы съ тобой надѣлены.

Полно розовыхъ мечтаній
Сердце юное твое;
Предъ тобой широко, ясно
Развернулось бытіе.

Недоступна ты страданью,
Ты безстрастна и чиста,
Какъ прекраснаго ребенка
Беззаботная мечта,

Ты любить легко умѣешь,
Забываешь ты шутя;
У тебя скользить по сердцу,
Что томить, гнететь меня.

Не протягивай съ улыбкой
Ручку вѣжную твою,—
Нѣтъ, моей печальной дружбы
Я тебѣ не подарю.

Не хочу рассказомъ грустнымъ
Ясный взоръ твой омрачить;
Не хочу чужимъ страданьемъ
Сердце юное смутить.

Что за дѣло до чужого
Горя намъ,—нѣтъ, Богъ ужь съ нимъ!—
Въ этой жизни мы довольно
Нагорюемся своимъ.

Нѣтъ! Иди, Господь съ тобою,—
Не товарищъ я тебѣ!
И пойду другой дорогой
Я, покорная судьбѣ.

* *
*

Люди много мнѣ болтали
О тебѣ добра и худа;
Но, на всѣ пустые толки
Я презрѣньемъ отвѣчала.
Пусть кричатъ, что имъ угодно,—
Про себя я говорила,—
Мнѣ всю правду сердце скажетъ:
Лучше всѣхъ оно съумѣетъ
Различить добро и худо.
И съ тѣхъ поръ, какъ полюбила
Я тебя, прошло не мало
Дней веселыхъ и печальныхъ;
Разгадать же и теперь я
Не могу, какъ ни стараюсь,
Что въ тебѣ я такъ любила:
То-ли, что хвалили люди,
Или то, что осуждали?..

* *
*

Ты спросила, отчего я
Молчалива и грустна?—
Не даетъ мнѣ мысль покоя,
Что въ землѣ сырой она...
Не могу я равнодушно
Нынче съ вами распѣвать;
Все мнѣ кажется, что душно
Въ тѣсномъ гробѣ ей лежать;
Все мнѣ мнится: тяжело ей
Быть засыпанной землей,
И не ловко, и темно ей
Подъ богатой пеленой.
Эту мысль прогнать нѣтъ силы,
Хоть разсудокъ и твердить,
Что нельзя разрыть могилы,
Что мертвецъ безъ чувства спитъ.

* *
* *

Любви не можетъ быть межъ нами:
Ея мы оба далеки;—
Зачѣмъ же взглядами, рѣчами
Ты льешь мнѣ въ сердце ядъ тоски?
Зачѣмъ тревогою, заботой
Съ тобой полна душа моя?
Да, есть въ тебѣ такое что-то,
Чего забыть не въ силахъ я;
Что въ день печали, въ день разлуки,
Въ душѣ откликнется не разъ,
И старыя пробудить муки,
И слезы вызоветъ изъ глазъ.

Скучный вечеръ.

Какъ мнѣ вечеромъ скучно одной,
Да при томъ же не въ шутку больной!
Я-бъ охотно послушала сказки,
Дождалась бы и глупой развязки;
А ужъ если бы пѣсню кто спѣлъ,
Мой недугъ бы какъ разъ отлетѣлъ.
Мнѣ работать, читать запретили...
Да еще бы хоть звѣзды свѣтили!
Нѣтъ, въ окошко, темна, холодна,
Ночь угрюмая смотреть одна;
Шумно сани, порой, проѣзжаютъ,
Да у дома въ потемкахъ мерцаютъ,
И лѣниво, и тускло горя,
Покривленные два фонаря.
Съ каждымъ часомъ минуты длиннѣе;
Съ каждымъ часомъ въ душѣ холоднѣе.
Вотъ и пѣсня... Спасибо тому,
Кто запѣлъ, не взирая на тьму,—
И не мыслить о томъ, не гадаеть,
Кто ему съ наслажденьемъ внимаетъ:
Для себя одного онъ поеть,
И по улицѣ дальше идетъ...

* *
*

Ночь. Все тихо. Только звѣзды
Неусыпныя блестятъ,
И въ струяхъ рѣки зеркальной
И мелькають, и дрожать;
Да порою пробѣгаетъ
Легкій трепеть по листамъ,
Или сонный жукъ лѣниво
Прожужжить привѣтъ цвѣтамъ.
Полно намъ съ тобой такъ поздно
Подъ деревьями сидѣть
И, съ мечтой неисполнимой,
Грустно на небо смотрѣть,
И, какъ дѣтямъ, любоваться
И звѣздами, и рѣкой:
О другомъ давно пора ужь
Намъ подумать бы съ тобой.
Посмотри, вѣдь ты сѣдѣшь,
Да и я ужь не дитя;
Путь далекъ, притомъ не гладокъ, —
Не пройдешь его шутя!
И не вѣчно будутъ звѣзды
Намъ такъ ласково сверкать.
То и жди, бѣда, какъ туча,
Набѣжитъ на насъ опять...

Вотъ и надобно подумать,
Что бы насъ она въ распахъ
Не застала, чтобъ разсудокъ
Силы намъ собрать помогъ,
Чтобъ взглянуть въ глаза несчастью,
Съ думой смѣлой и прямой,
Чтобъ не пасть намъ передъ горемъ,
А возвыситься душой...

Д Л Я М И Л Ы Х Ъ.

Я стою передъ иконою
И, безъ словъ, молюсь;
Я молюсь Тебъ, Создатель,—
Объ одномъ прошу:
Пусть пошлетъ мнѣ страданье,—
Духъ къ нему привыкъ;
Пусть меня забудутъ скоро
Всѣ, кого люблю.
Пусть забудутъ, пусть разлюбятъ;
Только, Боже мой,
Посылай имъ чаще радость,
Счастья посылай;
Если есть его на долю
У Тебя мою,
Эту долю моимъ милымъ
Раздѣли, молю!

Отсутствующему другу.

Какъ бы я въ минуту эту
Быть съ тобой желала, другъ!
Я въ лѣсу; находить туча,
Тихо, тихо все вокругъ;
Надо мною, торопливо
Птицы чуткія снуютъ,
Улетаютъ, прилетаютъ
И подругъ своихъ зовутъ.
Вотъ, и солнышко закрылось...
Поскорѣ бы домой!
И какъ будто стало страшно
Мнѣ въ густомъ лѣсу одной.
И шумятъ вершины елей,—
Знать, толкуютъ межъ собой,
Какъ имъ тучу эту встрѣтить
И не струсить предъ грозой?
Что за воздухъ! какъ чудесно
Раскидались облака!
Но проходить мимо туча.
Вотъ, и къ дому я близка.
Прихожу—ужь солнце свѣтитъ
Въ овна комнаты моей.
Что то весело мнѣ стало,
Мысли чище и свѣтлѣй.
О, пускай, какъ эта туча,

Въ жизни всякая бѣда,
Милый другъ, тебя минуетъ
И оставитъ навсегда!
Солнце свѣтитъ. Небо ясно.
Тихо, тихо все вокругъ...
Какъ бы я въ минуту эту
Быть съ тобой желала, другъ!

* *
*

Грустная картина!
Облакомъ густымъ
Вьется изъ овина
За деревней дымъ.
Незавидна мѣстность:
Скудная земля,
Плоская окрестность,
Выжаты поля.
Все какъ бы въ туманѣ,
Все какъ будто спить...
Въ худенькомъ кафтанѣ
Мужичокъ стоитъ,
Головой качаетъ, —
Умолотъ плохой, —
Думаетъ-гадаетъ:
Какъ-то быть зимой?
Такъ вся жизнь проходить
Съ горемъ пополамъ;
Такъ и смерть приходитъ,
Съ ней конецъ трудамъ.
Причастить больнаго
Деревенскій попъ;
Принесутъ сосновый

Отъ сосѣда гробъ;
Отпоютъ уныло...
И старуха мать
Долго надъ могилой
Будетъ причитать...

Ч а р ы в е ч е р а .

I.

Твой послѣдній лучъ блеститъ за лѣсомъ,
Добрый путь тебѣ, свѣтило дня!
Здѣсь, деревъ зеленыхъ подъ навѣсомъ,
Я смотрю, люблюсь на тебя.
Ты теперь доступно взору стало,
Гордый блескъ теперь смирился твой,
Цѣлый день по небу ты гуляло,
Разливая нестерпимый зной.
Селянинъ усталый ужъ кончаетъ
Часъ заботъ вседневнаго труда;
И, я вижу, въ небесахъ мерцаетъ
Ярче всѣхъ вечерняя звѣзда.
Поднялись туманы надъ поляной,
И кричатъ кузнечики въ травѣ.
Все блѣднѣй, блѣднѣе лучъ багряный...
Все въ моей тревожнѣй головѣ.
Полно тайны листьевъ трепетанье,
Полно небо дивной красоты...
Все сильнѣе сердца обаянье,
Вереницей тянутся мечты...

II.

Наконецъ повѣяло прохладою,
Тихій вечеръ звѣзды засвѣтилъ.
Я вздохнула съ тайною отрадой,
И гляжу на стройный хоръ свѣтилъ.
Тамъ, вдали, два облачка несутся,
Облитыя отблескомъ зари;
Вотъ, сейчасъ они въ одно сольются...
Вотъ, звѣзда падучая... смотри!
Промелькнула яркою чертою,
Не оставя по себѣ слѣда...
Отчего же сердце за тобою
Рвется вдали, падучая звѣзда?
Отчего съ особеннымъ участиемъ,
За тобой, огнистая, слѣжу?..
Оттого, что я въ тебѣ со счастьемъ,
Счастьемъ прошлымъ сходство нахожу...

III.

Заглушить-ли мнѣ внутренній голосъ,
Всѣ порывы тревожной души?
Этотъ вечеръ, заря и деревья
Такъ чудесно, тепло хороши!
Эти звѣзды, что трепетно блещутъ
Въ недоступной, нѣмой вышинѣ;
Этотъ звонъ, что несется протяжно,
Разливаясь въ ночной тишинѣ,—
Вся гармонія, сила созданья
Отражаются въ сердцѣ моемъ,
Проникаютъ стремленьемъ высокимъ,
Жгутъ восторженной думы огнемъ.
И во мнѣ незамѣтно стихаетъ
Шумъ житейской, пустой суеты,
И смѣняется царство разсудка

Блескомъ свѣтлой и теплой мечты...
Все, что спать въ глубинѣ задушевной,
Что мнѣ стоило тяжелой борьбы,
Что едва и съ трудомъ уцѣлвало
Отъ нападокъ людей и судьбы,—
Все проснулося въ эту минуту,
Озарилось любовью святой,
И проносится, тихимъ видѣньемъ,
Надъ поникшей моей головой.
Поддалась я совсѣмъ этимъ чарамъ,
Не могу я мечту потушить,
И таинственный, внутренній голосъ
Не могу я теперь заглушить.
Пусть же длится до утра, природа,
Надо мной твоя чудная власть;
Пусть мнѣ душу волнуютъ и нѣжатъ
Небо, вечеръ, раздумье и страсть:
Завтра, съ утреннимъ виѣствъ туманомъ,
Улетятъ эти призраки прочь,
И разсѣется все, что нагнала
Мнѣ на душу лукавая ночь.

* *
* *
*

Ты меня позабудешь не скоро,
Въ томъ сердечно увѣрена я.
Нѣтъ, сошлись мы съ тобою не даромъ
На широкомъ пути бытія.
И не даромъ мы крѣпко любили,
И не по пусту слезы лились,
И не даромъ, любя и тоскуя,
Мы съ тобою навѣкъ разошлись.
Ты меня позабудешь не скоро,
Хоть и думаешь ты, что забылъ,
Что надолго теперь ужь другую
Ты тревожной душой полюбилъ.
Полюбилъ!... но не первою силой
Свѣжихъ чувствъ ее будешь любить...
И не первыя будешь признанья
Въ увлеченьи сердечномъ твердить...
Эти самыя даже признанья
И волненье, и робость ея,
И несвязныя, страстныя рѣчи—
Все, быть можетъ, напомнитъ меня...
А когда одинокое горе
Нанесется житейской волной,
И напросится въ душу сомнѣнье,
И наполнится сердце тоской;
Или въ женщинѣ встрѣтишь измѣну,

Иль въ своихъ ошибешься друзьяхъ;
Потрясетъ-ли тебя неудача,
Наведетъ-ли грядущее страхъ;
Клевета-ли тебя отуманить
Или зависть захочетъ вредить,
Иль усталой душой пожелаешь
Безпредѣльно любимымъ ты быть:—
О, я вѣрю, въ такую минуту
Обо мнѣ ты вспоманешь не разъ,
И узнаешь, что въ жизни не даромъ
Я съ тобою, когда-то, сошлась...

* *
* *

Ночь... Вотъ, въ садъ тѣнистый
Стукнуло окно...
Льется воздухъ чистый;
Люди спять давно.

Но съ землей украдкой
Звѣзды говорятъ;
И въ раздумьи сладкомъ
Дерева стоять...

Какъ теперь отрадно
Ей, одной, вздохнуть!
Какъ впиваетъ жадно
Свѣжій воздухъ въ грудь.

И спустились руки
За окно... въ тиши,
Слышатся ей звуки
Въ глубинѣ души.

Имъ она внимаетъ...
И, въ тоскѣ нѣмой,
Сердце замираетъ,
Взоръ горитъ слезой...

П И С Ь М О.

(м. п. вронченко).

Сердита я на васъ. Не грѣхъ ли вамъ
Молчать,—молчать такъ долго и упорно!
Хоть преданы серьезнымъ вы дѣламъ,
И время дорого для васъ,—безспорно;
(Оно въ занятыхъ незамѣтно намъ;
Притомъ же, какъ часы летятъ проворно!)
Но, Боже мой! ужель у васъ минутки
Свободной нѣтъ?.. Я зла на васъ, безъ шутки.

Вотъ, мнѣ о жизни пасмурной моей
Такъ грустно и писать... Однообразно
Тащится день за днемъ; почти людей
Не вижу я. Невольно скукъ праздной
Я предаюсь; теперь же все мрачнѣй
Съ приходомъ осени, холодной, грязной,
Я цѣлый день почти одна бываю,—
Пишу, работаю, подъ часъ мечтаю.

Наступить вечеръ: маленькой семьей
Вокругъ стола усядемся мы дружно.
Въ душѣ тепло и тихо... Чередой
Часы идутъ себѣ... Порой, досужный
Заѣдетъ гость, весь занятый игрой

Иль службою, и разговоръ ненужный
Заводить важно... Вечеръ непримѣтно
Проходить; гость прощается привѣтно.

На завтра тоже... тоже! Тѣсенъ кругъ
Житейскій, и душа въ немъ тихо дремлетъ...
Но, иногда, неожиданно, быстро вдругъ
Ее восторгъ поэзіи объемлетъ,
И непонятный, сладостный недугъ;
Она какимъ-то звукамъ сладкимъ внемлетъ...
И жаждетъ слухъ высогихъ, сладкихъ пѣсенъ.
И снова міръ прекрасенъ и чудесенъ!

Вечеромъ.

Вечерь... этотъ вечеръ
Чудной вѣгой дышетъ...
Золотой зарею
Ярко западъ пышетъ.
Наклонивъ головки,
Розы сладко дремлютъ...
Но любовь и горе
Душу мнѣ объемлютъ.
О погибшемъ счастья
Я въ тиши тоскую;
Тщетно вопрошаю
Будущность вѣмую...
Впереди темнѣть
Жизнь безъ наслажденья,
Въ сердце проникаетъ
Скорбное сомнѣнье...
Мало-ли ихъ было
Чистыхъ упованій!..
Ни одно изъ жаркихъ
Не сбылось желаній!
Безпощадной волей
Всѣ они разбиты...
Не было участья,
Не было защиты!
Гдѣ-жъ для новой жизни,

Гдѣ найду я силы?
Знать, не будетъ больше
Счастья до могилы!
Зажигайтесь, звѣзды,
Въ небѣ поскорѣе!
Раздавайтесь звуки
Соловья, сильнѣе!
Заглушайте въ сердцахъ
Горе и сомнѣнье:
Пусть струей отрадной
Льется мнѣ забвенье...

Скоро весна.

Скоро весна! Посмотри: подъ горячимъ лучомъ
Снѣгъ исчезаетъ замѣтно; скворцы прилетѣли;
Въ воздухѣ жизнь и по небу плывутъ облака:
Съ крышъ, точно жемчугъ звуча и сверкая,
Падаютъ капли; дышетъ все мыслью одной,
Полно одною надеждой: скоро весна!
Стало мнѣ вдругъ хорошо и легко, такъ легко,
Будто въ душѣ моей также весна настаетъ...

И. С. А к с а к о в у.

Давно ужъ мнѣ хотѣлося
Сказать, какъ освѣжительно
На душу утомленную
Житейскою всеневностью
Талантомъ вы повѣяли,
И освѣтили темные
Вопросы сердца смутнаго.

Бѣгутъ мечты коварныя,
Слетаютъ сны обманщики
Съ души моей взволнованной,
Зоветь и кличетъ истина
На дѣло благородное, —
И на призывъ могучій
Невольно я откликнулась
Всей силою души моей.
И поняла я вѣрное,
И разгадала чудное,
И полюбила свѣтлое
Къ добру, къ труду призваніе.
Далеко-ли пойду за нимъ,
На сколько выбьюсь силою
Изъ омута глубокаго
Сомнѣнія, джеумія,

Страстей, противорѣчя,
Всей жизненной сумятицы—
Рѣшится то со временемъ.

И если упаду въ борьбѣ,
И если изнеможетъ духъ,—
Пускай раздастся голосъ вашъ
Суровый, обличительный,
Какъ истина спасительный,—
И подкрѣпитъ слабѣющей
Души моей усиля.

М и г ъ о б н о в л е н і я .

Свѣжесть утра, розъ дыханье,
Говоръ свѣтлыхъ водъ,
Гибкихъ вѣтокъ колыханье,
Ясный неба сводъ, —
Все мнѣ въ душу обаянье .
И надежду льетъ;
Все печальное забыто,
Новый міръ встаетъ,
И о томъ, что ужъ прожито,
Вспомнить не даетъ.
Тайной силой обновленья
Дышетъ грудь моя,
Впредь печали и сомнѣнью
Не отдамся я.
И среди житейской битвы
Твердо сохранию —
Вѣру сердца, пылъ молитвы
И любовь мою.

Т. Г о — й.

Страсти истинной, глубокой
Наслаждения въ борьбѣ
Съ бурнымъ, жизненнымъ потокомъ
Не понять тебѣ;
Не понять, что есть волненья,
Кромѣ знаемыхъ тобой,
Есть высокія стремленья,
Есть сомнѣній страшныхъ рой.
Есть любовь... не то, что ваша!
(Этотъ вихрь васъ не крутилъ):
То отравленная чаша,
А не пить ее нѣтъ силъ!
То огонь и вдохновенье,
Всѣхъ душевныхъ силъ раздвѣтъ,
То святое упоенье,
То--чему названья нѣтъ.
О, дитя большого свѣта,
Безъ заботъ и безъ страстей,
Непонятна буря эта
Для души твоей;—
На волненья мелочныя,
На пустыя суеты
Сердца силы молодыя
Растеряла ты.

И танцую, ты страдаешь,
И танцую, любишь ты,
И танцую, попираешь
Жизни лучшие цветы...

В ъ с т о л и ц ѣ .

Полныя народа,
Улицы большія,
Шумъ непрестающій,
Зданья вѣковыя.
И подь небомъ звѣзднымъ
Городъ безконечный,—
Обо всемъ объ этомъ
Я мечтала вѣчно;
У себя, въ деревнѣ,
Въ тишинѣ, въ покоѣ,
Все это казалось
Мнѣ прекраснѣй вдвое.
А теперь, въ столицѣ,
Я томлюсь тоскою:
И по роцѣ темной,
Пахнущей смолою,
Гдѣ по утру хоры
Птичекъ раздавались,
И деревья съ шумомъ
Медленно качались;
И по рѣчкѣ синей,
Что течетъ небрежно,
И журчитъ струями
Врадчиво и нѣжно,
Берега лаская

Влагою прохладной;
И по ивѣ старой,
Что склонилась жадно
Надъ прудомъ широкимъ,
И въ него глядится,
И какъ будто вѣчно
Жаждою томится...
Есть еще сосѣдъ тамъ,
Онъ простой, несвѣтскій,
Но онъ весь проникнутъ
Добротою дѣтской...
Повидаться съ нимъ бы
Я теперь желала,
И сказать, какъ прежде
Я глупа бывала...

* *
*

О, съ какой умиленной грустью
На твою я веселость смотрю,
На улыбку, на алыя щечки
И на свѣтлую юность твою!

Разольешься-ли громкимъ ты смѣхомъ,
Или вспыхнешь, головку сгиба, —
Я сама будто вдругъ оживаю,
Будто вѣтъ весной на меня.

Будто голосъ знакомый я слышу,
Будто прежнія пѣсни пою...
Будто отзывъ отрадный несется
На сердечную думу мою.

Въ твоемъ образѣ, миломъ и нѣжномъ,
Мое прошлое ожило вновь,
И мнѣ грезятся вновь уповаья,
Въ сердце просится снова любовь.

Кто мнѣ родня?

Покрытый ранами, поверженный во прахъ,
Лежалъ я при пути, въ томленьи и слезахъ,
И думалъ, про себя, въ тоскѣ невыразимой:
О, гдѣ моя родня, гдѣ близкій, гдѣ любимый?
И много мимо шло... но чтожь? никто изъ нихъ
Не думалъ облегчить тяжелыхъ ранъ моихъ...
Иной бы и желалъ, да въ даль его манила
Житейской суеты губительная сила;
Иныхъ пугалъ видъ ранъ и мой тяжелый стонъ...
Ужь мной овладѣвалъ холодный смерти сонъ,
Ужь на устахъ моихъ стенанья замирали,
Въ тускнѣющихъ очахъ ужъ слезы застывали...
Но, вотъ, пришелъ одинъ, склонился надо мной,
И слезы мнѣ отеръ спасительной рукой.
Онъ былъ невѣдомъ мнѣ; но полнъ святой любовью,
Текущею изъ ранъ не погнушался кровью...
Онъ взялъ меня съ собой и помогалъ мнѣ самъ,
И лилъ на раны мнѣ цѣлительный бальзамъ...
И голосъ мнѣ сказалъ, въ душѣ неотразимый:
«Вотъ, кто родня тебѣ, кто близкій, кто любимый...»

Полночная молитва.

Тихо все; горитъ лампада;
Полночь бьетъ; пора, проснись;
Встань, дитя, съ своей постельки,
Встань и Богу помолись.
Помолись за дальнихъ братій, —
Можетъ быть, вокругъ нихъ теперь
Льется кровь, летаютъ пули,
Не безъ ранъ, не безъ потерь.
Всѣ они безстрашны въ битвѣ;
Безпредѣльная горитъ
Въ нихъ любовь къ Царю, къ Отчизнѣ; —
Храбрыхъ смерть не устрашить.
Не забудь и тѣхъ, что пали
Въ битвѣ жертвою святой;
Безъ тоски ихъ, безъ печали,
Чистымъ сердцемъ помани.
Встань, дитя, и на колѣна!
Къ Богу съ теплою мольбой,
Чтобы знаменемъ побѣды
Осѣнилъ Онъ страшный бой.

Р а н н и м ъ у т р о м ъ .

Отворить окно: ужь солнце всходитъ,
И, блѣднѣя, кроется луна,
И шумящій пароходъ отходить,
И сверкаетъ быстрая волна...
Волга такъ раскинулась широко,
И такой кругомъ могучій жизни хоръ,
Силу родины такъ чувствуешь глубоко;
Въ безграничности теряется мой взоръ.
Сердце будто вѣсть родную слышитъ, —
Въ ней такая жизни глубина...
Оттого перо лѣниво пишетъ, —
Оттого, что такъ душа полна.

* *
*

Другъ мой! видишь-ли, по небу,
Тучки вешнія плывутъ.
Чу! въ поляхъ зазеленѣвшихъ,
Птички весело поютъ.
Ужь на тополѣ высокомъ
Распустилися листы;
Дышутъ сладкимъ благовоньемъ
Мая первые цвѣты.
Подъ влiянiемъ чудной силы,
Вознесемъ, хоть на мигъ,
Выше горя, выше счастья,
Выше радостей людскихъ.

Неутоленная жажда.

Въ одно ароматное утро,
Подъ каплями свѣтлой росы,
Прелестный цвѣтокъ распустился,
На мягкомъ, зеленомъ лугу.
Душистую поднялъ головку,
Съ любовью на небо взглянулъ:
И небо безоблачно было;
Ласкалъ его солнечный лучъ,
Шептала зеленая травка,
Восторженно пѣлъ соловей...
И счастливъ цвѣточикъ-малютка,
И воздухъ живительный пьетъ;
Но солнце все выше восходитъ,
Все жарче ласкаетъ его...
Ужь высохли свѣтлыя капли,
На пестрыхъ и нѣжныхъ листьяхъ;
Онъ полонъ мучительной жаждой,
Онъ соки теряетъ свои,
Сбираетъ послѣднія силы,
Чтобъ снова на небо взглянуть,
И видеть, по небу несется,
Сердито нахмурясь, туча.
И молить онъ тучу усердно:
«Приблизься, суровая туча!
И, съ края свинцовой одежды,

Пролей, хоть единую каплю,
Прохладную каплю дождя! —
Но туча проносится мимо,
Ни капли дождя не роняя;
Несетъ ее вътеръ могучій,
По волѣ капризной своей, —
И мрачно ему покоряясь,
Гуляетъ по небу она.
Но ропщетъ раскатами грома;
Но сыплетъ перуны, порой;
Потомъ, надъ песчаною степью,
Заплакала крупнымъ дождемъ...
И тихо листки опустивши,
Бѣдняжка цвѣточикъ завялъ...

* *
*

Среди бездушныхъ и ничтожныхъ
Рабовъ вседневной суеты,
Храни отъ яда мнѣнїй ложныхъ
Свой здравый умъ и сердце ты.
Ищи, что истинно и свято,
Лжи искушенїй избѣгай,
И гласу страждущаго брата
Душою чуткою внимай.
И если въ нуждѣ и неволѣ,
Неся несчастїй тяжкій гнетъ,
Не совладавъ съ своею долей,
Онь, полнъ отчаянья, падеть,
И прокричитъ толпа свирѣпо
Свой беспощадный приговоръ,
Свой судъ пристрастный и нелѣпый,
И малодушный свой укоръ, —
Не заключаай по нимъ поспѣшно, —
Не осуждая никого,
Скажи имъ: кто изъ васъ безгрѣшный,
Пусть броситъ камень на него!

П о с ѣ щ е н і е .

Осеннимъ то вечеромъ было;
Прозвительно вѣтеръ свисталъ
И желтые листья деревьевъ,—
Послѣдніе листья срывалъ.
Въ одномъ городкѣ отдаленномъ,
Красивенькій домикъ стоялъ;
Затворены крѣпко ворота,
Не видно движенія въ немъ,
И чистыя стекла окошекъ
Давно не свѣтились огнемъ.
Въ тотъ вечеръ, по улицѣ мрачной,
Одинъ пѣшеходъ проходилъ;
Высокъ онъ былъ, молодъ и статенъ,
И, видно, куда-то спѣшилъ.
И ярко такъ очи сверкали
Сявось темную дымку рѣсниць,
И черныя кудри лежали
Густою волною до плечъ.
И, вотъ, передъ домикомъ сталъ онъ
Съ волненіемъ и тайной тоской;
Помедилъ, потомъ постучался
Въ калитку и разъ, и другой.
И вышелъ, кряхтя и вздыхая,
Слуга престарѣлый, съ огнемъ,
Привѣтливо кланялся гостю,

Его освѣтя фонаремъ.
«Господъ, сударь, нашихъ нѣтъ дома».
— Я знаю,—отвѣтъ былъ,—впусти;
Вѣдь въ комнаты можно, надѣюсь,
Безъ нихъ не надолго войти?—
«Давно, сударь, вы не бывали,
Совсѣмъ позабыли объ насъ!
А прежде частенько ходили...
Сейчасъ отопру вамъ, сейчасъ!»
И въ чистыя комнаты, робко,
Вошелъ посѣтитель съ тоской,
Онъ все въ нихъ осматривалъ жадно;
Вдругъ очи блеснули слезой,
И онъ передъ женскимъ портретомъ,
Какъ будто прикованный, сталъ...
И долго онъ имъ любовался,
И что-то ему все шепталъ...
«Да, барышня тутъ, какъ живая,—
Съ улыбкой служитель сказалъ,—
Женихъ ея скоро пріѣдетъ...
Немолодъ, зато генералъ»!
И гость, какъ змѣей уязвленный,
Вздрыгнувъ и поникъ головой;
И долго стоялъ неподвижно,
Печальный и блѣдный такой;
Потомъ, какъ отъ сна пробудившись,
Махнулъ безотрадно рукой,
И быстро изъ домика вышелъ,
Въ волненьи и съ тайной тоской...
А небо осеннее тмилось,
И вѣтеръ ставнями стучалъ,
И желтые листья деревьевъ,—
Послѣдніе листья срывалъ.

И скоро потомъ воротились,
Въ свой домикъ уютный они;

И вечеромъ вновь замелькали
Привѣтные въ окнахъ огни.
Доволенъ и ясенъ хозяинъ,
Супруга его весела;
Одна только дочь молодая
Задумчива что-то была.
Невольно, порой, замирала
Улыбка у ней на устахъ,
И часто свѣтилъ слезы
Въ большихъ и прекрасныхъ глазахъ.
Взгляните, какъ грустно склонивши
Головку на руки, она
Сидитъ и мечтаетъ о чемъ-то,
Въ часъ сумерекъ тихій, одна.
Вотъ, дверь отворилась тихонько,
Послышался чьи-то слова,
И вскорѣ потомъ появилась
Съдая слуги голова.
«Вчера еще, Ольга Петровна,
Хотѣлъ я вамъ вотъ что, сказать,—
Да все помѣшать вамъ боялся,
Изволили книжку читать.
Владиміръ Сергѣичъ, намедни,
Сюда *заходили* безъ васъ,
На вашъ все портретъ *любовались*,
Съ него не сводили и глазъ.
Спросилъ его: долго-ль пробудеть?
— «Не знаю»,— онъ мнѣ отвѣчалъ;—
Да скучный такой и угрюмый;
Все время, что былъ здѣсь, молчалъ».
О, какъ она вся встрепенулась,
Какъ жизнь заиграла въ чертахъ,
И сколько любви и блаженства
Зажглося въ прекрасныхъ глазахъ!
Черезъ часъ ужъ, служитель усердный,
Прохваченный вѣтромъ, дождемъ,
Закутанный старой шинелью,

Шелъ улицей грязной съ письмомъ...
Къ гостинницѣ ветхой и сальной,—
Пріюту пріѣзжихъ,—спѣшилъ.
«Не здѣсь-ли Карменскій?» въ воротахъ,
Мальчишку съ метлой онъ спросилъ.
—Онъ утромъ сегодня уѣхалъ,—
Ему тотъ, зѣвая, сказалъ.
Вернулся старикъ недовольный,
И что-то дорогой ворчалъ...
Но это письмо захотите,
Быть можетъ, вы сами прочесть?—
Оно передъ вами,—смотрите,
Какъ много безумья въ немъ есть:

«Они меня мучили долго,
«Любовь называя мечтой;
«Сказали: тебя позабылъ онъ,
«Давно уже занять другой...
«Шли годы; ни вѣсти, ни слуху,
«Какъ будто ты умеръ, мой другъ;
«Язвили и гнѣвъ, и насмѣшки
«Больной, ослабѣвшій мой духъ...
«Явился женихъ мнѣ богатый,
«Съ холоднымъ и рѣзкимъ лицомъ...
«Просили меня, умоляли,—
«И мы помѣнялись кольцомъ.
«Я гибла, не видя отрады,
«Не видя спасенья ни въ чемъ.
«Я думала: все измѣнилось,
«Во всемъ обманулась, во всемъ!
«Но здѣсь ты! душа оживаетъ...
«О, если ты любишь меня,—
«Приди! Я давно ожидаю,
«Съ безумной надеждой тебя.
«Приди же! на все я готова,
«Съ тобою повсюду пойду,

«Спаси, пока есть еще время!
«Отъ *нихъ* ничего я не жду»...

Съ какою тоской и волненьемъ,
Бѣдняжка отвѣта ждала!
А, вотъ, и старикъ воротился...
О, что-то судьба ей дала!
Онъ въ комнату медленно входитъ.
Письмо ей назадъ отдаетъ;
Она его, мрачно и молча,
Дрожащей рукою беретъ.
Ни слова, ни вздоха, ни слезки!
Поникла на грудь головой,
И только письмо безотчетно
Сжимаетъ дрожащей рукою...

Съ немилымъ ее обвѣнчали;
Цвѣты и брильянты на ней;
На свадьбѣ такъ весело, ярко,—
Наѣхало много гостей.
А что же она?.. Э, читатель?
Какое намъ дѣло съ тобой
До ближняго тайныхъ страданій...
Мы сами страдаемъ порой,
Порой и поплачемъ украдкой,
Поропщемъ, пожалуй, подчасъ...
Да что же? Никто вѣдь не спросить
Объ этомъ съ участиемъ у насъ...
А если и спросить—что пользы?—
Въ сочувствіе вѣры въ насъ нѣтъ:
За дерзость сочтемъ мы участие—
И горекъ нашъ будетъ отвѣтъ.

У креста и на крестѣ.

I.

И Онъ идетъ на мѣсто казни,
Смиренно, кротко,—безъ боязни,
Идетъ—позоромъ облеченный,
Крестомъ тяжелымъ удрученный!
Идетъ—еще къ страданьямъ новымъ,
Идетъ въ вѣнцѣ своемъ терновомъ!
За Нимъ толпа, полна смятенья,
Безумья, страха, изумленья;
За Нимъ друзья, въ слезахъ и горѣ,
Съ тоскою мрачною во взорѣ;
За Нимъ враговъ соборъ жестокий,
Горя къ Нему враждой глубокой
За то, что обличалъ Онъ смѣло
Ихъ каждое дурное дѣло,
И говорилъ имъ: «лицемѣры!
Въ васъ нѣтъ живой ни капли вѣры...»
И говорилъ имъ: «не дѣлами,
Вы сильны только лишь словами...»
За то, что отъ Него чудесно
Лился потокъ любви небесной,
И все въ Немъ ясно говорило,
Что Онъ—божественная сила.

II.

И вотъ на мѣсто смерти Онъ
Пришелъ, измученъ, истомленъ,
По лику кровь течетъ ручьемъ!
И черезъ часъ на мѣстѣ томъ,
Среди глубокой тишины,
Вдругъ три креста вознесены...
На двухъ разбойники висятъ,
Ихъ страшенъ видъ, ихъ мутенъ взглядъ;
И какъ одинъ изъ нихъ жестокъ,
Какъ рѣзко вытѣснилъ порокъ
Свою печать на немъ; какъ онъ
Судомъ кровавымъ раздраженъ!
Другой печаленъ, робокъ, дикъ,
Главой виновною поникъ...
И между ними Онъ, святой,
Обруганъ грѣшною толпой!
Вотъ изъ разбойниковъ одинъ,—
Страстей, порока бѣдный сынъ,—
Хулилъ, съ толпой соединясь:
«Спаси, Христосъ, Себя и насъ!»
Другой, напротивъ, тронуть былъ:
«Не стыдно-ль!—такъ заговорилъ,—
Вѣдь Онъ невинно осужденъ,
Позорной смертью заклеименъ,
Намъ по дѣломъ...» И тутъ свой взоръ,
Прервавъ послѣдній разговоръ,
Онъ обратилъ къ Нему съ мольбой,
Отъ сердца, искренней, простой:
«Ты въ царствѣ мира и любви,
Меня, Сынъ Божій, помани».
И слышитъ вроткій голосъ онъ,
Какъ будто арфы сладкій звонъ,—
То голосъ Божій: «Вѣрь и знай;
Что ты со Мною увидишь въ рай».

III.

Свершилось все! земля дрожить. —
Толпа смущенная бѣжитъ;
Утесы трещины даютъ,
Изъ гроба мертвые встають
И гнѣвомъ Божиимъ грозятъ...
Господь въ мученьяхъ изнемогъ —
И сонмы ангеловъ летятъ
Принять Его послѣдній вздохъ.

* *
* *

Ты знаешь-ли, мой другъ, я видѣла Брюлова!
Какъ вспомню, вѣришь-ли, заплакать я готова,
Такъ чувствомъ сладостнымъ душа моя полна,
Такъ встрѣчей съ гениемъ она потрясена.
Мнѣ не забыть всю жизнь отрадной этой встрѣчи,
Ни мастерской его, ни вдохновенной рѣчи.
И все мнѣ видится чудесныхъ рядъ картинъ;
Да, онъ мечты своей и думы—властелинъ.
Всѣ образы ему доступны и покорны;
Все дышетъ, движется подъ кистью животворной.
Я видѣла его! Усталый и больной,
Онъ полонъ силою чудесной и святой;
Онъ полонъ свѣтлаго живаго вдохновенья.
Я передъ нимъ въ нѣмомъ стояла умиленьи,
Напрасно мой языкъ искалъ рѣчей и словъ,—
Я только и могла твердить: Брюловъ! Брюловъ!

В ъ М о с к в ѣ.

Пре́до мной Ива́нъ Вели́кій,
Пре́до мною—вся Москва.
Кремль-отъ, Кремль-отъ, поглядн-ка!
Закружится голова.
Русской силой такъ и дышетъ...
Здѣсь лилась за вѣру кровь;
Сердце русское здѣсь слышитъ
И спасенье, и любовь.
Старинѣ святой, невольно,
Поклоняется душа...
Ахъ, Москва, родная, больно
Ты мила и хороша!

Современному человѣку.

Не истины святой то голосъ благородный,
Но страждущей души одинъ порывъ бесплодный,
Ума холоднаго безумная мечта;
Религія твоя темна и нечиста,
Ее душа съ испугомъ отвергаетъ
И странныхъ доводовъ твоихъ не понимаетъ.
Разочарованъ ты, и желчь въ тебѣ кипитъ—
Она то призраки нелѣпые творитъ.
Прилипчива твоя горячка заблуждений.
И ложный блескъ твоихъ фальшивыхъ убѣждений.
Но все-жъ на голосъ твой душа моя молчитъ,
Завѣты прежніе съ любовію хранитъ,
И содрагается за участь человѣка
И страждетъ за тебя, дитя больного вѣка!..

У портрета.

Такъ это ты передо мною;
Твои черты я узнаю.
Какой нежданною тоскою
Стѣснило душу вновь мою!
Съ какимъ безумнымъ увлеченьемъ
Передъ портретомъ я стою,
Слезой невольной и волненьемъ
Мою я тайну выдаю...
За мной слѣдятъ чужіе взоры...
И завтра именованъ моимъ
Ихъ оживятся разговоры;
Меня судить вѣдь любо имъ,
Пускай. Я имъ прощаю это.
Я буду мыслью весела,
Что глупому приличью свѣта
Не все я въ жертву принесла.

Н. Ѳ. Щербинѣ.

Боясь житейскихъ бурь и смуть,
Бѣжишь ты, грустный, отъ людей.
Ты ищешь сладостныхъ минутъ
Подъ небомъ Греціи твоей.
Не вѣрь, и тамъ тебя найдутъ
Людскіе ропоть, плачь и стонъ;
Отъ нихъ поэта не спасутъ .
Громады храминъ и колоннъ.
Себялюбиво увлеченъ
Ты блескомъ чувственной мечты, —
Прерви эпикурейскій совъ,
Оставь служенье красоты --
И скорбнымъ братьямъ послужи
За насъ люби, за насъ страдай...
И духа гордости и лжи
Стихомъ могучимъ поражай.

О т р ы в к и

ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РАЗСКАЗА.

1.

Подъ навѣсомъ липъ старинныхъ
И раскидистыхъ березъ,
Покривясь немного на бокъ,
Домикъ Мировой стоялъ,
И, какъ быть въ усадьбѣ должно,
Красовались на дворѣ
Кухня, трацкая, и баня,
И людская, и сарай.
Хоть старо все это было.
Все просилось на покой,
Все, съ хозяйки начиная,
Доживало тихій вѣкъ,—
Но какое-то приволье
Разливалось вокругъ,
Все редушіемъ дышало,
Все дышало стариной.
Много жизни и движенья,
И стараній, и хлопотъ,
Было вечеромъ и утромъ
Въ старой кухнѣ у плиты.
Объ индѣйкахъ что заботы

У курятницы въ избѣ!..
Какъ бы дождикъ не засталъ ихъ,
Беззащитныхъ, на дворѣ!..
Птица нѣжная, недолго
До бѣды и до грѣха!..
И бѣднягъ скорѣе гонять
Со двора въ нечистый клѣвъъ.
Вотъ ужъ гуси не боятся
Непогоды и грозы,
Безбоязненно гуляютъ
У пруда и на прудѣ,—
Отправляются и дальше,
На большую на рѣку,
Что течетъ волной свободной
Отъ усадьбы въ полверстѣ;
Тамъ крылами шумно машутъ,
Разговоръ ведутъ живой.
А вверху шатромъ лазурнымъ
Ярко блещутъ небеса,
Иль сердито тучи ходятъ,
Собираясь въ грозу;
Иль подъ осень, мглой и мутью
Все закроется вверху,
И заплачетъ тихо ива,
Что растетъ на берегу...
Дочка Мировой Надежда
Часто слушаетъ ее.
Да, помѣщицѣ, подъ старость,
Утѣшенье Богъ послалъ!
Овдовѣвъ, всѣ помышленья,
Всѣ заботы, всю любовь,
Отдала малюткѣ Надѣ
Марья Павловна сполна;
И глядитъ—не наглядится
На дитя свое она.
Что молитвъ и слезъ горячихъ—
Занеможетъ ли оно,—

У его постельки льется
Предъ лампадой въ тишинѣ!
Что наказовъ старой нянѣ,—
Какъ пойдетъ она гулять,—
Чтобъ смотрѣла за ребенкомъ,
Не ушибла бы его!..
Няня всякій разъ, бывало,
Недовѣриемъ къ себѣ
Обижалась и съ ворчаньемъ
Уводила Надю въ садъ;
Тамъ ей сказывала сказки
О царяхъ, о колдунахъ,
О диковинной жарь-птицѣ,
Объ Иванѣ-дурачкѣ,
Объ его чудесномъ счастьѣ...
Счастьѣ въ сказкахъ дуракамъ!
Да въ однихъ ли сказкахъ полно?..
И дитя подъ шумъ деревъ,
Да въ волшебномъ мѣрѣ сказокъ,
Незамѣтно разцвѣло.
Русской грамотѣ учила
Надю Мирова сама,
И давала безъ разбора
Книги разныя читать.
(Въ шкапѣ было ихъ немало,—
Въ кабинетѣ шкапѣ стоялъ:—
Былъ читать охотникъ Мировъ,
Много книгъ онъ покупалъ).
Мать свою ученицей
Нахвалиться не могла.
Все,—цвѣты, романы, сказки
И науки сѣмена,—
Все смѣшалось, забурлило
Въ беспокойной головѣ;
Зароились вопросы
О разгадкѣ бытія,
Закипѣлъ какой-то дурью

Молодой и смѣлый умъ;
Засверкала чудной тайной
Вся природа вдругъ нея.
И живой къ природѣ страстью
Вся проникнулась она,
И, какъ молодости сродно,
Находила въ ней отвѣтъ
На страданье, на веселье,
На мечту души своей...

II.

Невдалекѣ отъ Мировыхъ видѣлась
Богатая старинная усадьба.
На берегу рѣки, широкой тѣнью
Раскинулся большой господскій садъ.
Крапива и лапушникъ покрываютъ
Дорожки, гладкія какъ полъ когда-то.
Домъ каменный давно необитаемъ.
Во флигирѣ, на-право, поселился
Съ огромною семьею управитель,—
Онъ былъ стариннаго владѣльца
Любимымъ человѣкомъ и слугой
Его жена давно въ чепцахъ ходила,
И къ Мировой, случалось, отъ обѣдни
Зайдетъ поздравить съ воскресеньемъ,
И кстати чаю вмѣстѣ съ ней напитокъ,
Да поболтать о новостяхъ давнишнихъ
Старушка не была ни съ кѣмъ знакома,
Жила пустыницей, хворая вѣчно,
И болтовни была послушать рада.
И часто Надя въ домъ пустой ходила,—
Въ немъ комната одна ей полюбилась;
Чудесный видъ изъ оконъ открывался:
Синѣла даль, бѣлѣлъ уѣздный городъ,
И на мѣстахъ гористыхъ, тамъ и сямъ,
Раскиданы и села, и деревни;

Вблизи вилась рѣка, сверкая небомъ,
Плакучихъ ивъ надъ ней склонялись вѣтки,
А на песокъ играли ребятишки,
Облитые вечерними лучами.
Случалось, Надя тутъ сидѣла до заката,
Смотря, какъ свѣтъ, блѣднѣя постепенно,
Смѣнялся тихой, трепетною тѣнью.
Она носилась думой далеко...
Опомнится—и видитъ, ужъ стемнѣло,
И страшно ей, она бѣжитъ домой.
Тамъ свѣтится знакомо и привѣтно *
Изъ комнаты старушки огонекъ,
А въ залѣ ждетъ ее душистый ужинъ
И легкій выговоръ, что запоздала,
И что себѣ она находитъ кашель...
И ножки ей осматриваетъ няня
И, если сыры, тутъ же разуваетъ
И старыми руками нѣжно грѣетъ...
И весело, и сладко нашей Надѣ,—
Счастливымъ сномъ предъ нею жизнь мелькаетъ!..

III.

«Полно! будетъ ужъ, шалуныя,
На ночь глядя, здѣсь ходить;
Ты измучила старуху,
Не пойду съ тобой опять.
Точно маленькой ребенокъ,
Дома ты не посидишь,
Съ утра до ночи гуляешь
По лѣсамъ да по полямъ.
Да и какъ ты не боишься
Поздно вечеромъ, одна?
У меня изноетъ сердце
Всякій разъ, какъ жду тебя».
— Няня, няня! что за вечеръ,
Какъ тепло и хорошо!

Посмотри, мой другъ, на небо,
Не захочется домой.—
«Велика Творца премудрость,
Иауукрашень этотъ міръ;
Да вѣдь надобно и къ дому,
Не до утра проглядѣть!»
— Няня милая! немножко
Посиди на берегу:
Захотѣлось мнѣ купаться,
Я, какъ рыба, поплыву;
Плавать цѣлый часъ училась
У Матрены я вчера.—
«Съ нами Богъ и Пресвятая!
Ты съ ума никакъ сошла,
Попадешься къ злой русалкѣ,
Водяной тебя возметъ...
Нѣтъ, какъ хочешь, не позволю...»
Но она уже въ водѣ...
Съ высоты глядится мѣсяцъ
Въ гладкомъ зеркалѣ рѣки;
Наклонились низко ивы,
Будто полныя тоски;
Шепчуть волны, жмутся волны,
Къ задремавшимъ берегамъ...
И плыветъ она тихонько
По серебрянымъ струямъ;
Косы черныя, змѣями,
Вокругъ шеи обвилась,
И травы прибрежной лстѣя
Въ нихъ широкіи вплелись;
Руки нѣжныя сверкаютъ
Въ полумракѣ бѣлизной,
И сама она вся дышетъ
Непонятной красотой...
Шепчуть волны, жмутся волны
Къ задремавшимъ берегамъ...
И плыветъ она тихонько

По серебрянымъ струямъ...
Вышла... няньку обнимаетъ,
И смѣется, и поетъ,
И заботливо старуху
Къ дому подъ руку ведетъ...

IV.

Однажды Мирова сидѣла у окна,
Съ своимъ чулкомъ, въ одно послѣ-обѣда.
Бродило стадо бѣлое индѣекъ
На зелени широкаго двора,
Къ лѣску вилась дорога сѣрой лентой,
И по небу гуляли облака.
Бросали тѣнь широкую строенья;
Въ окно, порой, врывался вѣтерокъ.
Вотъ пыль взвилась неожиданно по дорогѣ,
И наконецъ старушка разглядѣла
Карету четверней, съ лакеемъ сзади.
— Смотри-ко, Надя, кто это? не къ намъ-ли?—
«Кому же къ намъ въ такую пору, мама?»
— Да это вѣдь карета Анны Львовны.
Эй, повара! чтобъ ужинъ былъ готовъ!—
Межъ тѣмъ ужъ гостья вѣхала на дворъ
И вышла изъ кареты. То была
Рябая барыня, съ лицомъ довольнымъ,
Нарядная, съ открытой, толстой шей.
— Вѣдь я къ вамъ, Марья Павловна, не даромъ:
За Надей я заѣхала нарочно.
Сегодня я у Лидиныхъ на балъ;
Вы крестницу со мной отпустите?
Въ семнадцать лѣтъ, она людей не видитъ;
И то глядитъ совсѣмъ у васъ дикаркой!—
«Когда же? какъ?»—старушка хлопотала,—
«У ней и платье вѣрно не готово».
— Да бѣленькое есть? его сей часъ разглядить.
Поди, бѣги, Надина, торопись!—

И, вотъ, стоитъ Надежда въ бѣломъ платьѣ,
И ужь ее беретъ теперь раздумье:
За чѣмъ, къ чему она туда поѣдетъ,
Съ чужою женщиной, все къ незнакомымъ?
Имъ всёмъ она покажется дикаркой,
Смѣшной и странной. Вдругъ, притомъ же,
Проснулась въ ней затронутая гордость:
Ей средствами чужими веселиться.
Непрошеной явиться ей на балъ,
Предметомъ быть обидныхъ замѣчаній!..
Нѣтъ мама, нѣтъ, на балъ я не поѣду;
Одѣлась я, чтобъ только показаться.
Теперь ты видишь, я могла бы ѣхать
И быть другихъ не хуже... Не поѣду!
— Вотъ, это ужь капризъ, мое дитя!
Надива, баловень! что это значитъ?
И почему тебѣ со мной не ѣхать?
Смотри, какъ ты мила, принарядившись;
Съ тобой теперь не стыдно показаться.
Не будь дика, но вѣжлива со всѣми.
Поѣдемъ же, пора; бросай упрямство.—
«Да Надя, другъ мой, полно, не упрямясь»,
Промолвила съ любовію старушка,
Крестя ее и горячо цалуя.
И, молча, Надя ей повиновалась
И съ барыней въ каретѣ потонула.
Но странное черты ея хранили,
Почти во всю дорогу, выраженье:
Онѣ окрѣпли вдругъ какой-то думой,
И вся она проникнулась, внезапно,
Холодной, гордой, мрачной красотой;
Ея бездонные, чудесные глаза
Неотразимой силою сверкали...
— Ахъ, мать моя! ты всёхъ тамъ заморозпшь,
Когда пріѣдешь съ миною такой,—
Съ досадою сказала Анна Львовна;
— Неблагодарность черная черта...

Потѣшила, взяла ее на балъ,
А вотъ она сидитъ и дуется все время!—
«Простите, нѣтъ... я думала о многомъ,
И вамъ я благодарна всей душой».
— Ну, вотъ, какой философъ, въ женскомъ платьѣ!
Теперь-то къ ней всѣ думы и пришли!
Нѣтъ, Надинька, ты не была въ рукахъ;
Балуешь мать тебя, готовишь горе,
И сдѣлаетъ тебя на вѣкъ несчастной.—
Ей ничего Надежда не сказала,
Но только яркимъ вспыхнула румянцемъ,
И такъ молчала цѣлую дорогу.

1856—1859.

На пѣснь соловья.

Въ тиши ночной, изъ роши темной..
Зачѣмъ меня твой голосъ томный
Такъ неотступно все зоветъ?
Напрасно пѣснь твоя несется,
Она мнѣ въ душу не пролетаетъ,
И счастья мнѣ не принесетъ...

Подъ звукъ твоей чудесной трели
Воспоминанья мнѣ заплели
Иную пѣснь, въ тиши ночной:
Звучить та пѣснь тоской и мукой,
Разбитой страстью и разлукой,
И безнадежностью глухой...

Они поютъ, воспоминанья,
И будятъ скорбныя сознанья,
Невольный, горестный уворъ.
То хоръ печальный и унылый,
То Requiem души остылой,
Разсудка строгій приговоръ.

Когда душа летитъ надъ бездною;—
Что ей краса лазури звѣздной,

И страстной пѣсни переливъ?
Они на днѣ ея глубоко,
Возбудятъ лишь одинъ жестокой,
Нѣмой отчаянья порывъ...

* *
*

Да, я вижу — безумство то было:
Въ наше время грѣшно такъ любить,
И души благодатныя силы
Объ единое чувство разбить.

Но, быть можетъ, съ тобой мы и правы:
Увлёклся въ недобрый мы часъ,
Пылкой юности демонъ лубавый
Огуманилъ неопытныхъ насъ.

Думалъ ты, что любилъ меня страстно.
По тебѣ я сходила съ ума;
Наша встрѣча могла быть опасна,
Я теперь это вижу сама.

Но едва очарованной чаши
Мы коснулись устами съ тобой,
Какъ ужъ души разрознились наши,
И пошелъ ты дорогой пной.

Горько было, — я много страдала.
И въ любовь моя вѣра прошла, —
Но въ то время, я духомъ не пала,
Гордо, смѣло ударъ приняла.

А теперь ужь и чувство погасло,
Стала жизнь и пуста, и темна,—
И душа, какъ лампада безъ масла,
Догорѣвшая ярко до дна.

* *
*

Клянѹ тебя слѣпое убѣжденье
Во всемъ, что я считала дорогимъ;
Клянѹ тебя, безумныхъ лѣтъ волненье,
Утекшее, какъ облако, какъ дымъ!
Клянѹ я васъ, печальныя страданья!
Клянѹ тебя, безсиліе души!
Клянѹ надеждъ угасшихъ обаянье.
Что мнѣ казались такъ чудно-хороши!
А пуще васъ, заманчивыя грезы,
За то, что вы надъ сердцемъ взяли власть!..
Клянѹ всѣ горькія, пролитыя мной слезы!
Клянѹ тебя, осмѣянная страсть!

Лишь тебѣ, въ этомъ хаосѣ темномъ,—
Какъ ни стынетъ отъ холода кровь,—
Лишь тебѣ не пошлю я проклятья,
Моей юности первой любовь...
Изъ прошедшаго сумрака тихой,
Одинокой горишь ты звѣздой;
Блѣдный лучъ мнѣ до сердца доходитъ,
Разливаясь ясной мечтой!..
Лишь тебѣ, въ этомъ хаосѣ темномъ,—
Какъ ни стынетъ отъ холода кровь,—
Лишь тебѣ не пошлю я проклятья,
Моей юности первой любовь.

Н а п у т и.

Я гляжу на дорогу уныло,
Незавиденъ и тѣсенъ мой путь!
Я теряю и бодрость, и силу,
Мнѣ пора бы давно отдохнуть.

Даль не манитъ ужь больше надеждой,
Мало радостныхъ встрѣчъ на пути,
Часто объ руку съ грубой невѣждой,
Съ глупой спѣсью случилось идти.

И нерѣдко меня нагоняли
Пошлость, зависть и ядъ клеветы,
Утомленную душу терзали,
Мяли лучшіе жизни цвѣты.

Было добрыхъ спутниковъ мало,
Да и тѣ отошли далеко...
Я осталась одна, я устала,—
Этотъ путь перейти не легко!

* *
*

Не зови меня безстрастной,
И холодной не зови,—
У меня въ душѣ не мало
И страданій, и любви.
Проходя передъ толпою,
Сердце я хочу закрыть
Равнодушіемъ наружнымъ,
Чтобъ себѣ не измѣнить.
Такъ идетъ предъ господиномъ.
Затая невольный страхъ,
Рабъ, ступая осторожно,
Съ чашей полною въ рукахъ.

* *
*

Увы! и я, какъ Прометей,
Къ скалѣ прикована своей,—
Мнѣ коршунъ-горе сердце гложетъ,
И лучъ небеснаго огня
Отъ рока не спасетъ меня,
И цѣпь сорвать мнѣ не поможетъ!

* *
* *

Тихо я бреду одна по саду,
Подъ ногами желтый листъ хруститъ,
Осень льетъ предзимнюю прохладу,
О прошедшемъ лѣтѣ говорить.
Говорить увядшими цвѣтами,
Грустнымъ видомъ выжатыхъ полей
И холодными, сырыми вечерами,—
Всей печальной прелестью своей.
Такъ тоска душѣ напоминаетъ
О потерѣ нашихъ лучшихъ дней,
Обо всемъ, чего не возвращаетъ
Эта жизнь—жестокій чародѣй!

* *
*

Они не сердца голосъ страстный
Стихи суровые твои,
Они не жгутъ мечтой напрасной
И жаждой счастья и любви.

Они наполняютъ сердце мукой,
Покроютъ жизнь внезапной мглой;
Они—печальная порука
Души безсилья предъ судьбой.

Читая ихъ, какъ будто слышишь
Предсмертный, безнадежный крикъ,
И тяжело, неровно дышешь,
Переживая страшный мигъ!

* *
*

Мой другъ! печаль твоя напрасна:
Прошедшихъ сновъ ужь не вернуть.
Благоразумно и безстрастно,
Измѣряй жизни долгій путь.

Свое безмысленное дѣтство,
Безсильнымъ стономъ не зови,—
Былого горькое наслѣдство,
Цѣпь сожалѣній разорви.

Разрушенъ онъ, твой кругъ волшебный,—
Жизнь вѣчный трудъ—не сладкій сонъ,—
И, силой доброй иль враждебной,
Ты за черту перенесенъ.

Иди впередъ, и въ новой сферѣ
Смотри на новый рядъ свѣтилъ...
И совершенствуйся по мѣрѣ
Своихъ способностей и силъ.

* *
* *

Какъ сладко приникнуть мнѣ
Къ святому лону Твоему,
Мать всеизцѣляющая —
Природа!—Какъ часто я,
Житейской невзгодою
И суетой крушима,
Забывала голосъ Твой,
Взывавшій спасительно
Къ уязвленной душѣ моей.
Но теперь, утомленная,
Погружаюсь снова я
Въ Твои объятія,
Упиваясь гармоніей
Благодатныхъ силъ Твоихъ!
Теперь, когда смолкнули
Голоса нестройные
Безумныхъ страстей моихъ,—
Дивный хоръ мнѣ слышится
Жизни всеобъемлющей...

* *
*

Тотъ, кого любила,
Взять сырой землей;
Ужь его могила
Поросла травой.
Тамъ, въ странѣ далекой,
Онъ похороненъ,
И его глубокий
Непробуденъ сонъ!
Что-то ему снится
Въ томъ глубокомъ снѣ?
Мысль его стремится,
Можетъ быть, ко мнѣ?
Не она-ль, порою,
Въ душу мнѣ глядитъ,
И меня тоскою
Смертной леденить?
Можетъ быть, все ясно
Стало для него,—
Какъ любила страстно
Одного его;
И чего живому
Не могла сказать—
Мертвецу нѣмому
Суждено понять.

* *
* *

Здѣсь я, здѣсь, въ благовонномъ саду,
Съ нетерпѣніемъ милую жду!
Сердце страхомъ, надеждой полно.
Ужь цвѣты задремали давно; —
Роза, тихо головку склона,
Въ полуснѣ, внемлетъ пѣснь соловья;
Незабудки роскою блестятъ,
И на звѣзды съ любовью глядятъ;
Къ маргариткѣ прильнулъ мотылекъ,
По жасмину ползетъ свѣтлячекъ;
А лилею, въ раздумьи нѣмомъ,
Полный мѣсяцъ ласкаетъ лучомъ.
Я считаю, ловлю каждый мигъ!
Вотъ, на крыльяхъ воздушныхъ своихъ,
Вѣтерокъ межъ цвѣтовъ пропорхнулъ,
Что-то имъ потихоньку шепнулъ;
Закачались, зацѣли цвѣты:
— «Что, безумецъ, тревожишься ты!...»
Слышу шорохъ, калитка скрипитъ, —
Этотъ звукъ мнѣ свиданье сулитъ!
Ты исполнила слово свое, —
Ты идешь, о блаженство мое!

* *
* *

Вижу, въ слезахъ ты! одна за другою,
Тихо катятся по щечкамъ онѣ;
Рада бы вмѣстѣ поплакать съ тобою—
Что-то не плачется, милая мнѣ!..
Плакала также я въ жизни довольно,
Также страдала, любила, повѣрь!—
Нынѣ-жъ смѣюся надъ тѣмъ я невольню,
Что привело тебя въ слезы теперь...

* *
* *

Лѣтній полдень страстнымъ зноемъ
Землю пышную томить;
Небо чистое покоемъ
Безграничности горить.
Поищу прохладной тѣни...
Да, какъ жизнь ни хороша,—
Жаждетъ отдыха и лѣни
Утомленная душа.
Пусть деревья зеленѣютъ,
Подъ дыханьемъ теплоты;
Пусть плоды на солнцѣ зрѣютъ,
Распускаются цвѣты...
Солнца лучъ цвѣтокъ увядшій
Къ жизни вновь не возвратитъ,
Преждевременно упавшій
Съ древа плодъ, не возраститъ...

Заколдованное сердце.

Что тебя обманывать напрасно:
Нѣтъ, не вѣрь волненью моему!
Если взоръ, порою, вспыхнетъ страстно,
Если руку я тебѣ пожму,—
Знай: то прежнихъ дней очарованье
Ты во мнѣ искусно пробудилъ;
То другой любви воспоминанье
Взоръ мой вдругъ невольно отразилъ.
Другъ мой! я больна неизлѣчимо,—
Не тебѣ недугъ мой изцѣлить!
Можетъ быть, могу я быть любима,
Но сама ужь не могу любить!
Говорять, есть въ свѣтѣ злые люди,
Колдовства имѣютъ страшный даръ;
Никогда не вырвать ужь изъ груди
Силы ихъ неотразимыхъ чаръ;
Говорять, что есть слова и рѣчи,
Въ нихъ таится чудный *заговоръ*:
Говорять, есть *роковыя* встрѣчи,
Есть тяжелый и *недобрый* взоръ...
Видно, въ пору молодости страстной,
Въ самомъ лучшемъ, цвѣтѣ бытія,
Я сошлась съ волшебникомъ опаснымъ,—

Той порою *слазилъ* онъ меня...
Пронясъ таинственное слово,
Сердце мѣ на вѣкъ *заговорилъ*,
И недугомъ тяжкимъ и суровымъ
Жизнь мою жестоко отравилъ...

Н и в а.

Нива, моя нива,
Нива золотая!
Зрѣшь ты на солнцѣ,
Колосъ наливая,
По тебѣ, отъ вѣтру,—
Словно въ синемъ морѣ,—
Волны такъ и ходятъ,
Ходятъ на просторѣ.
Надъ тобою съ пѣсней
Жаворонокъ вѣтся;
Надъ тобой и туча
Грозно пронесется.
Зрѣшь ты и спѣшь,
Колосъ наливая,—
О людскихъ заботахъ
Ничего не зная.
Унеси ты, вѣтеръ,
Тучу градовую;
Сбереги намъ, Боже,
Ниву трудовую!..



По зеленому лугу гуляя,
Ты вчера такъ печальна была;
А весна, яркимъ солнцемъ сіяя,
Какъ цвѣтами его убрала!—
Улыбались анютины глазки,
Колокольчикъ въ травѣ трепеталъ;
Вѣтерокъ имъ нашептывалъ сказки,
Незабудки украдкой ласкалъ.
Мимо ихъ проходя, безъ вниманья,
Полевую ты астру нашла.
И сорвавъ,—вся полна ожиданья,—
За листочкомъ листочекъ рвала;
И шептала въ тоскѣ и томленьи,
Наклонивши головку слегка:
«Любить? нѣтъ?»...—Любить онъ, безъ сомнѣнья—
Ты не спрашивай, другъ мой, цвѣтка;
Сердце лучше, вѣрнѣе узнаеть,—
Чародѣй всемогущій оно!—
Кто на трепетъ его отвѣчаетъ,
И кто истинно любитъ его...

Т у ч а.

Ты на край небосклона далекий
Посмотри—тамъ собирается туча,
То предвѣстница бури жестокой:
И грозна, и темна, и могуча.

Набъжить, пролетить!—безпощадно
Разрушенье прольетъ на пути;
Много жертвъ унесетъ она жадно,
Многимъ силы ея не уйдти.

Пронесется бѣдою бывалой,
Смоетъ хижины бѣдныхъ людей,
Вырветъ съ корнемъ деревьевъ не мало,
Потрясетъ и дворцы богачей...

Но за то, что останется цѣло
Послѣ этой грозы роковой,
Можетъ жить и покойно, и смѣло,
Наслаждаясь благой тишиной.

И очищеннымъ воздухомъ вволю
Обновленною грудью дышать,—
И во всемъ Божьемъ мѣрѣ на долю,
По желанью, себѣ выбирать...

П о с ѣ в ѣ .

Святель вышелъ съ кошницею въ поле,
Сѣмя бросаетъ направо, налѣво;
Тучная пашня его принимаетъ;
Падаютъ зерна, куда ни попало:
Много ихъ пало на добрую землю;
Много въ глубокія борозды пало;
Многія вѣтеръ отнесъ на дорогу;
Много подъ глыбы заброшено было.
Святель, трудъ свой окончивъ, оставилъ
Поле, и ждалъ изобильной онъ жатвы.
Зерна почували жизнь и стремленье;
Быстро явились зеленые всходы,
Къ солнцу тянулись гибкіе стебли
И достигали назначенной цѣли—
Плодь принести и обильный, и зрѣлый.
Тѣ же, что въ борозды иль на дорогу,
Или подъ глыбы заброшены были,
Тщетно стремяся къ назначенной цѣли,
Сгибли, завяли въ борьбѣ безъисходной...
Солнце и влага имъ были не въ пользу!
Жатва, межъ тѣмъ, налилась и созрѣла;
Жатели вышли веселой толпою,
Снопъ за снопомъ набираютъ ретиво;
Радостно смотритъ хозяинъ на ниву;

Видитъ созрѣвшіе, въ мѣру, колосья
И золотистыя, полныя зерна;
Тѣхъ же, что пали въ бесплодную землю,
Тѣхъ, что увяли въ тяжелой истомѣ,
Онъ и не вѣдаетъ, онъ и не помнитъ!..

* *
* *

Говорятъ, — придетъ пора,
Будетъ легче человѣку,
Много пользы и добра
Свѣтитъ будущему вѣку.

Но до нихъ намъ не дожить,
И не зрѣтъ поры счастливой
Горько дни свои влачить
И томиться терпѣливо...

Что-жь? закатъ печальныхъ дней
Пусть надеждой озарится,
Что и ярче и свѣтлѣй
Утро міра загорится.

А, быть можетъ, какъ узнать?
Лучъ его и насъ коснется,
И придется увидеть,
Какъ заря съ зарей сойдется...

* *
* *

Не даромъ вставила всю жизненную драму
Судьба въ прекрасную, плѣнительную раму—
Небесъ бездонныхъ, звѣздъ блестящихъ,
Морей, потоковъ, рѣкъ шумящихъ;
Не даромъ винула, на утѣшенье взора,
Земля могучее величїе простора,
Высокихъ горъ несмѣтную громаду,
Чтобъ бѣдный смертный находилъ отраду
Хоть въ декорациі печальной жизни сцены.
Гдѣ все тяжелыя такія перемѣны,
И гдѣ актеры, зрители,—другъ другу не подѣ силу,—
Окончивъ роль, идутъ себѣ въ могилу...

Видѣніе пророка Іезекиіля.

Божіимъ духомъ и Божіей волей
Я приведенъ былъ въ широкое поле,—
И на пространномъ, пустынномъ погостѣ,
Груда на грудѣ, лежали тамъ кости,
Кости людскія, покрытыя прахомъ!
И обошелъ я все поле со страхомъ,
И услыхалъ я Всевышняго слово:
«Могутъ-ли кости ожить эти снова?»
— «Ты это знаешь, о, Боже!»—сказалъ я...
Снова Всевышняго гласъ услыхалъ я:
«Сынъ человѣческій! этимъ костямъ
«Ты передай, что скажу тебѣ Самъ:
«Кости сухія!—глаголетъ Господь:
«Дамъ вамъ живую, горячую плоть,
«Духомъ Своимъ на бездушныхъ повѣю,
«Сѣмя безсмертья межъ вами посѣю;
«Всѣ оживете вы,—какъ васъ ни много,—
«Всѣ вы живаго познаете Бога...»
И я исполнилъ по Божью велѣнію.
Вдругъ подвинулось межъ костями волненье:
Быстро онѣ межъ собой съединялись,
Тѣломъ и кожею всѣ покрывались;
Жизнь въ нихъ бродила неясно и глухо—
Не было въ нихъ еще Божія духа.
«Сынъ человѣческій! словомъ пророка

«Духу вели въ нихъ проникнуть глубоко»
Рекъ мнѣ Господь. Я велѣнье исполнилъ;
Вижу: духъ жизни мгновенно наполнилъ
Мертвые трупы—и ожили, встали,
Новыя силы чудесно познали.
«Это собранье ожившихъ людей,
«Бывшихъ лишь грудами мертвыхъ костей,
«Это—Израиль, въ тоскѣ безнадежной
«Думавшій: сгинули мы всѣ неизбежно,—
«Мертвы душою и рабствомъ убиты,
«Въ горѣ умремъ мы Всевышнимъ забыты!..
«Но не забыла ихъ Божья любовь,—
Такъ говорилъ Вседержитель мнѣ вновь:
«Волю Мою передай ты народу,
«И возвѣсти ему жизнь и свободу,—
«Въ истинѣ Духомъ Моимъ ихъ наставлю,
«Буду имъ въ Бога и рабства избавлю...

* *
* *

Не святотатствуй, не грѣши
Во храмъ собственной души.
Повѣрь, молиться невозможно
При влпкахъ суетныхъ и ложныхъ,
Пустыхъ, ничтожныхъ торгашей,
Средь пошлыхъ сплетенъ и рѣчей
Очисти храмъ бичомъ познанья,
Всю эту ветошь изгони, —
Тогда предъ алтаремъ призванья,
Съ мольбой, колѣна преклони...

М о л и т в а.

Духъ премудрости и разума, и силы,
Всеобъемлющей, божественной любви!
Насъ, загложшихъ въ суетѣ, помилуй
И своимъ дыханьемъ оживи!
Пламенемъ иль бурей благодатной
Зачерствѣлыхъ прикоснися душъ,
Царство тьмы и злобы неозвратно
Силою спасительной разрушь.
О, Духъ жизни, свѣта и свободы!
На сердца жестовія повѣй!
Просвѣти заблудшіе народы,
Свѣтъ и жизнь на страждущихъ пролей!—
Да свободно, въ храмъ мірозданья,
И мольбы, и жертвы принесуть,
И свое высокое призванье,
Жизни цѣль безтрепетно поймутъ...

Т у н е я д ц а м ъ.

Не вспыхнуть свѣтлымъ убѣжденьемъ
Въ нихъ сѣмена святой любви,
Не обновятся возрожденьемъ
Сердца, погрязшія во лжи.

Нѣтъ, задушевной правды слову
Въ умѣ ихъ корню не пустить;
И за него вѣнокъ терновый
На головѣ имъ не носить!

Безстрастны, суетны и вялы,
Безъ пользы для страны родной,
Они, лѣниво и устало,
Идутъ избитою тропой...

Звѣздой надежда избавленья
Изъ подъ ярма великихъ золъ,
И грѣхъ неправяго владѣнья
Для нихъ не кажется тяжолъ.

Для ихъ души одна потреба—
Чтобъ сытымъ быть, покойно спать...
За то не дастся имъ отъ неба
Призваній вышнихъ благодать.

* *
*

Не твердилъ онъ мнѣ льстивыхъ рѣчей,
Не смущалъ похвалою медовой,
Но запало мнѣ въ душу навѣкъ
Его рѣзко-правдивое слово...

Онъ по своему какъ-то любилъ,
Но любилъ онъ глубоко и страстно!
Жизни онъ не считалъ никогда
Глупой шуткой или даромъ напраснымъ.

Онъ, порой, предрассудки бранилъ,
Но въ душѣ его не было злобы;
Слову честному, дружбѣ, любви
Онъ былъ вѣренъ и преданъ до гроба.

И хоть часто терзали его
Неудачи, враги и сомнѣнья;
Но онъ умеръ съ надеждой святой,
Что настанетъ пора обновленья.

Что пойметъ наконецъ человѣкъ,
Что идетъ онъ дорогой лукавой,
И сознаетъ неправду душой,
И воротить на счастье право...

Не твердилъ онъ мнѣ льстивыхъ рѣчей,
Не смущалъ похвалою медовой,
Но запало мнѣ въ душу на вѣгъ
Его рѣзко-правдивое слово...

Н. А. Некрасову.

Стихъ твой звучитъ непритворнымъ страданьемъ,
Будто изъ крови и слезъ онъ возсталъ!
Полный во благу могучимъ призваньемъ,
Многимъ глубоко онъ въ сердце запалъ.

Онъ неприятно счастливецъ смущаетъ;
Гордость и спѣсъ встаютъ на него;
Онъ эгоизмъ глубоко потрясаетъ, —
Вѣрь мнѣ—не скоро забудутъ его!

Льнутъ къ нему чуткимъ, внимательнымъ ухомъ
Души, измятые жизни грозой;
Внемлютъ ему всѣ, скорбящiе духомъ,
Всѣ, угнетенные сильной рукой...

* *
*

Много лѣтъ ладью мою носило
Все въ виду цвѣтущихъ береговъ...
Сердце ихъ и звало, и манило,
Но ладья все дальше уходила
И неслась по прихоти валовъ.

А потомъ, пучиной безпредметной,
Поплыла въ невѣдомую даль.
Милый край мелькалъ едва замѣтно
И кругомъ все было безответно
На мои моленья и печаль.

Облака мнѣ звѣзды застилали;
Моря шумъ былъ грозенъ и суровъ;
И, порой, громады выступали
Голыхъ скалъ, — онѣ меня пугали
Мрачнымъ видомъ чуждыхъ береговъ.

Наконецъ, ко пристани безплодной
Принесло убогую ладью,
Гдѣ душѣ, печальной и холодной,
Не развиться мыслию свободной,
Гдѣ я жизнь и силы погублю!

* *
*

Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй,
Тѣмъ на душѣ моей печальной тяжелѣй,
Язвительнѣе боль сердечнаго недуга,
И голосъ дальняго, оставленнаго друга
Мнѣ внятнѣй слышится... Ахъ, блѣдный и худой,
Я вижу образъ твой, измученный нуждой!
Среди довольныхъ лицъ, среди гула ликованья,
Опять мнѣ является съ печатію страданья,
Оставленной на немъ бесплодную борьбой
Съ врагами, бѣдностью и самою судьбой!
Быть можетъ, въ этотъ часъ, когда за ужины пышный,
Иду я, среди другихъ, своей стопой неслышной,
Ты голоденъ и слабъ—въ отчаяннѣйшомъ,
Лежишь одинъ, въ слезахъ, на чердакѣ глухомъ,—
А я тебѣ помочь не въ силахъ и не властна!
И, полная тоски глубокой и безгласной,
Я вивну головой, не слыша ничего,
Подъ гнетомъ тайнаго унынья моего,
Средь этой вѣтренной, себялюбивой знати,
Готова я рыдать неловко и некстати!..

* *
*

Нѣтъ, никогда поклонничествомъ низкимъ
Я покровительства и славы не куплю,
И лести я ни дальнимъ и ни близкимъ
Изъ устъ моихъ постыдно не пролью.
Предъ тѣмъ, что я всегда глубоко презирала,
Предъ чѣмъ, порой, дрожать достойные, — увь! —
Предъ знатю гордою, предъ роскошью нахала
Я не склоню свободной головы.
Пройду своимъ путемъ, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народъ:
И, можетъ быть, къ моей могилѣ неизвѣстной
Бѣднякъ или другъ со вздохомъ подойдетъ;
На то, что скажетъ онъ, на то, о чемъ помыслить,
Я, вѣрно, отзовусь бессмертною душой...
Нѣтъ, вѣрьте, лживый свѣтъ не знаетъ и не смыслить,
Какое счастье быть всегда самимъ собой!..

Ф е я в е с н ы .

Онъ былъ задумчивъ и угрюмъ,
И былъ онъ человекъ ученый,
И много новыхъ дѣльныхъ думъ
Бросалъ онъ гордо въ міръ крещеный.
И міръ ловилъ ихъ; но онъ самъ,—
Людей и міра онъ дичился,—
Наукѣ преданный, трудамъ,
Любить и вѣрить разучился.
Порывы жизни молодой,
Горячей юности ошибки,
Считалъ достойными одной
Своей презрительной улыбки;
Онъ голосъ сердца презиралъ,
Онъ страсть каралъ нещаднымъ словомъ,
И въ отчужденіи суровомъ
Себѣ подруги не искалъ;
Съ какимъ-то гордымъ наслажденьемъ
Свое безстрастье онъ хранилъ,
И такъ увѣренъ твердо былъ,
Что не поддастся искушеньямъ!
Однажды,—было то весной,—
Подъ вечеръ, шелъ онъ по дорогѣ,
Какъ шелъ житейскою тропой,
Безъ сожалѣній и тревоги.
Надъ нимъ синѣли небеса,

Луга кругомъ благоухали,
И вольныхъ птичекъ голоса
Къ нему изъ рощи долетали.
Но онъ привѣта не послалъ
Природы вѣчной обновленью, —
Онъ отъ прогулки лишь усталъ,
Прилегъ и задремалъ подъ тѣнью
Цвѣтущей липы вѣковой..

Въ тотъ часъ, крыломъ лазурнымъ вѣя,
Весны сіяющая фея
Летала надъ его главой. —
И все, что жило и дышало
При ней блаженствомъ трепетало,
И благодатный, и полный;
Живые сердца людские бились,
Надежды свѣтлыя носились
Толпою радужной предъ ней,
И силой кроткой и цѣлебной,
Передъ улыбкою волшебной,
Лилась любовь на мѣръ земной.
Повсюду чуда совершались,
Луга, деревья покрывались
Душистой ризою цвѣтной.
И, подъ влiянiемъ нѣжной власти,
Пѣлъ соловей, исполненъ страсти,
Томимый сладкою тоской...
А онъ заснувъ въ тѣни прохладной,
Веселыхъ сновъ онъ не видалъ,
И не ловилъ душою жадной,
Завѣтный счастья идеаль.
Но вотъ волшебница взглянула
Съ улыбкой на него; потомъ
Она таинственно махнула
Всепокоряющимъ жезломъ;
Склонилась нѣжно и запѣла, —
И въ душу пѣснь ему лилась,

И трепетала, и звенѣла,
И чудной музыкой неслась...
И пѣла фея: «Наслажденью,
Въ своей душѣ ты мѣсто дай,
Воспринянь къ любви и обновленью,
Законы жизни уважай.
Не убивай себя напрасно,
Не будь къ природѣ глухъ и нѣмъ, —
Не даромъ предъ тобой прекрасный
Весны раскинулся эдемъ;
Не даромъ лугъ благоухаетъ,
Не даромъ соловей поетъ,
Не даромъ фея пролетаетъ
И жажду счастья даетъ.
Когда бы все, какъ ты, молчало
На мой торжественный призывъ, —
Чтобъ въ этомъ мѣрѣ разцвѣтало?
Гдѣ-бъ свѣтлой жизни былъ приливъ?
Сильнѣй благоухайте, розы!
Ты, соловей, нѣжнѣ пой!
Зови подавленные грезы,
Буди надеждъ уснувшихъ рой!
Пусть не минетъ его страданье,
Не обойдетъ блаженства мигъ,
Пусть страсти, нѣги и желанья
Забьютъ въ душѣ живой родникъ!»
Замолкла, тихо полетѣла,
Сіяя ризой голубой...
Благоухая, ландышъ бѣлый
Разцвѣлъ подъ легкою стопой...
И онъ проснулся, жаждой новой,
Желаньемъ новымъ пораженъ,
Спадали старыя оковы, —
И на яву мечтался сонъ:
Ему казалось, будто кто-то
Съ нимъ тихо объ-руку идетъ,
Съ любовью нѣжной и заботой,

Его по имени зоветь.
И женскій вздохъ, и женскій лепетъ,
И сердца женскаго любовь,
Его ввели въ невольный трепетъ,
И жарко взволновали кровь...
Съ тѣхъ поръ онъ вѣрилъ искушенью,
Съ тѣхъ поръ онъ много испыталъ,—
И словомъ гордаго презрѣнья
Безумной страсти не каралъ.

Михаилу Павловичу Розенгейму.

Нѣтъ, не скажутъ: «его-ль это дѣло
Говорить такъ правдиво и смѣло?»
Отзовутся: «какъ много добра
Съ вдохновеннаго льется пера!»

Да сойдутъ къ тебѣ миръ и отрада!
Подъ минутнымъ сомнѣньемъ не падай;
Въ даль надежно и бодро гляди
И безтрепетно къ цѣли иди.

Пролетить твое слово не даромъ:
Не падеть оно страстнымъ угаромъ,
Не навѣтъ мечтаній пустыхъ,
Какъ мой слабый и женственный стихъ;—

Но полно задушевнаго чувства
Не нуждаясь въ прикрасахъ искусства,
Пронесется надъ каждой душой
Очищающей сердце грозой.

ПЕРЕВОДЫ.

Ель.

(изъ ФРЕЙЛИГРАТА).

На горѣ, на высокой качается ель;
Ея корни всосалися въ трещины скалъ,
Облака, для вершины иглистой—постель;
Человѣка здѣсь слѣдъ не бывалъ.

Вѣтеръ часто ей пѣсни поетъ,
Видитъ птицъ она быстрый полетъ.

У корней, подъ низомъ, въ глубинѣ,
Рядъ волшебныхъ растетъ мандрагоръ.
Слышно ей, какъ, въ ночной тишинѣ,
Пролетаетъ надъ нею духъ горъ.

Онъ властитель пустынной страны,
Ему мудрыя силы даны.

И слѣдитъ чуткимъ ухомъ она
Шумъ стремительныхъ горныхъ ручьевъ;
Жизнью чудной, волшебной полна,
Внемлетъ хору ночныхъ соловьевъ,
Созерцаетъ алмазы лучей,
Иль убѣжища дикихъ звѣрей.

Слышитъ также, какъ робко газель
Пробѣжитъ по травѣ шелковдой...

Стой, качайся, зеленая ель,
Упивайся небесной росой,—
И роняй, сколько хочешь смолы,
На вершину родимой скалы.

Твой прекрасенъ и полонъ удѣлъ,
Не захочешь ты жизни иной...
О, зеленая ель! Я хотѣлъ
Помѣняться бы долей съ тобой!

П р о щ а й.

(изъ уланда).

О, прощай, моя радость, прощай!
Суждено намъ разстаться съ тобой;
Поцѣлуй на прощанье мнѣ дай...
Такъ назначено, видно, судьбой! .

Принеси мнѣ скорѣ цвѣтовъ,
Что цвѣтутъ на деревьяхъ въ саду.
Не дожидаться мнѣ, видно, плодовъ...
Я отъ жизни плодовъ и не жду!

Вечернее небо.

(изъ зейдлица).

Когда въ полумракѣ
Съ тобой я хожу;
На мѣсяцъ, на звѣзды
Златыя гляжу;—

Хотѣлъ бы я мѣсяцъ
Руками достать;
Хотѣлъ бы я звѣзды
Съ лазури сорвать.

Украсилъ бы ими
Я кудри твои:
И послѣ-бы умеръ
Отъ счастья любви.

И з ъ Г е й н е.

Intermezzo.

I.

Въ порѣ роскошной мая,
Какъ молодымъ листомъ
Деревья одѣвались
Подъ солнечнымъ лучомъ, —
Тогда глубоко въ сердцѣ,
Прекрасна и свѣтла,
Любовь моя всей силой
Взошла и разцвѣла.
Въ порѣ роскошной мая,
Подъ пѣсни соловья,
Съ восторгомъ ненаглядной
Въ любви открылся я.

II.

Изъ слезъ моихъ много родится
Блестящихъ и чудныхъ цвѣтовъ
И вздохи мои образуютъ
Плѣнительный хоръ соловьевъ;

И если ты хочешь, малютка,
Любить беззавѣтно меня,—
Тебѣ всѣ цвѣты нераздѣльно
И сладкая пѣснь соловья.

III.

Я любилъ, бывало,
Розы и лилеи,
Но теперь одна ты
Мнѣ всего милѣе.
Солнце обожалъ я,
Птицъ любилъ я тоже,
Но теперь одна ты
Мнѣ всего дороже.
Ты, о, другъ мой нѣжный,
Мнѣ всего милѣе,—
Ты мнѣ солнце, птичка,
Роза и лилея.

IV.

Когда въ твои очи гляжу я,
И горе, и боль забываю мгновенно,
Когда же дождусь поцѣлуя,
Тогда я здоровъ совершенно;
Склонюсь-ли на грудь твою только —
Небесная радость объемлетъ меня;
Но странно, что плачу, порою, я горько,
Когда ты мнѣ скажешь: люблю я тебя!

V.

О, другъ мой! смѣлѣе ты щечку
Къ лицу моему прислони,
Пусть вмѣстѣ съ моими слезами
Смѣшаются слезы твои,
И сердце свое къ моему ты

О, милая, крѣпче прижми,
Пусть наши чувства обниметъ
Единое пламя любви;
Когда же въ то пламя польются
Тѣхъ слезъ драгоценныхъ струи,
Тогда я при страстномъ объятъи
Умру отъ восторга любви.

VI.

Я желалъ бы, чтобъ душа моя вмѣстилась
Въ чашечку лилеи бѣлоснѣжной
И дыханье бы цвѣтка разлилось
Предъ моею любезною пѣснью нѣжной
Пѣснь звучала-бъ трепетно и сладко,
И дрожала-бъ страсти полной силой,
Какъ тотъ чудный подѣлуй, украдкой,
Въ часъ любви, мнѣ данный моею милою.

VII.

Въ вышинѣ голубой
Звѣзды ярко горятъ
И съ любовью, съ тоской
Другъ на друга глядятъ.

И ведетъ межъ собой
Ихъ блистающій хоръ
Безконечно живой,
Полный тайнъ разговоръ.

Ихъ мудреный языкъ
Ни одинъ филологъ
Не узналъ, не постигъ
И постигнуть не могъ.

Я же смыслъ ихъ рѣчей
Хорошо изучилъ —
Образъ милой моей
Мнѣ грамматикой былъ.

УШ.

На крыльяхъ моей пѣсни
Я унесу тебя
Туда, гдѣ Ганга плещетъ
Священная струя.
Я знаю тамъ мѣстечко
Гдѣ льетъ свой ароматъ,
Облитый весь сияньемъ
Луны, роскошный садъ;
Гдѣ лотосъ, разцвѣтая,
Къ себѣ сестрицу ждетъ
И роза розѣ тихо
Словцо любви шепнетъ;
Фиалки тамъ смѣются,
Болтая межъ собой,
Подмигиваютъ звѣзды
Имъ съ выси голубой;
Остановясь газелей
Тамъ рѣзвый хороводъ
Шумъ отдаленный внемлетъ
Священныхъ Ганга водъ.
И мы, подъ тѣнью пальмы,
Уснемъ съ тобою тамъ, —
Уснемъ — конца не будетъ
Волшебнымъ, чуднымъ снамъ.

ІХ.

Не выносить лотосъ
Солнечныхъ лучей
И головой никнетъ

Грустною своей.
Ждетъ въ нѣмомъ раздумьи
Съ страстною мечтой,
Какъ наступитъ сумракъ
Сладостный ночной;
И влюбленный мѣсяцъ,
Сявось нѣмую тьму,
Ласково направить
Блѣдный лучъ къ нему.
Весь дрожа и млѣя,
Лотось той порой
Къ мѣсяцу подѣмлетъ
Лицъ прелестный свой;
Раскрываетъ тихо
Нѣжные листки,
Плачетъ и вздыхаетъ,
Полнь любви тоски.

ХII.

О, не клянись, не увѣрай—
Я клятвамъ женщины не вѣрю,
Твой всѣ клятвы и слова
Я поцѣлую нѣжнымъ мѣрю.
Клянись, клянись! твои слова
Пріятны сердцу моему,
Счастливый на груди твоей
Готовъ повѣрить я всему...

ХIII.

На глазки прелестные милой,
На алыя губки ея
Не мало и пѣсенъ, и стансовъ
Лилось изъ души у меня;

И еслибы только я сердце
У милой моей отыскалъ,
Какой бы сонетъ превосходный
Я къ сердцу ея написалъ!

XIV.

Глупый свѣтъ глупѣетъ съ каждымъ днемъ,
Судить, рядить—Богъ знаетъ о чемъ;
Говорить онъ въ слѣпоту своей—
Дурень правъ у миленкой моей...
Глупый свѣтъ глупѣетъ съ каждымъ днемъ...
Не узнаетъ онъ, какимъ огнемъ
Поцѣлуй твой сладостный горитъ,
Что твое объятіе говорить!..

XV.

Милый другъ! скажи всю правду,
Ты не сонъ-ли золотой,
Что поэтъ воображеньемъ
Создаетъ въ полдневный зной?

Эти миленкіе глазки
Эти алыя уста,
Не созданіе поэта,
Не коварная мечта.

Нѣтъ,—чудовищей вампировъ,
Баснословныхъ чучель рядъ.
Вотъ, что головы поэтовъ
Потрясенныя творять.

Этотъ взоръ лукаво нѣжный,
Это личико, о, нѣтъ
Ихъ своимъ воображеньемъ
Не создать тебѣ, поэтъ...

ХVI.

Какъ Венера подъ пѣной морской,
Такъ блистаетъ чудесной красой.
Въ подвѣчномъ нарядѣ своемъ,
Моя милая нынѣшнимъ днемъ.
О, крѣпись же, сердце мое,
И тяжелое горе свое
Терпѣливо старайся сносить
И съумѣй неразумной простить!

ХVII.

На тебя мнѣ сердиться нѣтъ силы
И хотъ сердце мое ты разбила,
Другъ потерянный мной навсегда,
На тебя не сержусь никогда.
Драгоценные камни блистаютъ
На нарядѣ твоёмъ дорогомъ,
Но и холодъ, и мракъ обитаютъ
Въ опечаленномъ сердцѣ твоёмъ.
Ты во снѣ мнѣ однажды явилась —
И тогда-то вполнѣ мнѣ открылась
Бездна ночи душевной твоей,
Вся полна привидѣній и змѣй,—
И съ тѣхъ поръ уже стало мнѣ ясно,
Какъ глубоко ты, другъ мой, несчастна.

ХVIII.

Навсегда, до двери темной гроба
Мы съ тобой несчастны будемъ оба!
Пусть насмѣшка на устахъ играетъ,
Взоръ надменный смѣлостью блистаетъ,
Гордо грудь вздымается твоя,
Ты жалка, несчастна, какъ и я.

На устахъ я вижу содроганье
Тайнаго, тяжелаго страданья,
И мрачится скрытою слезою
Свѣтлый взглядъ очей твоихъ порою,
И глубокой ранюю незримо
Грудь твоя болитъ неутомимо...
Милый другъ! положено судьбой
Намъ навѣкъ несчастнымъ быть съ тобой...

ХІХ.

Ахъ, ужели ты забыла,
Что такъ долго обладалъ я
Твоимъ маленькимъ сердечкомъ,
Столько нѣжнымъ и лукавымъ,
Что нѣжнѣе и лукавѣй
Въ цѣломъ мірѣ не отыщешь.
Ахъ, ужели ты забыла,
Какъ любовью и печалью
У меня болѣло сердце?
Что изъ двухъ сильнѣе было
Я не знаю,—знаю только,
Что печаль съ любовью обѣ
Были сильны и глубоки.

ХХ.

Еслибъ добрыя созданья,
Нѣжные цвѣты,
Знать могли мои страданья,
Грустныя мечты,—
Вмѣстѣ бы со мною
Плакали они,
Чтобъ мученья сердца
Усладить мои.
Еслибъ только могъ провѣдать
Соловьиный хоръ,

Какъ я боленъ и несчастенъ
Съ нѣкоторыхъ поръ, —
Пѣсню полную веселья
Спѣли-бъ соловьи,
Чтобъ печальныя разсвѣять
Думы всѣ мои...
Еслибъ звѣзды золотыя
Въ горней вышинѣ
Знать могли, какъ больно, тяжко
Жить на свѣтѣ мнѣ, —
Ахъ, ко мнѣ, оставя небо,
Звѣзды бы сошли, —
И съ собою утѣшенье
Вѣрно-бъ принесли...
Но никто, никто не можетъ
Въ цѣломъ мѣрѣ знать,
Какъ мнѣ душу горе гложеть,
Какъ несчастенъ я.
Лишь она одна то знаетъ;
Все извѣстно, все
Той, что страшно истерзала
Сердце все мое.

XXI.

Отчего такъ блѣдны розы
Ты скажи, другъ мой?
Отчего фиалки плачутъ
Въ муравѣ густой?
Отчего такой тоскою
Хоры птицъ звучать?
И какъ будто гробомъ пахнетъ
Благовонный садъ?
Отчего тепла и свѣта
Въ солнцѣ будто нѣтъ?
И глядитъ сырой могилой
Вкругъ меня весь свѣтъ?

Отчего я самъ такъ мраченъ,
Боленъ и унылъ!
Отчего меня мой ангелъ
Бросилъ и забылъ?..

XXII.

Обо мнѣ они много судили, рядили
И во многомъ меня безтолково винили,
Но о томъ, что мнѣ камнемъ на душу легло,
Ими сказано, понято быть не могло.

Съ важной миной качали они головой,
Даже чертомъ меня величали, порой...
И ты вѣрила, милая, вѣрила имъ
Тѣмъ недѣльнымъ рѣчамъ и сужденьямъ пустымъ.

Но о томъ, что во мнѣ точно было дурнаго,
Никогда не сказали они ни полслова,—
Что всего было хуже, глупѣе во мнѣ,
Я упорно въ душевной тайлѣ глубинѣ.

XXIII.

Пѣлъ соловей,—благоухала
Густая липа той порой,
Когда меня ты обнимала
Своей лилейною рукой.

Желтѣя, липа опадала,
И раздавался крикъ воронъ,
Когда меня ты покидала,
Преважный сдѣлавъ мнѣ поклонъ.

XXIV.

Другъ друга мы любили,
Нельзя любить страстнѣй.
И не было влюбленныхъ
Согласнѣй и дружнѣй.
И въ золотую пору
Прошедшихъ дѣтскихъ дней,
Въ «жену и мужа», помню,
Играли часто съ ней.
И не было межъ нами
Ни рѣзкихъ сценъ, ни ссоръ,
Мѣшались съ поцѣлуемъ
Нашъ смѣхъ и разговоръ.
Играли мы и въ прятки
Между собой, вдвоемъ,
И спрятались такъ славно,
Такъ славно мы потомъ,
Что никогда другъ друга
Теперь ужъ не найдемъ...

XV.

Ты мнѣ вѣрною долго была,
И участие во мнѣ принимала,
Утѣшала въ печали меня,
И мою нищету раздѣляла.
Ты кормила меня и поила,
Даже денегъ дала и бѣлья,
И паспортомъ меня ты снабдила,
Какъ въ дорогу отправился я.
Пусть хранитъ тебя, милая, Богъ
Отъ палящаго зноя и хлада,
Пусть тебѣ, за добро для меня,
Никогда не пошлетъ награда.

XXVIII.

На сѣверѣ далекомъ
Подъ снѣжной пеленой,
Качаясь, одиноко,
Надъ дикою скалой,
Стоить и тихо дремлетъ
Угрюмая сосна,
Туманъ ее объемлетъ
И видитъ сонъ она:
Востокъ ей снится дальній
И пламенный гранитъ,
А на гранитъ пальма
Печальная стоитъ.

XXIX.

Когда я былъ въ разлукѣ
Съ моею дорогой,
Смѣяться разучился
Со всѣмъ я той порой.
Пустыхъ остротъ и шутокъ
Не мало я слыхалъ,
Но съ устъ моихъ улыбки
Потокъ ихъ не срывалъ.
Съ тѣхъ поръ же, какъ на вѣки
Ее я потерялъ,
Въ глазахъ изсохли слезы,
Я плакать пересталъ.
И какъ душѣ ни горько,
Какъ сердце ни болить,
Но никогда слезою
Мой взоръ не заблестить.

XXXII.

Какъ этотъ мѣръ хорошъ! Кругомъ какъ небо чисто!
Киваютъ мнѣ цвѣты головою душистой,
Сверкаютъ и блестятъ подъ утренней росой,
Несется вѣтерокъ прохладною струей.

Куда ни посмотрю,—все радостью полно,
А я... въ моей душѣ желаніе одно:
Быть поглощенному нѣмой, сырой могилой,
Чтобъ вмѣстѣ тамъ лежать съ моей умершей милой.

XXXIV.

Будто сказочный мѣръ
Вѣетъ на душу мнѣ,
И звучить, и поетъ
О волшебной странѣ.

Тамъ закатъ золотитъ
Не простые цвѣты,
Межъ собою они
Какъ влюбленныхъ четы...

Какъ пѣвнительный хоръ
Тамъ деревья поютъ,
Съ чудной музыкой тамъ
Всѣ потоки бѣгутъ.

Сладкій шопоть любви
Раздается вездѣ...
Ахъ, подобнаго ты
Не слыхала нигдѣ!

Ты-бъ заслушалась тѣхъ
Звуковъ страстно живыхъ

До томленья души,
До восторговъ вѣмыхъ.

Я летѣлъ бы туда
Снова сердцемъ ожить,
Всѣ страданья мои
Навсегда позабыть.

Но, увы, лишь во снѣ
Предо мной та страна—
Только солнце взойдетъ,
Исчезаетъ она...

XXXV.

Филистры въ воскресныхъ нарядахъ
Гуляютъ веселой толпой
И прыгаютъ, точно козлята,
Любуясь наставшей весной.

И смотреть прищуреннымъ глазомъ
На первую зелень луговъ,
Ихъ грубое ухо плѣнаетъ
Безсмысленный крикъ воробьевъ.

Я-жъ темною тканью завѣсилъ
Въ моемъ кабинетѣ окно...
Ко мнѣ прилетаютъ видѣнья,
Которыми сердце полно.

На зовъ мой изъ царства умершихъ
Прошедшая страсть возстаетъ,—
Приходить, садится и плачетъ,
И въ душу отраву мнѣ льетъ.

XXXVI.

Пре́до мною изъ былаго
Тѣни прошлаго встають;
Какъ вблизи тебѣ живаль я,
Вновь увидѣть мнѣ дають.

День деньской бродилъ, мечтаю,
Я вдоль улицъ городскихъ;
На меня дивились люди,
Какъ я пасмуренъ и тихъ.

Ночью... ночью было лучше—
Шумный городъ затихалъ,
Я вдвоемъ съ моею тѣнью
Вновь шатался и мечталъ.

Звонко шагъ мой раздавался,
Какъ я мостъ переходилъ,
Съ неба мѣсяцъ мнѣ сурово
И задумчиво свѣтилъ.

Передъ домомъ, гдѣ жила ты,
Останавливался я,
Взоръ въ окно твое вперялъ я,
Сердце ныло у меня.

Знаю, ты въ окно смотрѣла,
И видала той порой,
Что стою я въ лунномъ свѣтѣ
Будто столбъ, въ тиши ночной.

XXXVII.

Юноша дѣвушку любить,
Ей же милѣе другой,

Но не ее избираетъ
Этотъ послѣдній женой.

Перваго встрѣчнаго ловить,
Съ горя, дѣвица въ мужа:
Прежній влюбленный тоскуетъ,
Муча напрасно себя.

Старая эта исторья
Новою будетъ всегда:
Сердце оставить разбитымъ,
Съ кѣмъ приключится она.

XXXVIII.

Слышу-ль пѣсню я, порою,
Что пѣвала мнѣ она,
Отъ тоски какъ будто хочетъ
Разорваться грудь моя.

Грустью темною влекомый
Я бѣжалъ въ лѣсную даль,—
Тамъ бы выплакалъ свободно
Безъисходную печаль.

XI.

Въ даль невѣдомую, другъ мой,
Въ легкой лодочкѣ съ тобой,
Въ тишиѣ ночной, мы плыли
По пучинѣ водяной.

При лунѣ волшебный островъ
Обольстительно мелькалъ,
Тамъ туманъ при сладкомъ хорѣ
Дивный танецъ начиналъ.

Все живѣй неслися звуки
Сквозь волнуемый туманъ,
Мы жъ уныло плыли дальше
Въ необъятный океанъ.

ХЛІ.

Любилъ, люблю тебя! И еслибъ цѣлый міръ
Въ однѣ развалины нѣмыя превратился,
Огонь моей любви изъ груди-бъ ихъ пробился
И пламенной струей унесся бы въ эфиръ.

ХЛІІ.

Однажды, я лѣтомъ, по утру,
Въ саду одиноко бродилъ,
Цвѣты межъ собою шептались,
Но нѣмъ я и пасмуренъ былъ.
Шептались цвѣты—говорили,
Смотря съ сожалѣньемъ мнѣ въ слѣдъ:
«На нашу сестрицу не сѣтуй
Ты блѣдный, печальный поэтъ...»

ХЛІІІ.

Какъ рассказанная сказка
Ночью, лѣтнею порой,
Такъ любовь моя сіяетъ
Мрачной, странной красотой.

«Соловьи поютъ такъ сладко
Въ очарованномъ саду,
Съ высоты сіяетъ мѣсяць
На влюбленную чету.

Рыцарь страстный на колѣняхъ
Предъ красавицей стоять,

Вдругъ пришелъ гигантъ пустыни,—
Дѣва робкая бѣжитъ.

Рыцарь кровью истекаетъ,
Великанъ спѣшить домой»...
А когда меня схоронятъ,
То конецъ и сказкѣ той.

XLVI.

Другіе, разставаясь,
Другъ другу руки жмутъ,
Вдыхаютъ и тоскуютъ,
И горько слезы льютъ.
Съ тобой мы не вдыхали,
Не дили слезъ ручьи,
Тоска, печаль и слезы
Къ намъ послѣ ужъ пришли.

XLVII.

За столомъ, собравшись къ чаю,
О любви они судили,
Какъ мужчины всѣ изящны
И какъ дамы нѣжны были!

«Да, любовь», сказалъ совѣтникъ,—
Платонична быть должна...»
Улыбнулась и вздохнула
Про себя его жена.

«Сердца пылъ вредитъ здоровью,—»
Молвилъ пасторъ, и ему
Шепчетъ дѣвушка жеманно:
«Почему же, почему?»

«Я любовью страсть считаю,»
Томно судъ произнесла
Тутъ графиня и барону
Чашку чаю подала.

За столомъ твое мѣстечко
Оставалось пустымъ.
Жаль, а какъ бы ты отлично
Про любовь сказала имъ.

XLVIII

Отравой полны мои пѣсни,—
Иначе не можетъ и быть,—
Ты въ жизнь молодую порядкомъ
Мнѣ яду съумѣла подлить.

Отравой полны мои пѣсни,—
Иначе не можетъ и быть
Не мало змѣй въ сердца, и съ ними
Тебя осужденъ я носить.

И з ъ Г е й н е.

Мѣсяць всталъ, морскія волны
Серебрить своимъ лучомъ;
Съ милой я; восторга полны,
Мы на берегъ вдвоемъ.

Обняла меня малютка,
Въ очи съ нѣжностью глядитъ.
— Что ты внемлешь вѣтру чутко,
Что рука твоя дрожить?

— «Ахъ, не вѣтра то пѣснь;
Не русалогъ то крикъ,—
То утопшихъ сестеръ
Мнѣ знакомый языкъ».

ПОВѢСТИ.

ПРОСТОЙ СЛУЧАЙ.

Ахъ, Господи, Боже мой, какая тоска! зачѣмъ мнѣ только четырнадцать лѣтъ; зачѣмъ всѣ меня считаютъ ребенкомъ—и papà, и мамаша, и даже кузина?!. Зачѣмъ я гостилъ у бабушки и читалъ эти романы?.. Теперь мнѣ только и мерещатся любовь да красавицы... Какая тоска!.. И зачѣмъ рядятъ меня въ эту куртку и выпускной, бѣленькій воротничекъ? Я ужъ не пятилѣтній ребенокъ... И некому мнѣ сказать, что я ужъ не ребенокъ: захочутъ—всѣ захочутъ!... и papà, и мамаша, и эта кузина скажетъ, приподнявъ бровки: «каковъ!» О, какъ мнѣ хочется разбить или изломать чтонибудь, когда она говоритъ: «ты еще ребенокъ, Жозефъ». Я почти бросилъ всѣ игрушки, чтобы не казаться ребенкомъ, и съ недѣлю ужъ не сажусь на Нарцизку—папенькина пуделя. Господи! зачѣмъ я читалъ романы!—Игралъ бы я и былъ веселъ, а теперь—сигу да пишу въ свободные часы, пока гувернеръ мой, Иванъ Ивановичъ, занимается въ своемъ кабинетѣ... надо же было умереть тетенкѣ, и кузинѣ сдѣлаться совсѣмъ сиротой, чтобъ прїѣхать къ намъ жить! Папá опекунъ ея. И надобно же, чтобъ она была такъ хороша, какъ пишутъ въ этихъ проклятыхъ романахъ и повѣстяхъ!... Чудесная, стройная, съ ловонами; иногда задумчивая, иногда же веселая и рѣзвая. Сердце у меня такъ и бьется, когда она подходитъ ко мнѣ, оправляетъ мои волосы и цѣлуетъ меня въ лобъ...

— Я люблю васъ! сказалъ я ей вчера; она улыбнулась и потрепала меня по щекѣ...

Что, еслибъ Иванъ Ивановичъ зналъ, что я пишу! Сколько-бы насмѣшекъ... Спрятать тетрадку. Однако надо замѣтить, котораго числа я началъ ее... Забылъ, которое сегодня. Пойду, побѣгу спросить у папана.

Маменька въ огородѣ: тамъ садятъ сѣмена. Спросилъ у Ивана Ивановича.

— Зачѣмъ вамъ?

— Такъ...

— Я не люблю этихъ дѣйствій безъ причинъ;—надобно, чтобы все имѣло свою цѣль.

Ужъ этотъ мнѣ Иванъ Ивановичъ! на все у него готово правоученіе. Однако все мнѣ лучше, когда онъ говоритъ серьезно, нежели кричитъ—«шалите!—какъ вамъ не стыдно!» точно на малютку.

Ужъ пять часовъ. Вѣрно кузина въ саду. Иванъ Ивановичъ сейчасъ выйдетъ изъ кабинета и мы сядемъ учиться. Пойду на минуту въ садъ...

Опять забылъ выставить число: сегодня 8-е мая.

12-е мая.

Сейчасъ изъ сада... Хорошо, что этотъ садъ у насъ... кузина такъ любитъ зелень и шумъ деревьевъ. Она вчера говорила Ивану Ивановичу:

— Въ этомъ шумѣ я слышу что-то невыразимо-отрадное... Мнѣ кажется, что это языкъ другаго міра...

У ней навернулись слезы. Я не могъ видѣть ея слезъ... Убѣжалъ въ самый тѣнистый уголъ сада и плакалъ. Черезъ минуту и она—кузина и Иванъ Ивановичъ пришли туда.

— Что ты, Жозефъ?—сказала кузина, положивъ свою ручку ко мнѣ на плечо,—ты плакалъ?

— О чемъ вы плакали? прибавилъ Иванъ Ивановичъ.

— Нѣтъ... вѣтка хлеснула мнѣ въ глаза, когда я бѣжалъ сюда, отвѣчалъ я.

Мнѣ ни за что не признаться, что мнѣ бываетъ и грустно

и сердце у меня бьется. Мнѣ такъ горько думать, что надъ этимъ будутъ смѣяться.

Не знаю отчего, но съ тѣхъ поръ, какъ Иванъ Ивановичъ сталъ подолгу разговаривать съ кузиной, я что-то не люблю его. Я часто слушаю ихъ разговоры. Мнѣ досадно, что онъ такъ хорошо говоритъ... Кажется просто—ужъ какъ просто, а пріятно слушать... Я всегда сижу у ногъ кузины, на травѣ, когда она на дерновой скамьѣ разговариваетъ съ Иваномъ Ивановичемъ. Какой-то волшебникъ этотъ Иванъ Ивановичъ! Вѣдь, посмотришь, не хорошъ, а начнетъ говорить—точно переродится. И что за голосъ у него... Ахъ, Господи! зачѣмъ я ребенокъ! Я думаю... какъ горько!.. кузина полюбитъ Ивана Ивановича... И теперь они ходятъ по аллеѣ сада, а я сижу да плачу. И играть мнѣ не хочется. На дняхъ началъ клеить коробочку, такъ и бросилъ—не дѣлается. Вчера вечеромъ, гуляя по саду, я разсматривалъ по дорожкамъ слѣды ея ножекъ, и нашелъ бѣлую розу, которая была приколотъ къ ея волосамъ. Чтò бы, кажется, этотъ цвѣтокъ?—а я цѣлую его, и мнѣ и весело, и грустно. Бѣдный я!

13-е мая.

Зимой повезутъ меня въ Петербургъ держать экзаменъ въ Лицей. Сегодня объ этомъ говорилъ папá, и татапа плакала... Слезы у меня такъ и застилали глаза, но я удержался; тутъ же сидѣла кузина, я не хотѣлъ плакать: пусть же она видитъ, что я ужъ не ребенокъ. Потомъ, и нечаянно подслушалъ—она говорила Ивану Ивановичу:

— Изъ Жозефа что нибудь выйдетъ: онъ не похожъ на другихъ дѣтей его лѣтъ. У него необыкновенная сила характера. Замѣтили вы, сколько труда стоило ему давича не заплакать?... и онъ удержался.

— Да, я давно въ немъ замѣчаю не дѣтскіе порывы, но боюсь одобрять ихъ,—онъ слишкомъ пылокъ...

Каковъ Иванъ Ивановичъ! Я думалъ, что онъ и не думаетъ обо мнѣ. О, какой я умникъ, что не заплакалъ!

15-е мая.

Вчера, когда мы втроемъ сидѣли въ саду, Ивана Иванаыча позвали къ маменькѣ, и я одинъ остался съ кузиной. Я подумалъ объ этомъ и покраснѣлъ, такъ мнѣ было неловко, а она смотрѣла такъ прямо и свободно...

— Мой другъ! потрудись мнѣ сорвать вѣтку жимолости,— сказала она мнѣ.

Я бросился исполнить ея желаніе и подалъ ей вѣтку; она наклонила мою голову и нѣжно поцѣловала меня.

— Какіе у тебя славные волосы, Жозефъ! сказала она, поправляя ихъ своей бѣленькой ручкой.

— У меня почти такіе же черные, какъ у Ивана Иванаыча... отвѣчалъ я, и сердце у меня такъ билось, такъ билось...

Я взглянулъ на нее,—щека ея вспыхнула. Мнѣ было весело заставить ее краснѣть.

— Кажется, у него чернѣе? продолжалъ я.

— Я не сравниваю.

— О, конечно, онъ не сравненъ!...

Я такъ былъ золъ въ эту минуту и на него, и на нее, и на все; душа замирала...

— Жозефъ! что это значитъ? и голосъ ея дрожалъ.

— Не знаю, отвѣчалъ я.—Гдѣ мнѣ знать: я ребенокъ...

И я пошелъ вдоль по аллеѣ. Я думалъ, что она вскопичитъ, убѣжитъ, разсердится. Отойдя нѣсколько шаговъ, я оглянулся. Она все еще сидѣла на скамьѣ, голова ея склонилась... Мнѣ вдругъ стало жаль ее: я подошелъ къ ней... Господи Боже! слезы тихо катились по ея щекамъ. Я бросился цѣловать ея руки.

— Вы плачете?.. я огорчилъ васъ! Милая кузина! простите меня!.. смотрите, я на колѣняхъ... неужели вы не простите меня?..

— Я не сержусь, Жозефъ; я знаю, что ты неумышленно огорчилъ меня... и не знать тебѣ, какъ ты огорчилъ меня!..

Я рыдалъ у ея ногъ, положивъ голову къ ней на колѣни.

— Не плачь, мой другъ, я не сержусь. Не плачь же...
Она поцѣловала меня и ушла.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ИВАНА ИВАНЫЧА.

5-е августа.

Зачѣмъ эта страсть овладѣла мною! Думалъ-ли я, при выходѣ изъ университета и принимая дипломъ на званіе наставника, что буду такъ тяжело, такъ невыразимо страдать!.. Жизнь моя казалась до того пустой и жадкой, что я даже не обращалъ на нее вниманія. Безъ мѣста, безъ друзей и родныхъ, мнѣ было все равно, гдѣ бы ни жить, съ кѣмъ бы ни жить. Судьба была милостива ко мнѣ, доставила мнѣ довольство въ этомъ домѣ... Переступая за порогъ его, думалъ-ли я, что въ душѣ моей созрѣютъ такія непонятныя ощущенія, что въ сердцѣ раскроется такая глубокая рана!.. Гордый тѣмъ, что силою воли заглушилъ въ себѣ всѣ желанія, всѣ порывы честолюбія, я считалъ себя мудрецомъ самопобѣдителемъ, и! любовался своимъ душевнымъ порядкомъ—этимъ смиреніемъ страстей! И, вотъ, я жестоко наказанъ за эту духовную гордость. Страсть овладѣла мною, поглотила все мое бытіе... И она любитъ! Въ ея чистой душѣ горитъ и теплится святое чувство... Она любитъ! эта мысль душитъ меня. Что я буду дѣлать? Жениться безъ имени, безъ состоянія... о, никогда, никогда!... Отравить жизнь ея своимъ ничтожествомъ; заставить ее краснѣть при имени мужа... это хуже смерти! Дядя ея выгонитъ меня изъ дому при одномъ намекѣ объ этомъ. Богатая наследница — и выйти за бѣднаго безымяннаго гувернера!... Эта мысль недоступна ея гордымъ родственникамъ; они не обращаютъ вниманія на наши разговоры и прогулки и безъ опасенія позволяютъ ей быть со мною наединѣ. Правда, присутствіе Жозефа обезпечиваетъ ихъ. Сколько разъ я хотѣлъ бѣжать отсюда—и не могъ... Безумецъ! безумецъ!

20 е августа.

Жалкое я созданіе? ничтожный наемникъ!... Какая пустота впереди!... Нѣсколько дней отравленнаго счастья, нѣсколько дней возвышенныхъ порывовъ, а тамъ опять потянется жизнь безотрадной и грязной дорогой! Она сама хорошо понимаетъ наши отношенія, и всѣми силами старается задушить страсть, которая выражается въ каждомъ ея движеніи. Бѣдная! я причиною ея слезъ и страданія!... Вѣдь умирають же другіе... отчего же я не умру?!...

ЗАПИСКИ ЖОЗЕФА.

28-е августа.

Кузина нездорова. Милочка, душечка моя! Какъ мнѣ жаль ее! Она похудѣла и стала такъ блѣдна... Все кашляетъ, говорить, что бокъ и грудь сильно болятъ. Послали за докторомъ.

30-е августа.

Докторъ говоритъ, что она простудилась, потомъ сказала маман, что она отъ природы склонна къ чахоткѣ... Папа задумался, маменька плакала. Какъ у меня замираетъ сердце! Я сегодня плакалъ цѣлое утро. Вчера она сказала мнѣ:

— Жозефъ! ты будешь приносить цвѣты на мою могилу?

Я убѣжалъ въ другую комнату, упалъ на диванъ и зарыдалъ. Этотъ Иванъ Ивановичъ какой-то безчувственный... ни слезки никогда! только хмурить брови...

5-е сентября.

Вчера, въ сумерки, я тихо подошелъ къ дверямъ гостиной... кто-то плакалъ, и слышно было, что старался удерживать рыданіе. Луна свѣтила. Я посмотрѣлъ въ щелку: Иванъ Ивановичъ сидѣлъ на низенькомъ табуретѣ у вресель, на которыхъ сидѣла кузина. Откинувъ головку назадъ, по-

ложивъ лѣвую руку къ нему на плечо, она правою рукою закрыла лицо и тихо говорила:

— Мой другъ! такъ Богу угодно!

Луна обливала ихъ своимъ свѣтомъ. Я смотрѣлъ на нихъ, какъ на картину... Каковъ же Иванъ Ивановичъ!—я думалъ, онъ не умѣетъ плакать!

7-е сентября.

Ахъ, какъ мнѣ скучно! Гулять не хочется—холодно.

Не знаю, какъ Иванъ Ивановичъ можетъ ходить такъ долго по саду, въ одномъ сюртугѣ. Пойду къ кузинѣ... она, бѣдная, одна: папà на охотѣ, маменька хозяйничаетъ. Слава Богу, что у меня такая хорошая память и я скоро учу уроки, а то бы мнѣ некогда было и посидѣть съ кузиной.

Вчера я пришелъ къ ней за полчаса до обѣда; она сидѣла одна, въ креслѣ, и печально глядѣла въ окно... Я тоже посмотрѣлъ—ничего пріятнаго: сѣрое небо, дождикъ шелъ крупными, рѣдкими каплями, и онѣ, точно слезы, капались вдоль стеколъ; вдали, пожелтѣлое поле и синяя полоса лѣса, а она, по цѣлымъ часамъ, глядитъ на все это. Лѣтомъ другое—тогда протянусь, бывало, на мягкой травѣ сада и гляжу подолгу на небо. Что за цвѣтъ чудесный, и что за облачка—бѣленькія, свѣтленькія,—такъ бы и досталъ рукой! Вѣтеръ вѣетъ такъ пріятно, деревья шепчутся, птички-шалуньи то и дѣло щебечуть, да перепархиваютъ съ вѣтки на вѣтку... А теперь,—какъ посмотрю вокругъ!.. да и смотрѣть-то не хочется...

13-е сентября.

Кузинѣ все хуже. Сегодня пріѣзжалъ Карлъ Федоровичъ. Когда онъ, уѣзжая, подходилъ къ передней, я бросился къ нему и спросилъ со страхомъ:

— Карлъ Федорычъ! скажите, ради Бога, кухня умретъ?

— А мой почему знать? Какъ Богу угодно будетъ есть.

Я возвратился къ ней.

— Посиди со мной, Жозефъ, сказала она.

Чудная она какая-то, право: кажется, говорить просто,

а слушая ея голосъ, такъ плакать и хочется... Я сѣлъ
возлѣ нея.

— Ты любишь меня, Жозефъ?

Я схватилъ и цѣловалъ ея руки.

— Послушай же, мой другъ: говорить, я богата, но я
ничѣмъ не обязана этому богатству,—оно не доставило мнѣ
ни одной святой минуты... Все равно, какъ бы у меня его
и не было. Но, вотъ, этимъ двумъ вещамъ, — тутъ она
взяла со стола двѣ книги,—повидимому столь незначущимъ,
я обязана самыми прекрасными минутами... я обязана имъ
моимъ спокойствіемъ на землѣ, и, можетъ быть, — Богъ
такъ милосердъ, блаженствомъ на небѣ. Возьми ихъ, Жо-
зефъ, послѣ моей смерти, кажется, очень близкой; и, если
ты точно любишь меня, то сохранишь ихъ на память обо
мнѣ. Обѣщай мнѣ, другъ мой, заглядывать въ нихъ чаще,
въ продолженіе твоей жизни; обѣщай мнѣ, если любишь
меня.

И слезы катились по ея щекамъ. Я не успѣлъ отвѣчать
ей, я только сталъ на колѣни и поцѣловалъ книги. Это
были «Евангеліе» и «О подражаніи Христу».

25-е сентября.

Сегодня маман уѣхала, въ девять часовъ утра, къ Дарьѣ
Яковлевнѣ Горсточкиной, нашей сосѣдкѣ и пробудетъ тамъ
до вечера. Передъ отъѣздомъ она съ papà сидѣла у кузины.

— Выздоровливай, дружокъ, говорила ей маменька,—на
зиму поѣдемъ въ городъ, повеселимъ тебя.

Кузина улыбнулась.

— Экая дрянь! сказалъ papà, цѣлуя ее,—все хвораетъ!

Кузина взяла его руку и поцѣловала. Я замѣчаю, она
стала очень мало говорить: все знаками старается отвѣ-
чать... Когда она улыбается или качаетъ отрицательно го-
ловой, мнѣ еще грустнѣе.

Вчера Иванъ Ивановичъ долго читалъ ей. Потомъ она
разсказывала ему о своемъ дѣтствѣ, о предположеніяхъ ея
матери, о ея вѣжности къ ней. Лицо у ней разгорѣлось и

она стала почти такая же хорошенькая, какъ прежде... Дай-то Богъ, чтобы она поправилась!

Выйдя изъ ея комнаты, Иванъ Ивановичъ взялъ шляпу.

— Неужели вы въ садъ, въ такую погоду? спросилъ я.

— Да.

Какой сталъ блѣдный Иванъ Ивановичъ, просто ужасъ! Странный онъ, право!.. Я бы на его мѣстѣ рвался и плакалъ, какъ сумашедшій... Я и теперь готовъ разбить себѣ голову, какъ подумаю, что кузина умретъ... а онъ ничего: ходитъ себѣ по сырому, пожелтѣвшему саду, скрестивъ руки на груди... Надняхъ, я хотѣлъ было подсмотрѣть, не плачетъ-ли онъ—нѣтъ! То походить, то прислонится къ дереву и стоитъ недвижимъ, точно статуя.

1-е октября.

Сегодня кузина приобщалась Св. Тайнъ. У меня и до сихъ поръ глаза рѣжутся,—такъ я много плакалъ и молился. Видно, Богу угодно, чтобы умерла она... а все мнѣ какъ-то не вѣрится.

10-е октября.

Господи! неужели, въ самомъ дѣлѣ, она умерла! Ахъ, Царь Небесный! что это со мной дѣлается?.. Точно весь мозгъ у меня перевернулся... Смерть... Я въ первый разъ видѣлъ, какъ умираютъ... Минута—и нѣтъ!.. И ужъ я не увижу ее... никогда, никогда!.. И гдѣ ея не услышу!.. Какъ она покойна мертвая! и грусти у ней нѣтъ на лицѣ... Я все стою у ея гроба... Сегодня былъ въ теплицѣ, нарвалъ цвѣтовъ и зелени и положилъ ей на грудь. Напрасно я говорилъ ей: «милая кузина! это для васъ». Молчить.

Вотъ какъ умерла она: вчера, послѣ обѣда, мы всѣ — я, Иванъ Ивановичъ, папà и маман—собрались въ ея комнату. Она лежала. Все на ней было какъ-то хорошо — и чепчикъ бѣленькій и бѣлый капотъ. Я видѣлъ больную маменьку, но тогда на ней все было не хорошо;—кузина же всегда хороша... Она сдѣлала мнѣ знакъ подойти. Я подо-

шелъ. Она дрожащею рукой сняла съ себя золотой крестикъ и сказала тихо:

— Это тебѣ, Жозефъ; а это, — продолжала она, снимая съ руки кольцо, — *ему*: пусть оно напоминаетъ ему вѣчность.

Я отдалъ кольцо Ивану Иванычу. Мы всѣ молчали. Вошелъ священникъ. Она улыбнулась, и ужъ не грустно, а какъ-то особенно пріятно... Священникъ еще приготовлялся читать, какъ она вдругъ приподнялась и быстро проговорила:

— Слава Богу! я умираю... молитесь, Жозефъ!..

И снова упала на подушки. Когда мама подошла къ ней—она была холодна и безмолвна...

11-е октября.

Я что-то боюсь этого Ивана Иваныча! Онъ меня просто ненавидитъ: такъ онъ иногда на меня ужасно смотритъ. Вчера я пришелъ въ залу, чтобъ посмотрѣть на кузину, — завтра ужъ похоронять ее; — и только сталъ у ея гроба, какъ онъ вошелъ... У него было какое-то особенное лицо въ эту минуту... Подойдя ко мнѣ, онъ взялъ меня за руку, и почти вытолкнулъ изъ комнаты, не сказавъ ни слова... Милая кузина!.. Ахъ, какъ мнѣ грустно!..

17-е октября.

Ужъ нѣтъ ея! Какъ пусто стало въ домѣ... Какая тоска! Когда я плакалъ на похоронахъ, мама все уговаривала меня:

— Полно-же, мой другъ! Этакъ, пожалуй, занеможень. Что же дѣлать; Божья воля!..

Какъ досадно, когда уговариваютъ!

Иванъ Иванычъ сегодня уѣхалъ. Бѣдный Иванъ Иванычъ! Какъ мнѣ жаль его. Я думалъ, онъ не любитъ меня — напрасно: за полчаса до отъезда, онъ вошелъ ко мнѣ.

— Прощай, Жозефъ! сказалъ онъ. — Ты, вѣрно, скоро позабудешь о своемъ бѣдномъ учителѣ... Желаю тебѣ счастья...

— Ахъ, Иванъ Иванычъ! я никогда васъ не забуду! вскричалъ я.

Онъ подошелъ ко мнѣ и обнялъ меня съ такой нѣжно-стью. Я почувствовалъ, что онъ любитъ меня...

— Куда вы уѣзжаете? спросилъ я.

— Не знаю.

И на глазахъ у него свѣтились слезы... Какъ мнѣ жаль его!

21-е октября.

Милая моя кузина! Передо мною «Евангеліе» и «О подраженіи Христу», подаренныя ею... Какъ мнѣ дороги эти книги! Ни за что съ ними не разстанусь—никогда! Буду читать ихъ чаще.

— Ну, Жозефъ, теперь ты богатъ! сказалъ мнѣ сегодня папà,—все имѣніе покойной сестры перешло въ наши руки; ты *въ сорочкѣ* родился.

Что мнѣ въ богатствѣ, Богъ съ нимъ! Она говорила, что оно не можетъ доставить ни одной святой минуты... Какъ часто она мнѣ повторяла: «будь добръ, Жозефъ—и будешь счастливъ».

Думалъ-ли я, начиная эту тетрадку, что все это такъ кончится, что кузина умретъ, Иванъ Иванычъ уѣдетъ!.. Я думалъ, что жизнь моя все одинаково будетъ идти... Удивительно, какъ маман такъ скоро утѣшилась, какъ будто ничего не бывало: все такъ же хлопочетъ съ хозяйствомъ... Какъ они рѣдко вспоминаютъ ее... Богъ съ ними!.. Бѣдная кузина! бѣдный я!

24-е октября.

Вотъ, завтра меня повезутъ въ Петербургъ. Маменька заливается слезами... И мнѣ хочется плакать... Ахъ, что-то будетъ изъ богатаго и вмѣстѣ бѣднаго Жозефа!.. Пойду, прощусь съ могилкой кузины... Я ужъ просилъ садовника насадить весной цвѣтовъ на ней. Кузина такъ любила цвѣты... И березокъ просилъ насадить, чтобы въ жары тѣнь была...

1847.

НЕУМЫШЛЕННОЕ ЗЛО.

Въ одинъ грустный, осенній вечеръ, двѣ молодыя женщины сидѣли на покойномъ диванѣ, въ прекраснорубранной комнатѣ.

— Мудрено-ли въ тебя влюбиться, Вѣра, — говорила одна изъ нихъ своей подругѣ, — въ тебя влюбился бы житель Алеутскихъ острововъ, не только твой бѣдный деревенскій обожатель, твой герой въ толстомъ, темно-зеленомъ сюртукѣ, обладатель одного мужика и клочка земли.

— Ахъ, Catherine! я глубоко раскаиваюсь, что потревожила его мирно-дремавшую душу моими глупыми уроками. Право, я не хотѣла ему сдѣлать зла. Я хотѣла только бросить лучъ поэзіи на его темную жизнь и усладить ее познаніемъ лучшаго. Ненавижу тотъ день, въ который я встрѣтила его въ роцѣ, робкаго и застѣнчиваго. Я полюбила его, какъ ребенка, за его красивыя кудри и нѣжное лицо, не думая, что сдѣлаю его несчастнымъ. Дай Богъ, чтобъ онъ забылъ обо мнѣ, какъ о тяжеломъ сновидѣніи!

— О чемъ ты такъ хлопочешь? велика бѣда, что мальчикъ влюбился!.. ты слишкомъ добра. — Но покажи же его письма. Мнѣ до смерти хочется познакомиться съ произведеніями такого рода писателя... не то, право, скажу твоему мужу, который самъ влюбленъ въ тебя не меньше этого Феди.

— Вотъ ключикъ отъ моего рабочаго столика; потрудись отпереть и вынуть пачку простой, сѣрой, исписанной бумаги.

Черезъ нѣсколько минутъ, Catherine возвратилась съ письмами. Вѣра начала читать вслухъ:

Боже мой! какъ же теперь я начну письмо мое?

«Милостивая государыня»—вы мнѣ не приказали писать, а безъ этого начала пропала я совсѣмъ... Вчера вы мнѣ говорили, чтобы я описывалъ вамъ мои чувства и мысли... Въ чувствахъ и въ мысляхъ у меня все одно—вы. Цѣлые дни я все думаю о томъ, что вы, точно ангелъ небесный, на меня, на этакое ничтожество, вниманіе обратили; что вы, точно какое божество, новаго человѣка изъ меня сдѣлали. Думалъ я прежде, что только въ сказкахъ бываютъ такія добрыя волшебницы, а, вотъ, и на яву встрѣтилъ... Вчера я во снѣ видѣлъ, что вы меня на облака поднимали и, будто, съ самой высоты снесло меня вихремъ внизъ, а вы полетѣли все выше и выше, и наконецъ, исчезли въ голубомъ небѣ... Господи! какъ мнѣ тяжело было! Я рвалъ волосы и въ отчаяніи катался по землѣ... Вдругъ, вижу, подходитъ ко мнѣ угрюмый и безобразный старикъ и говорить съ грубымъ смѣхомъ, «а, братъ, свалился! теперь не уйдешь отъ насъ!» схватилъ меня костлявыми и холодными, какъ ледъ, руками, да и тащитъ въ болото... Я перекрестился отъ радости, когда проснулся. Спасибо матушкѣ, что разбудила. Перепугалась моего крика; спрашиваетъ: «Что ты, Федя, что ты, Богъ съ тобою, видно *стѣны* на тебя навалилась»... Я ей не сказываю, что васъ знаю, и что въ рошѣ почти всякій день вижу. Она чловѣкъ старый,—гдѣ ей понять мое счастье! Еще меня же прибранить... скажетъ: «Видно, ты глупъ, Федя: куда лѣзешь? Гдѣ тебѣ съ такою госпожей видаться да разговоры вести»... Пора мнѣ кончить. А какъ кончать?—опять бѣда. «Честъ имѣю остаться»—вы тоже не приказали писать, а

иначе я не умѣю кончать писемъ. Пускай же остается безъ конца...

Ахъ, еслибъ вы видѣли, что со мной дѣлается, когда вы играете на фортепіано, въ саду, въ большой бесѣдкѣ! Вы не знаете, что я стою у забора и замираю отъ тоски. Рвется душа! самъ не вѣдаю, чего желаю. Летѣлъ бы куда-нибудь!.. какъ мнѣ хочется запѣть какую-нибудь чудную пѣсню, выпѣть все мое горе! Какъ все тихо кругомъ! Хотѣлъ бы я бури, грому... Давеча поднялась было туча, да прошла мимо.—Когда-то я увижу васъ?

Что я, живу или сплю? Мнѣ кажется, я вижу сонъ. Вчера, я лежалъ на травѣ, закрывъ глаза, на лугу, и думалъ объ этомъ. Вдругъ, будто кто сталъ говорить мнѣ: «Спи, Одея, спи, бѣдняжка, пока видишь сладкіе сны!.. не просыпайся—бѣда будетъ: точно могила, темна и страшна, раскроется передъ тобою жизнь твоя, и крѣпко заключить тебя, и не будетъ изъ нея выхода; не уснешь тогда, не успокоишься, пока не ляжешь въ другую могилу, въ сырую землю. Спи, Одея, спи»!.. Вскочилъ я, тяжело стало... заплакалъ. И не знаю, какъ я это слышалъ—во снѣ или въ самомъ дѣлѣ кто говорилъ мнѣ...

Два дня не видалъ васъ, и точно сумасшедшій хожу... Что же будетъ, когда вы уѣдете!.. Да я и думать-то объ этомъ не хочу, и быть-то этого не можетъ. Это все равно, какъ когда подумаешь о смерти: никакъ не вѣрится, что умрешь;—и я, грѣшный человекъ, такъ-таки и не вѣрю, что умру... Ахъ, вѣрь-не вѣрь, а какъ съ косою-то явится—никуда не уйдешь!.. Вчера урвался я побывать въ рошѣ; пришелъ на то мѣсто, гдѣ вы всегда сидите,—подъ двумя большими березами, между которыми, словно нарочно для васъ, бугорокъ выросъ,—нѣтъ васъ, а трава примята.

Самъ не знаю, отъ чего сердце у меня заболѣло; я заплакалъ, какъ ребенокъ, и сталъ цѣловать примятую траву...

Правду вы говорили вчера, что у человѣка есть другой мiръ, кромѣ того, который онъ видитъ обыкновенными глазами; что этотъ мiръ въ душѣ его. Да куда дѣтись съ этимъ мiромъ въ бѣдности, хоть бы, на примѣръ, мнѣ? Работать надо; матушка бранится... Вотъ, на эту зиму судья обѣщала опредѣлить меня въ судъ писцомъ... авось, лучше будетъ. Вотъ что ожидаетъ меня; вотъ мое будущее! Въ такихъ обстоятельствахъ, что будешь дѣлать съ этимъ другимъ мiромъ, который дѣлаетъ жизнь противной, тянетъ въ высоту, и, Богъ знаетъ, какими грезами голову набииваетъ? Голова, подчасъ, кружится, сердце ноетъ... Только и отрады, что подумаю о васъ, о вашемъ ангельскомъ взорѣ.

Право, я счастливъ теперь — много хорошаго узналъ отъ васъ. Безъ васъ я бы вѣкъ былъ дуракомъ. Какъ мнѣ васъ благодарить!.. Господи! какъ вы были вчера прекрасны! Много къ вашей бабушкѣ съѣхалось гостей на именины — никого лучше васъ не было. Какъ у васъ локоны вились, какъ глаза блестѣли. Смотрѣлъ я на барышень Мариныхъ, на Авдотью Ѳедоровну — посмотрѣлъ да и отвернулея... Вотъ, вѣдь, кажется и разряжены... а вы и просто одѣты, да глазъ не отведешь... Видѣлъ я, какъ вы пошли по аллеѣ, подъ руку съ новымъ сосѣдомъ, что изъ Петербурга недавно пріѣхалъ. Какая васъ была парочка! какъ онъ славно одѣтъ и все въ лорнетъ смотритъ. Что-то онъ говорилъ съ вами?.. Господи! какъ я подумаю, что я противъ него! И что на мнѣ за сюртукъ, изъ какого толстаго сукна!.. Какъ бы меня, кажется, въ этокое общество ввели, я и поклониться бы не умѣлъ, совсѣмъ бы потерялся. Вы вчера, я думаю, не вспомнили, что есть человѣкъ, у котораго въ глазахъ темнѣетъ и сердце бьется такъ, что дышать боль-

но, когда онъ на васъ смотритъ? Да и гдѣ же!.. Не гнѣвайтесь, что пишу вамъ это.

Что это вы мнѣ за книжку дали! Сегодня я всю ночь не спалъ: окошки всѣ растворилъ,—душно стало, стѣны давили меня... летать хотѣлось, да пѣть, только не изъ пѣсенника, а что-нибудь новое... Думалъ, что умираю,—такое со мной чудное дѣлалось. Ахъ, что вы со мной сдѣлали!.. Въ головѣ у меня огонь, въ сердцѣ огонь... духъ захватываетъ... Люблю я васъ! пусть вы это узнаете, пусть вы разсердитесь,—все мнѣ легче будетъ, чѣмъ таить. Видно, я помѣшался... Хорошо, что вы не передо мной въ эту минуту—все бы забылъ,—обнялъ бы васъ, поцѣловалъ!.. Пишу это и чувствую тоже, что человѣкъ, который летитъ съ закрытыми глазами въ пропасть...

Вы сердитесь! Боже мой, Боже мой! Зачѣмъ, за что вамъ гнѣваться? вы стали со мной такъ суровы и холодны. Вамъ, можетъ быть, обидно, что васъ любитъ такой бѣдный и ничтожный человѣкъ, какъ я? Знайте, я уже не ничтоженъ послѣ того, какъ узналъ васъ; въ сердцѣ у меня есть кладъ, который не отдамъ ни за какія богатства... Что же это со мной? Какъ я смѣю писать вамъ такъ смѣло? Я-ли это? Нѣтъ, это не я, а другой человѣкъ;—я не осмѣлился бы писать такъ. Простите вы меня, не гнѣвайтесь: я ни слова больше не упомяну о любви моей; позвольте только въ послѣдній разъ написать, что я люблю васъ!.. Мнѣ легче отъ этого.

Посмѣялся я сегодня, проснувшись: открылъ глаза, вижу, матушка стоитъ у меня въ ногахъ, скрестивши руки, съ печальнымъ лицомъ; Мавра-просфирня, читаетъ шопотомъ свои *наговоры*, разводитъ надо мной руками и плюетъ на всѣ стороны. Я вскочилъ. «Что ты, матушка? что вы, сума

что-ли сошли?» Но она, вмѣсто отвѣта, вспрыснула меня холодной водой, отчего я вздрогнулъ». Да зачѣмъ же это, матушка? я здоровехонекъ!» (А просфирня все шептала свои наговоры).— «Полно, дружокъ ты мой, ты здоровехонекъ? Видно, черный глазъ на тебя посмотрѣлъ, или злые люди *напустили*. Голубчикъ ты мой! Вѣдь ты и самъ не вѣдаешь,—по ночамъ не спишь, говоришь такое чудное, во свѣ вскакиваешь и кричишь, такъ что меня страхъ беретъ. Выпей-ка лучше, благословясь, вотъ этой водицы наговоренной». — «Выкушайте, сударь» — промолвила Мавра. И когда я выпилъ, чтобы успокоить матушку, Мавра сказала: «Теперь Богъ *милостивъ*—все пройдетъ». Ахъ, не знаютъ онѣ, что не заговорить и не отчитать имъ моей болѣзни! Увижу-ли васъ сегодня? Будьте такъ добры, придите на ваше любимое мѣсто!

Будь я богатъ, я такъ же бы могъ ѣхать съ вами рядомъ на чудесной лошади и смотрѣть въ лорнетъ на небо и на васъ, и, склонясь, разговаривать съ вами, какъ вчера петербургскій... А какъ вы хороши въ этомъ длинномъ, синемъ платьѣ, въ шляпѣ съ голубымъ перомъ!.. Какъ вы близко около него ѣхали! И не замѣтили меня, а, кажется, я стоялъ у самой дороги... И хорошо, что не замѣтили: я бы не зналъ, что дѣлать—поклониться или нѣтъ? Еще, пожалуй, петербургскій насмѣялся бы, что у васъ такой знакомый; пожалуй, вы бы устыдились... я бы, кажется, на мѣстѣ умеръ!..

Какъ вы добры!—вы не забыли меня, вы подарили меня вчера ласковымъ словомъ!.. Какъ подумаю, что я такъ молодъ и что мнѣ долго еще жить, то меня беретъ страшная тоска. Знаете-ли, я ужъ не боюсь теперь смерти, право, не боюсь. А что еслибы я умеръ—пожалѣли-ли бы вы обо мнѣ? Можетъ быть, заплакали бы... Вы не хотѣли и минutki вчера побыть со мной! куда же вы торопились? Вы,

можетъ, боялись, чтобъ я не сталъ говорить вамъ о моихъ глупыхъ чувствахъ. Ахъ, чего вамъ бояться... я дерзокъ только на бумагѣ... при васъ я нѣмъю и теряюсь... Только позвольте писать вамъ... Небо что-то хмурится, да и птицы летаютъ стадами,—видно непогода будетъ. Помѣшаетъ она вамъ гулять!.. пожалуй, долго васъ не увижу;—грустно, а дождя надо для травы и хлѣба: избави Богъ прошлогодняго неурожая!

Правду-ли это вы сказали вчера, что скоро уѣзжаете, что ужъ третій мѣсяцъ какъ вы здѣсь?

Когда же время прошло? Да нѣтъ, вамъ, можетъ, такъ показалось! Давно-ли вы здѣсь? Да и какъ вы поѣдете? Вамъ теперь нельзя ѣхать—дороги скверныя: все дожди шли, нагрязнило; еще, пожалуй, экипажъ сломается, несчастье какое случится... А что же будетъ со мной? Что будетъ?! Царь небесный! куда я дѣнусь, что стану дѣлать, кому письма писать, какъ жить буду? Приду въ рошу, буду васъ ждать понапрасну! не придете вы, не увижу я васъ! Меня всѣ здѣсь считаютъ больнымъ или помѣшаннымъ. Можетъ, оно и такъ,—Богъ знаетъ, что со мной дѣлается: ночи не сплю, ѣсть почти ничего не ѣмъ... только и думаю, какъ бы увидѣть васъ—увижу еще больше обезумѣю. Скажите вы мнѣ всю правду: точно я помѣшался? Ну, что ужъ скрывать... Божья воля, — помѣшался, такъ помѣшался, нечего дѣлать... тяжело только...

Да, это правда... вы уѣзжаете! и не уйдешь отъ этой правды, какъ не уйдешь отъ смерти, какъ ни обманывай себя... Повѣрите-ли, у меня точно камень на сердцѣ; тоска безвыходная, и не выскажешь ее, и не выплачешь! куда ни гляну, вездѣ тоска! По небу облака несутся—я говорю имъ: унесите, облака, тоску мою, далеко, далеко—на край свѣта бѣлаго; бросьте ее въ глубину моря бездоннаго,—не утонетъ-ли она тамъ?... или, лучше, соберитесь въ черныя

тучи и разбейте ее стрѣлами громовыми, сожгите молніями огневыми. Облака несутся мимо, а тоска остается на сердцѣ. Воетъ вѣтеръ, крутитъ листья въ воздухѣ, — я говорю ему: унеси, вѣтеръ, тоску мою, развѣй ее, размыкай по всему свѣту!... Мимо несется вольный вѣтеръ, свистеть и завываетъ свою пѣсню, а тоска остается на сердцѣ... Цвѣтутъ на землѣ цвѣты, зеленѣетъ трава, — я падаю къ землѣ и говорю: раскройся ты, мать-сыра земля! прими въ себя тоску мою и выпусти ее на свѣтъ темнымъ лѣсомъ; пусть въ этомъ лѣсѣ живутъ черные вороны, да лютые звѣри... Безотвѣтна земля: цвѣты на ней распускаются, зеленая трава колышется, — а тоска остается на сердцѣ... Что будетъ со мной? До чего доведетъ она меня? Не на радость, видно, родился я на свѣтъ, а на горе тяжелое... Прощайте, прощайте, но не скоро вы меня забудете, — вѣтеръ принесетъ вамъ вздохъ мой; во снѣ вы увидите мой образъ; заиграетъ музыка — и вы вспомните про любовь мою...

— Право тутъ есть поэзія, Вѣра. Ты изъ всего умѣешь извлекать ее... Да полно же, что задумалась?

— Ахъ, Catherine! мнѣ грустно, какая-то неодолимая жальность наполняетъ мнѣ сердце... Что ежли? Право, я не хотѣла ему зла...

Въ эту минуту большая ночная бабочка, обольщенная свѣтомъ лампы, упала съ опаленными крылышками, на разбросанныя по столу письма.

— Посмотри, сказала Вѣра ея подруга, — ты точно также виновата, какъ огонь, которымъ это глупое насѣкомое опалило себѣ крылья.

Вѣра улыбнулась.

Въ комнату вошелъ мужчина благородной и пріятной наружности, котораго она встрѣтила взоромъ нѣжнаго пріѣта. Это былъ мужъ ея.

— Поди, мой другъ, сказалъ онъ, обращаясь къ Вѣрѣ, — попробуй твой новый рояль.

Два года спустя послѣ этой сцены, по проселочной дорогѣ, ведущей въ село Красавино, ѣхала щегольская коляска. Было ясное майское утро; въ воздухѣ разносился запахъ молодыхъ березъ и пихтъ, которыя зеленой стѣной стояли по обѣимъ сторонамъ дороги.

Молодая, прекрасная женщина сидѣла въ коляскѣ и, казалось, съ наслажденіемъ вдыхала утреннюю, ароматическую свѣжесть, и съ живымъ интересомъ смотрѣла на открывшійся передъ нею ландшафтъ, на первомъ планѣ котораго видѣлся большой господскій домъ, съ зелеными ставнями, обшитый тесомъ; за нимъ сверкала глава сельской церкви, въ сторонѣ тянулся рядъ избъ, съ струями дыма надъ крышами. Все это было облито моремъ зелени и позолочено яркими лучами солнца. Звукъ сельскаго колокола вывелъ молодую женщину изъ ея задумчиваго созерцанія.

— Поѣзжай поскорѣе, Иванъ, сказала она кучеру, — мнѣ хочется поспѣть къ обѣднѣ. (Это было въ воскресенье).

— Сейчасъ, матушка, Вѣра Ивановна, дорога то, извольте видѣть, очень колыста.

И минутъ черезъ пять, коляска въѣхала на господскій дворъ, въ то самое время, какъ къ крыльцу подавали старинныя дрожки съ фартуками, и на крыльцѣ появилась хозяйка, старушка лѣтъ 60-ти, въ темномъ камлотовомъ капотѣ, въ кисейномъ, съ широкими сборками, чепцѣ, ведомая двумя краснощекиными служанками, въ ситцевыхъ платьяхъ и бѣлыхъ коленкорovýchъ косынкахъ. Она уже сходила съ крыльца, чтобъ ѣхать къ обѣднѣ.

— Вѣрочка! ахъ, Боже мой!... Ты-ли это другъ мой! Вотъ, неожиданная радость!

— Бабушка! ангелъ мой!

Затѣмъ послѣдовали объятія и поцѣлуды, потомъ обѣ служанки бросились къ ручкѣ Вѣры Ивановны.

— Дуня! Лиза! здравствуйте, мои милыя!

Черезъ минуту, вся дворня сбѣжалась съ радостными восклицаніями здороваться съ Вѣрой. Всѣ они любили ее, и не мудрено: Вѣра, оставшаяся сиротою, выросла на глазахъ

этихъ добрыхъ людей. Она здоровалась съ ними съ такой добротой и привѣтливостью, что у нѣкоторыхъ навертывались слезы.

— Не напиться-ли сейчасъ чаю? говорила Надежда Алексѣвна, — такъ звали бабушку Вѣры, — ты, я думаю, устала съ дороги.

— Нѣтъ, бабушка, я поѣду съ вами къ обѣдни, а послѣ ужъ вмѣстѣ напьемся чаю.

— Что же, мой ангелъ, супругъ твой? Здоровъ-и онъ?

— Слава Богу! недѣли черезъ двѣ хотѣлъ сюда прѣхать.

— Неужели? очень рада! я ужъ давно его не видала.

— Вы не найдете въ немъ никакой перемѣны: также милъ и добръ, какъ былъ прежде.

— Благодарю Господа, что ты счастлива, мой другъ!

Взаимные вопросы и освѣдомленія прервались только при входѣ на паперть. Неожиданное появленіе Вѣры распространило легкій шопотъ въ церкви, наполненной народомъ. Вскорѣ шопотъ затихъ, одна Агафья Васильевна, помѣщица 30 ти душъ, съ пятью своими дочерьми, долго не могла успокоиться и поминутно оглядывалась въ ту сторону, гдѣ Вѣра, съ истинно христіанскимъ смиреніемъ, стояла на колѣняхъ подлѣ своей бабушки. Дочки же ея безпрестанно поправляли и ошипывали свои наряды.

По окончаніи службы всѣ сосѣди и сосѣдки наперерывъ здоровались съ Вѣрой. Священникъ самъ вынесъ ей прощору и поздравилъ съ прѣздомъ. Надежда Алексѣвна, по своему состоянію и достоинствамъ, занимала между прихожанами первое мѣсто.

Долго Вѣра, смотря на выходящую изъ церкви толпу, глазами искала въ ней кого-то; но этого кого-то вѣрно тамъ не было, потому что она вздохнула и отворотилась. Былъ часъ 9-й утра. Вѣра грустно шла по кладбищу. Солнце роскошно обливало своими лучами церковь и чудно играло между зеленью березокъ, которыя дружно окружали одну могилу, покрывая ее трепетной тѣнью. Эта купа молодыхъ деревьевъ казалась отраднымъ оазисомъ на широкомъ кладбищѣ.

— Бабушка! сказала Вѣра, показывая на березы, — я не помню этого... кто тутъ похороненъ?

— Это, мой другъ, заговорила старушка, опираясь на свою палку и служанокъ, чтобъ подняться на дрожки,—могила Федюши Мирова, сына бѣдной нашей сосѣдки. Онъ умеръ осенью, въ тотъ годъ, какъ ты у меня гостила. Мать и сосѣдки увѣряютъ, что его *испортили*, что злые люди на него *напустили* болѣзнь... Что ты, мой другъ, здорова-ли?

— Я... ничего, бабушка... я слушаю...

— Но это вздоръ; дѣло въ томъ, что онъ помѣшался, не то, чтобы совсѣмъ сошелъ съ ума, а такъ впалъ въ сильную меланхолю: по недѣлямъ ничего не говорилъ; цѣлыя ночи, въ осенній холодъ, проводилъ вотъ въ этой рощѣ, которую ты любила... вѣрно тамъ и простудился. Странная фантазія пришла ему въ голову: просить мать, чтобы насадила кругомъ его могилы березокъ изъ этой рощи. У бѣдной старушки некому было и этого сдѣлать; она пришла ко мнѣ въ слезахъ, съ просьбой помочь исполнить послѣднее желаніе сына... Вотъ и тотчасъ же и послала людей посадить березокъ.

— Вы мнѣ, бабушка, не писали объ этомъ.

— Э, мой другъ, что за радость наполнять письма извѣстіями о смерти людей, совершенно для тебя чужихъ, едва знакомыхъ... Вотъ, слава Богу, мы и пріѣхали! Милости просимъ ко мнѣ, сказала Надежда Алексѣевна, обращаясь къ сосѣдямъ, которые въ жаркихъ разговорахъ о пашнѣ, посѣвъ и скотѣ шли за тихо ѣхавшими дрожками. Черезъ минуту самоваръ весело шипѣлъ передъ ними.

Послѣ обѣда, когда, слѣдуя блаженному, деревенскому обычаю, всѣ улеглись отдыхать, Вѣра грустно стояла у могилы своего знакольца.

— Я не хотѣла, я не думала сдѣлать тебѣ зла! тихо проговорила она, склоняясь къ зеленой травѣ, покрывавшей могилу.

Ярко блистало весеннее солнце, упойтельно синѣло дале-

кое небо, тихо, сладостно шептали молодые листья березъ; — и, вотъ, изъ ближней рощи, понеслись звуки соловья, разливаясь гармоническими струями... Сладкое, невѣдомое очарованіе овладѣло душою молодой женщины.

1847.

ОТРЫВКИ ИЗЪ ДНЕВНИКА МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Нельзя предугадать своихъ собственныхъ ощущеній:— прежде я думала, что, разставшись съ маменькой, умру съ тоски и горя. Притомъ же ѣхать одной, съ мужемъ, за 600 верстъ, черезъ двѣ недѣли послѣ свадьбы, это было такъ страшно! Правда, я много плакала, прощаясь съ родительскимъ кровомъ, сердце у меня сильно ныло, но все не такъ, какъ я думала, и въ тотъ же день, вечеромъ, я и перестала тосковать и плакать... Какъ я еще глупа! Теперь мнѣ ни весело, ни грустно, только скучно немного одной, въ этомъ огромномъ домѣ, особливо въ дурную погоду, когда нельзя гулять въ здѣшнемъ прекрасномъ, тѣнистомъ саду.

— Не заставляйте меня, ради Бога, хозяйничать, сказала я вчера мужу.

Онъ улыбнулся и отвѣчалъ:

— Я и не думалъ искать въ тебѣ хозяйки; ты можешь заниматься чѣмъ угодно; въ домѣ у меня старинный, хороший порядокъ. Читай, гуляй, работай, дѣлай, что хочешь.

Странное дѣло! не смотря, что онъ такой добрый, я, какъ будто, боюсь его... Мнѣ кажется, онъ не любитъ меня! онъ не оказалъ мнѣ ни одной живой ласки, кромѣ холодныхъ поцѣлуевъ въ лобъ,—какъ, бывало, всегда цѣловалъ меня папѣ,—онъ всегда такъ серьезень, что мнѣ при немъ становится тяжело, и одна—я дышу свободнѣе. Удивительно, какъ это я не влюблена въ него? онъ очень хорошъ! вы-

совій, стройный, съ густыми темнорусыми кудрями, съ прекрасными, правильными, немного холодными чертами лица.

Вчера мужъ былъ у Слоескихъ; онъ почти всякій день у нихъ бываетъ; впрочемъ, это такіе близкіе сосѣди... Я рада, что ему тамъ весело; со мной онъ сталъ бы скучать. Я сидѣла одна, въ сумерки, задумалась и такъ живо перенеслась домой, что совсѣмъ забыла о своемъ замужествѣ и переселеніи сюда. Казалось, что я сижу въ нашей желтой комнатѣ и, въ растворенныя двери, вижу, какъ въ диванной маменька разливаешь чай; около нея тѣсятся братья и сестры, одинъ только черноглазый Митя вскарабкался ко мнѣ на колѣни, обнялъ мою шею ручонками и, какъ всегда, осыпалъ лицо мое поцѣлуями, приговаривая: «какъ я тебя люблю, Миня! какая ты хорошенькая!» Я сдѣлала движеніе, чтобы обнять его, открыла глаза и все исчезло: я была одна, въ темнотѣ, въ большой, высокой комнатѣ. Мнѣ вдругъ стало страшно и больно... я дернула сонетку, и черезъ минуту явился Николай,—мужиниъ камердинеръ, — и ледянымъ голосомъ произнесъ: «что прикажете»? *Огня!* сказала я и вспомнила добрую фигуру нашего стараго Василья Никифорыча, его усердный голосъ, когда онъ, бывало, являлся на зовъ, спрашивалъ меня: «что прикажешь, матушка»? вспомнила его слезы, при прощаньи со мною... Сердце у меня неволью сжалось, я бросилась на диванъ и горько заплакала. Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ мужъ.

— Что это, слезы? сказалъ онъ съ досадою,—о чемъ?

— Такъ, мнѣ взгрустнулось, отвѣчала я.

— Начинается исторія!.. проговорилъ онъ вполголоса, про себя; потомъ произнесъ громко:—Если вы воображали, что я буду судить все съ вами и звать, то предупреждаю—вы ошиблись.

Эти слова такъ оскорбили меня, что я поблѣднѣла и почувствовала это.

— Увѣряю васъ, сказала я мужу, и голосъ мой дро-

жалъ,—что мнѣ и въ голову не приходила подобная мысль.

Онъ быстро взглянулъ на меня и сказалъ тономъ болѣе мягкимъ:

— Въ такомъ случаѣ я ошибся, и—виноватъ.

Тутъ онъ протянулъ мнѣ руку, я пожала ее и отъ души простила ему. Чувствую, что я самое безсильное и жалкое созданіе.

Какъ несносны мнѣ здѣшнія дамы—сосѣдки! За что онѣ такъ подозрительно на меня смотрятъ? Отчего ихъ рѣчи, хотя и ласковыя, дѣйствуютъ на меня раздражительно? Зачѣмъ онѣ хотятъ унижить меня названіемъ ребенка? Ахъ, да если сказать правду, я точно ребенокъ противъ нихъ, ребенокъ самый глупый! Я не умѣю ни быть любезной, какъ онѣ, ни находить удовольствіе въ ихъ разговорахъ... Не могу надивиться искусству, съ которымъ разсказываютъ онѣ о самыхъ ничтожныхъ случаяхъ ежедневной, безцвѣтной жизни и наслажденію, съ которымъ разговариваютъ, по цѣлымъ часамъ, о томъ, какъ лучше отдѣлать платье—буфами или оборками? Въ подобныхъ случаяхъ всегда выходятъ споры, а нерѣдко и ссоры: дамы раздѣляются на партіи: однѣ держатся буфъ, другія оборокъ... Какъ же имъ любить меня, не пристающую ни къ той, ни къ другой сторонѣ? Имъ чужды мои наслажденія: онѣ никогда не поймутъ, что можно, забывши какого фасона на васъ платье, находить отраду подъ яснымъ небомъ, въ тѣни деревъ, въ благоуханіи и красотѣ цвѣтовъ...

Какъ хороша Слонская! Что за глаза: черные огненные, чудные! Какія плечи, руки! Мужъ ея почти старикъ, отставной генералъ, съ сѣдыми усами, съ быстрыми глазами, живой, веселый. Слонская умѣе всѣхъ здѣшнихъ дамъ, ея разговоръ увлекателенъ и, подъ часъ, блещетъ поэзіей... Мужъ мой давно знакомъ съ нею, между ними дружба. Никогда онъ не бываетъ такъ хорошъ и веселъ, какъ въ ея

присутствіи; изъ суроваго и молчаливаго онъ превращается въ самого любезнаго, умнаго, очаровательнаго мужчину. Счастливая женщина! Какой волшебной силой обладаетъ она? Я чувствую,—тягостное чувство!—что я при ней лишняя; что она, какъ солнце звѣзды, затмѣваетъ меня своей роскошной, свергающей красотой... Оттого я всегда неловка при ней; оттого краснѣю при ея появленіи. Мнѣ досадно за это на себя: боюсь, чтобы мужъ не перетолковалъ этого иначе. Видитъ Богъ, во мнѣ нѣтъ ни капли зависти! Мнѣ только непонятно, зачѣмъ онъ женился на мнѣ; зачѣмъ добровольно обрекъ себя на пытку называть женою женщину нелюбимую? Зачѣмъ и у меня отняли всѣ надежды на счастье? Какая-то холодная, тяжелая тоска закрадывается мнѣ въ душу, и нѣтъ благодѣтельной руки, которая-бы облегчила меня силою дружбы и участія! Я одна... одна! страшно!..

Бумага сдѣлалась для меня другомъ и собесѣдникомъ,— ей пересказываю я грустную жизнь мою, и мнѣ утѣшительно видѣть мысли мои повторенными на ней. Я никому не смѣю сказать того, что пишу здѣсь, и соглашусь скорѣе умереть, нежели наметнуть маменькѣ о ранахъ моего сердца, растерзать ее моею тоскою. Я не хочу имѣть жестокой отрады — отравлять другихъ своимъ несчастіемъ. Несчастіе... Боже мой! я несчастна... Какъ странно звучитъ это слово, прежде столь для меня чуждое! Несчастная! и я имѣю полное право сказать это о себѣ... Да, лишняя, отвергнутая, ненавидимая, охваченная, въ самомъ разцвѣтѣ горячаго сердца, мертвящимъ холодомъ окружающей меня жизни, я чувствую, какъ замираютъ во мнѣ всѣ лучшія движенія души, какъ застываютъ слезы на глазахъ моихъ.

Получила письмо отъ маменьки, оканчивающееся словами: «Прощай, ангель мой! будь здорова, люби мужа, будь кротка, какъ была у меня; если и найдешь въ немъ какіе

капризы. — сноси ихъ терпѣливо, и Богъ наградитъ тебя». *Люби мужа!* вотъ ужасное приказаніе!... и я исполняю невольно: еслибы онъ захотѣлъ, я была бы его другомъ, сестрою, рабою... А между тѣмъ, неужели это печальное чувство, которое я къ нему имѣю, — любовь? Та любовь, которая въ мечтахъ моихъ сіяла лучезарнымъ свѣтиломъ?... которая, говорятъ, сводитъ небо въ душу человѣка и мрачные дни дѣлаетъ прекрасными и свѣтлыми?... Нѣтъ, нѣтъ!... но она есть, она существуетъ, я вижу это, вижу по всему... небо и земля говорятъ мнѣ о ней, и бѣдное сердце мое жаждетъ ея...

Уединеніе возвышаетъ меня, развиваетъ мой умъ, даритъ меня ощущеніями высокими, прежде невѣдомыми. Только въ одномъ уединеніи нахожу я силы молиться и плакать. Присутствіе людей сжимаетъ мнѣ душу.

Вчера, въ 12-мъ часу ночи, мужъ возвратился отъ Слонскихъ блѣднѣе обыкновеннаго; онъ нашелъ меня одну, работающею при свѣтѣ лампы; я подняла было голову, чтобъ поздороваться съ нимъ и испугалась его блуждающаго взора и душевной тревоги, выразившейся на лицѣ его. Не говоря ни слова, онъ бросился на диванъ и, казалось, искалъ успокоенія. Мнѣ хотѣлось поцѣловать его въ блѣдный и благородный лобъ, гдѣ, казалось, крупными буквами судьба написала страшное слово: страданіе, — но какая-то неодолимая сила меня удерживала. Опершись на руку, я стала глядѣть на него; но онъ, встрѣтя мой взглядъ, проговорилъ почти съ досадою:

— Почитай лучше что нибудь.

Я раскрыла Гётевы «Wahlverwandschaften». Грустное чувство придало моему голосу особенную мягкость и нѣжность. Скоро глаза его закрылись, лицо приняло выраженіе спокойствія, — онъ уснулъ. На стѣнныхъ часахъ въ залѣ про-

было часъ, когда я, оставя его спящимъ, вышла изъ комнаты.

Сегодня утромъ, когда я разливала чай, вошелъ мужъ. На лицѣ его не было и слѣда вчерашней тревоги. Онъ съ улыбкой протянулъ мнѣ руку, и на вопросъ мой, каково онъ провелъ ночь, отвѣчалъ:

— Твой голосъ подѣйствовалъ на меня успокоительно и отраднo; я давно ужъ не спалъ такъ сладко. Поздравляю тебя, ты владѣешь талисманомъ...

— Усыпленія? договорила я съ улыбкой.

— Есть въ жизни минуты, продолжалъ онъ, — когда не только сонъ, самую смерть принялъ бы, какъ величайшее благо.

И потомъ прибавилъ, желая прервать разговоръ, съ прежней сухостью и холодностью:

— Дай мнѣ скорѣе чаю.

Черезъ полчаса онъ отправился верхомъ къ рощѣ, которая отдѣляетъ нашу усадьбу отъ усадьбы Слонскихъ и закрываетъ насъ другъ отъ друга. Эта роща казенная и зовется *царскою рощей*.

Какое униженіе быть предметомъ любопытно-глупаго сожалѣнія собственныхъ слугъ своихъ!... Сегодня, проходя мимо двѣичьей, я слышала, какъ горничныя сказали вслѣдъ мнѣ: «Бѣдная барыня!»

Вчера, гуляя утромъ въ саду, я видѣла, какъ садовникъ выкапывалъ розовый кустъ, чтобъ пересадить его на другое мѣсто. Бѣдное растеніе безжалостно отрывали отъ родной почвы, но оно было свѣжо и зелено, какъ будто ничего не чувствовало; только потрясаемое рукою садовника роняло свѣтлыя капли небесной росы съ своихъ листьевъ...

Чудно! мнѣ стало такъ жаль, такъ жаль его, какъ будто между нами была тайная, невидимая связь...

Пересаженный кустъ погибъ... я оросила слезами его засохшіе листья, — и будто тайный голосъ говорилъ мнѣ, что въ немъ я оплакивала себя...

Мнѣ было бы легче, еслибы онъ былъ жестокъ и вспыльчивъ. Его леденящая молчаливость, его спокойная холодность давятъ меня. Я даже рада, что онъ такъ мало бываетъ дома: розно — я думаю о немъ съ какой-то пріятностью; при немъ—страдаю! На душѣ у него, должно быть, очень тяжело... Чѣмъ-бы я не пожертвовала, чтобъ облегчить его! Но онъ безжалостно и жестоко отталкиваетъ мое участіе...

Скоро день рожденія мужа; къ намъ соберутся сосѣди, будетъ музыка, танцы. Хочу успокоиться, чтобъ лицо мое приняло выраженіе удовольствія и душевнаго міра: замучать меня эти покачиванья головой и любопытно-пронзительные взгляды сосѣдок... Презрѣніе мужа—вотъ, самое унизительное несчастіе, отъ котораго мнѣ такъ тяжело и неловко, что я бы съ радостію умерла.

Съ нѣкотораго времени, я чувствую неодолимую жажду воздуха: мнѣ бываетъ невыносимо душно въ комнатахъ. Едва только проснусь и пролепечу молитву, какъ, сбрасывая съ себя ночной чепчикъ, бросаюсь къ окну, растворяю его и спускаю за него руви и голову. Волосы мои длинные, — длинные, шелковистые волосы разсыпаются густыми волнами по плечамъ и лицу. Вѣтеръ начинаетъ играть ими... О, какъ любить ихъ вѣтеръ! Какъ и я люблю этотъ легкій, проникающій меня отрадной свѣжестью вѣтеръ! Съ сама-

го дѣтства, я люблю его съ какимъ то восторженнымъ увлеченіемъ; съ самаго дѣтства, съ страстнымъ удовольствіемъ, люблю отдаваться его ласкамъ, и, увѣрю, никто не ласкалъ меня такъ нѣжно и изящно. Еслибъ вы видѣли съ какой граціозной легкостью перебрасываетъ онъ мои доканы! то ревниво закроетъ ими лицо мое, то, вдругъ, причудливо, отброситъ ихъ назадъ и, утихая на мгновение, будто любитъ мною... Появятся-ли слезы на глазахъ моихъ— онъ осушаетъ ихъ; стѣснится-ли грудь моя тоскою— онъ освѣжаетъ ее своимъ дыханіемъ. Когда я въ саду, мнѣ кажется, онъ измѣняетъ цвѣтамъ и занимается единственно мною. Когда дурная погода держитъ меня въ комнатѣ, въ грустныхъ пѣсняхъ его, въ стукѣ ставней, мнѣ слышится тоска его обо мнѣ. Безсильны были всѣ старанія маменьки излечить меня отъ этой безумной мечты; я не хотѣла слушать, что вѣтеръ есть слѣдствіе неровности воздуха и осталась при своемъ убѣжденіи, что онъ духовно-разумное существо, которое любить и ласкаетъ меня... Еслибы я высказывала это убѣжденіе какъ нибудь въ разговорѣ моимъ знакомымъ, они, безъ всякаго сомнѣнія, сочли бы меня помѣшанной... Кто знаетъ, можетъ, я точно безумная? Эта мысль ужасаетъ меня... и некому разуверитъ и успокоитъ меня! Впрочемъ, маменька вѣрно бы мнѣ сказала это, но она никогда не называла меня безумной, а очень часто «добрый, мечтательной своей Миной». Милая, милая маменька! Какъ часто я замѣчала, что она, со слезами на глазахъ, грустно смотрѣла на меня, когда я, бывало, дѣломъ, безопасно и радостно, вплетала себѣ въ волосы цвѣты передъ большимъ зеркаломъ въ гостиной и когда спрашивала ее, съ ласками и поцѣлуями, отчего она такъ печально на меня смотритъ? она отвѣчала:

— Я думаю, что тебя, можетъ быть, ждетъ въ жизни много горя, прекрасное дитя...

Я бросалась въ ея объятія и плакала, сама не зная о чемъ. Милая маменька! Она не знаетъ, какъ страдаетъ ея Мина!.. Или нѣтъ!—вѣрно ея вѣщее сердце чувствуетъ это... Какъ мнѣ хочется плакать!

Любовь, божественное чувство! ты не освятишь души моей! Солнце жизни! ты не взойдешь для моего сердца и не сведешь на него весны, съ цвѣтами и счастьемъ.

Что-то гнететъ меня... на груди тяжело, глаза сухи... болѣзненная тоска сдавила сердце... Какія страшныя минуты! О, небесная благодать, пошли мнѣ отраду!

Страшный кризисъ душевной болѣзни моей прошелъ, но я впала въ какое то физическое и нравственное безсиліе. Въ этомъ безсиліи есть своя, особенная прелесть... особливо, когда вѣтви деревь склоняются надъ головой и ясное небо дышетъ такой любовью!..

Сегодня у насъ деревенскій балъ; ужъ, —вечеромъ темная зелень сада заблеститъ огнями. Слуги суетятся, все въ домѣ приняло праздничный видъ, даже лицо новорожденного сіяетъ какою-то странной радостью.

Наконецъ и я распустила мои длинныя, свѣтло-русые локоны, надѣла бѣлое платье, и жду... Экипажъ Слоновыхъ приближается... Какимъ огнемъ загорѣлись глаза моего мужа! Какъ онъ хорошъ въ эту минуту!

Увы! не зная радостей любви, я пью, полною чашей, ядъ ревности! Я обманывала себя, безумная, думая, что слажу съ тяжелой участью, назначенной мнѣ, чувствую — она задавитъ меня... Мнѣ-ли, столь молодой и неопытной, выдержать такую страшную судьбу! —Случай, привелъ меня слышать ихъ страстныя рѣчи, слышать въ первый разъ въ жизни. Эти рѣчи отравили меня и внесли въ душу мою невыразимое страданіе... Странно, голова моя и теперь кружится... Кто объяснить мнѣ эти непонятныя порывы моего бѣднаго сердца? Ревность—чувство, которое я презирала, какъ недостойное благородной души человѣка... и,

вотъ, оно здѣсь, въ моемъ сердцѣ... оно шепчетъ мнѣ въ уши все, что я вчера слышала такъ неожиданно:

— Пойми мои страданія, Вѣра,—говорилъ онъ ей,— пойми всю силу безумной любви моей, и не отворачивай такъ холодно своей головки; твои ласки—мое единственное благо.

— А жена твоя? сказала она.

— Она есть одно изъ величайшихъ моихъ страданій... видѣть, какъ это доброе, прекрасное существо гибнетъ, снѣдаемое бесплодной жаждой благороднаго и любящаго сердца, и не быть въ состояніи подать ей утѣшеніе изъ страха возбудить въ ея чистой душѣ чувства, на которыя я не въ состояніи буду отвѣчать, — развѣ это не ужасно, Вѣра? Умиравшій отецъ вырвалъ у меня клятву жениться на ней,—я былъ глупъ, я былъ молодъ, Вѣра!.. эта клятва тяжелымъ камнемъ легла на мою душу. Люди назначили насъ съ дѣтства другъ другу, а судьба столкула меня съ тобою... Еслибъ ты знала, какъ глубоко огорчаешь меня иногда, сомнѣваясь въ любви моей! Требуй отъ меня жертвъ, жизни, чего хочешь?

— Жертвъ?—сказала она страстно,—мнѣ ихъ не нужно, мой другъ. Оставь мнѣ счастье пожертвовать тебѣ всѣмъ, что свято и драгоценно для женщины.

И я видѣла, какъ она тихо склонилась къ плечу его, какъ губы ихъ встрѣтились въ жаркомъ поцѣлѣу...

У меня страшно, невыносимо заболѣло сердце, въ глазахъ потемнѣло, голова закружилась, я упала безъ чувствъ на сырую траву... Когда я открыла глаза, небесныя звѣзды тихо сіяли надо мною въ голубой выси; густыя вѣтви старой липы, какъ будто съ участиемъ склонились ко мнѣ... Нѣсколько паръ гуляющихъ, со смѣхомъ и разговоромъ, проходили вблизи; это заставило меня опомниться и занять между гостями мое мѣсто. Сильная лихорадочная дрожь пробѣгала по мнѣ, а лицо горѣло.

Я очень больна, и сегодня провела самую мучительную ночь. Душевные страданія заставили меня забыть нездоровье, но теперь боль въ груди и боку такъ усилилась, что мужъ замѣтилъ и послалъ за докторомъ. Не умереть бы мнѣ, не повидавшись съ маменькой!..

Кровь горломъ... Боже мой, вѣстница смерти!... Пишу къ папенькѣ и маменькѣ, пишу, что мнѣ слишкомъ грустно, слишкомъ тяжело вдалекѣ отъ нихъ, умоляю ихъ пріѣхать. Какъ мнѣ жаль ихъ! Какъ они будутъ горевать обо мнѣ! Докторъ пріѣхалъ, но я знаю, онъ мнѣ не поможетъ, не поможетъ?... Я прочитала это на его встревоженномъ лицѣ. Я должна умереть! Что-жь? Да будетъ воля Милосердаго! Изцѣлилъ бы онъ только больную душу мою!

Сейчасъ мужъ мой получилъ съ почты какой-то толстый пакетъ; взглянувъ на подпись, онъ сказалъ:

— Странно! рука совершенно незнакомая. Распечаталъ, вынулъ цѣлую пачку писемъ, связанныхъ розовой ленточкой и ушелъ въ кабинетъ читать ихъ. Мнѣ стыдно моего любопытства, а хотѣлось бы знать, что это за письма?

Такъ какъ Мина не можетъ знать содержанія этихъ писемъ, попробуемъ заглянуть въ кабинетъ ея мужа и пробѣжать хоть нѣкоторые изъ нихъ. Да ужъ прибавимъ кстатѣ, для любопытныхъ, что письма прислааны пріятельницей Вѣры.

«Наконецъ и сосѣдъ мой пріѣхалъ въ свои владѣнія, съ молодой женой. Горничная моя, Маша, сказывала, что она очень молода, недурна и что ее зовутъ Миной. Я много смѣялась надъ этимъ проворствомъ развѣдывать. Мина!— это имя какъ-то фантастически звучитъ!.. Сказать-ли тебѣ всю правду? мысль, что Дмитрій женатъ, что жена его

хороша, что онъ можетъ надменно показать мнѣ, что онъ счастливъ и безъ меня,—эта мысль не даетъ мнѣ покою. Мнѣ предстоитъ борьба, и я радостно начну ее. Надобно развлечься: надоѣла деревня, надоѣлъ мужъ съ своимъ хозяйствомъ и ревматизмомъ. Я скучаю. Посмотримъ, правду ли ты говоришь о моихъ *всепобъждающихъ* глазахъ... Прощай! пиши мнѣ, что у васъ тамъ дѣлается—только не спрашивай совѣтовъ, я не умѣю давать ихъ. Во всякомъ случаѣ, вѣрь, что Вѣра Слонская любитъ тебя много».

«Помнишь-ли ты альбомъ друга нашего Венцеля? помнишь-ли бѣлокурую головку, на которую мы съ тобой такъ долго смотрѣли,—головку, съ чудными грустными глазами и улыбающимся ротикомъ? Тебѣ нельзя забыть ее,—живая, она сдѣлала мнѣ много зла: она отняла у меня Венцеля!.. И я не могла отомстить! Вообрази, эта головка — точь въ точь головка Мины. Странная игра случая, странное сходство! Лида — идеаль Венцеля и Мина — жена Дмитрія! Въ душѣ моей загорается тревожное чувство,—чувство мести. Не даромъ у меня мать итальянка! Порою, Мина исчезаетъ съ глазъ моихъ,—передо мною Лида, счастливая, гордая, торжествующая. Разъ, я даже назвала этимъ именемъ жену Дмитрія»...

«Дмитрій бываетъ у насъ всякій день; добрый знакъ,—видно, ему скучно съ женой... онъ грустенъ,—ясно, онъ влюбленъ въ меня. Знаешь-ли, о чемъ чаще всего мы съ нимъ говоримъ?—объ его женѣ. Ты посмѣялась-бы, когда-бы услышала, какъ я ловко умѣю *хвалять* ее; подъ какой граціозной формой выставляю ея неопытность, робость, молодость. Не знаю, какая-то враждебная сила дѣйствуетъ во мнѣ... Вчера мы разговорились объ идеалахъ: я, шутя, спросила его, что, еслибъ въ его власти было создать женщину по его вкусу,—вѣрно онъ создалъ-бы Мину? Онъ вспыхнулъ и началъ съ жаромъ описывать мой портретъ... Ты спра-

шиваешь: люблю-ли я Дмитрія? — на этотъ вопросъ мнѣ трудно отвѣчать. Это все равно, какъ еслибъ я спросила тебя! любишь-ли ты книгу, которая тебя занимаетъ, fortunately, которое ласкаетъ твой слухъ пріятными звуками? Отвѣтъ твой на это будетъ моимъ отвѣтомъ».

«Кажется, она начинаетъ понимать наши отношенія; она блѣднѣетъ при моемъ появленіи. Въ ней нѣтъ силы, нѣтъ энергіи; она безпрекословно клонитъ голову подъ удары судьбы,—однакожъ какая-то гордость заставляетъ ее всячески скрывать горе и ревность и казаться веселой. Она безукоризненно чиста. Это меня бѣситъ. Она представляется мнѣ живымъ упрекомъ. Это съ моей стороны глупо. Дмитрій всёмо существомъ принадлежитъ мнѣ,—такъ и должно быть. Въ немъ прежняя любовь ко мнѣ приняла размѣры широкой и глубокой страсти. Это тѣшитъ меня, какъ побѣда тѣшитъ полководца. Подчасъ, страсть Дмитрія увлекаетъ меня и отражается въ моемъ сердцѣ, какъ солнце въ водѣ. Полно тебѣ вѣдать и душить меня моралью! Давно-ли ты стала ханжей! Тебя испортили безъ меня. Прощай! Знай, что я люблю тебя».

«Вчера было рожденіе Дмитрія. У него устроился деревенскій балъ. Гостей съѣхалось много. Половины я не знаю, да и не стоитъ знать. Послѣ двухъ-трехъ кадрили, всѣ разбрелись по саду, который былъ-бы очень недурень, еслибъ не оставался запущеннымъ. Я шла, опираясь на руку Дмитрія. Онъ говорилъ мнѣ о своей любви, о своихъ страданіяхъ. Звѣздное небо, теплый воздухъ, тѣнь деревъ, между которыми мельгали огни, отдаленные звуки музыки,—все это расположило меня къ какой-то мечтательности. Даже легкій трепетъ пробѣжалъ по мнѣ... Я развѣжилась, и на его ласки общалась какія-то жертвы... Мнѣ кажется даже, что въ эту минуту я любила его... Это новая глупость. Безумецъ страстно поцѣловалъ меня... но въ кустахъ что-

то зашевелилось... и очарованіе исчезло вполонину. Через полчаса танцы начались, а во время второй кадрили вошла въ залъ Мина. Я затрепетала, увидя ее, — такъ она была хороша. Полуразвившіеся волосы придавали ей живописный, очаровательный видъ... лицо горѣло, глаза сверкали... Предо мной была Лида.. Къ счастью, Дмитрій смотрѣлъ только на меня»...

«Дмитрій скучный чудакъ и начинаетъ надоѣдать мнѣ своей взыскательной любовью. Онъ, не шутя, воображаетъ меня добродѣтельнѣйшей женщиной; не шутя вѣритъ, что онъ — первая любовь моя!.. Жена его, говорятъ, больна, но онъ мало объ этомъ заботится. Толкуеть о добродѣтели и святыхъ чувствахъ, а самъ ослѣпляется грѣшной страстью; самъ не имѣетъ послѣдняго изъ прекрасныхъ чувствъ — жалости къ бѣдному ребенку, котораго судьба отдала въ его руки. Положимъ — я злой духъ; но зачѣмъ же онъ не ангельскій хранитель?»..

З а п и с к и М и н ы .

Что съ нимъ сдѣлалось? Какой благодатный геній принесъ намъ счастье? зачѣмъ только привнесъ поздно?.. Я до сихъ поръ не могу прійти въ себя отъ неожиданной перемены: пока мужъ читалъ таинственныя письма, я велѣла придвинуть къ растворенному окну кресло, чтобъ насладиться вечернимъ воздухомъ и прощальными лучами заходящаго солнца. Вечеръ былъ чудный, я съ восторгомъ предалась созерцанію Божія величества... Вдругъ, дверь быстро растворилась и вошелъ мужъ. Онъ былъ взволнованъ; но никогда еще лицо его не дышало такой святой, глубокой нѣжностью. Онъ подошелъ ко мнѣ. Я протянула было, по обыкновенію, ему руку, но вмѣсто того, чтобъ взять ее, онъ склонился передо мной на колѣни и сказалъ:

— Мина! ты ангелъ, прикосновенія котораго я недостойнъ.

Я все знаю, все читалъ,—я унесъ это изъ твоего столика.

И онъ подалъ мнѣ мои записки. Я затрепетала...

— Ты не виноватъ, сказала я ему, чувствуя неодоли-
мое влеченіе говорить ему *ты*,—я благодарна тебѣ, ты не
обманывалъ меня; благородная натура твоя не унизилась
до лжи, не смотря на то, что ты страдалъ сильно и глу-
боко.

— А теперь, развѣ я не страдаю?.. онъ склонился ли-
цомъ на мои колѣни... и зарыдалъ! Я прижала его голову
къ моей груди и напечатлѣла поцѣлуй прощенья и любви.
Онъ плакалъ у ногъ моихъ,—онъ, спокойный и холодный!
Это была одна изъ самыхъ высокихъ минутъ моей бѣдной
жизни!

Какъ я слабью! скоро буду не въ состояніи писать.

Я умираю,—а онъ любить, ласкаетъ меня!

— Ты не умрешь, ты не умрешь, мой ангелъ! говорилъ
онъ мнѣ вчера, съ увлеченіемъ цѣлуя мои руки, — ты бу-
дешь жить для счастья, для моей любви...

— Да, если любовь всесильна... отвѣчала я.

Эта грустная сцена была прервана докладомъ Николая,
что «Вѣра Ивановна ѣдутъ»... Я вздрогнула при этомъ
имени.

— Не бойся ее, не бойся этой женщины! тихо прого-
ворилъ мнѣ мужъ, — она не потревожитъ больше нашего
счастья. Скажи, что мы не можемъ принять, продолжалъ
онъ, обращаясь къ слугѣ.—Да, вотъ, погоди, — отдай ей
это...

Тутъ онъ пошелъ въ кабинетъ, откуда вынесъ запеча-
танный конвертъ, который отдалъ Николаю.

— Я расскажу, я все расскажу тебѣ! началъ онъ, обра-
тись ко мнѣ,—только послѣ, не сегодня; теперь мнѣ тяжело
объ этомъ говорить.

Я просила его не говорить, не рассказывать.

Опять заболѣла грудь, такъ что дышать больно. Скоро-
ли пріѣдетъ маменька!..

Я не увижу ихъ, не увижу моихъ милыхъ! слезы невольно льются изъ глазъ при этой мысли. Прощайте, мои несравненные! я умираю... Прощай, пріютъ моего дѣтства! Прощай и ты, мой черноглазый Митя! твои уста перестанутъ скоро лепетать мое имя... Прощайте всѣ, кто меня любилъ и ненавидѣлъ! Смерть все примиряетъ... Прощай и ты, жизнь, полная горечи и минутныхъ наслажденій!.. Въ послѣднихъ дняхъ твоихъ скрыта невыразимая прелесть любви и поэзіи... Прощай, земная природа, единственная страсть моя, высокая и чистая! я умираю!.. Боже! Тебѣ отдаю скорбную душу и сердце,—прими созданіе Твое! Пусть послѣдній вздохъ мой будетъ вздохомъ любви и покорности Тебѣ, Небесный Отецъ! Ты, Котораго, съ колыбели пріучили меня чтить и любить выше всего,—склонись, о, Божественный, съ небесной высоты, къ печальной душѣ моей и Самъ влей въ нее силы и утѣшеніе, которыхъ не можетъ дать немощное человѣчество!.. Я умираю! Боже! тяжело умирать...

— Вотъ, ужъ третій день, какъ и Мина Петровна лежитъ въ сырой землѣ! говорила Авдотья Николаевна своимъ домочадцамъ, черезъ недѣлю послѣ того, какъ Мина писала послѣднія строки своего журнала,—какъ жаль, такая молодая!.. Упокой ее Господи!

— Что дѣлать, матушка, возразилъ мужъ ея, толстый, разсудительный помѣщикъ, отличавшійся особеннаго рода философіей,—всѣ мы умремъ, рано или поздно.

— Оно такъ, Сергѣй Николаевичъ, да какъ-то все тошно видѣть покойника и никакъ не вѣрится, что сама не минешь той-же участи.

— Да ужъ вѣрь-не вѣрь, а смерть придетъ, отъ нея ничѣмъ не отбойришься...

Затѣмъ послѣдовала небольшая пауза, послѣ которой Авдотья Николаевна сказала со вздохомъ:

— Вотъ, подумаешь, какъ умрешь, такъ и лучше-то тебя не будетъ... При жизни, мужъ обращался съ ней такъ,

что и говорить-то грѣшно, а какъ умерла, такъ на себя былъ не похожъ, стоялъ у гроба, какъ мертвый; а она, точно живая лежала! Ахъ, Господи! вотъ, живи, хлопочи, а можетъ, смерть ужъ за плечами...

— Эхъ, полно, матушка, — даже тоску наведла! вскричалъ Сергѣй Николаевичъ, — живой живое и долженъ думать... Велика, лучше, давать обѣдать, ѣсть до смерти хочется... Сегодня у насъ, кажется, вареники?

— Да, и круглый пирогъ съ курицей, печально отвѣчала Авдотья Николаевна.

1848.

ПЕРЕПИСКА.

Иванъ Петровичъ! Пришлите мнѣ, ради Бога, книгъ. Скука страшная! Эта скука ледянымъ гнетомъ тяготѣеть у меня на душѣ. Не знаю, что дѣлать?... Бываютъ же такія ужасныя минуты, когда человѣку все противно! На дняхъ мнѣ принесли горшокъ розъ. Пышно начали онѣ развертываться на солнцѣ; всѣ были свѣжи и прекрасны, какъ вдругъ, одна изъ нихъ, при самомъ разцвѣтѣ, Богъ знаетъ отчего, поблѣднѣла, завяла и спала со стебля. Силы жизненной, что-ли, у ней не достало, или отъ другой какой причины — не умѣю разгадать! Боюсь только, и со мной не сдѣлалось бы того же.

Прощайте! заходите къ намъ на досугѣ.

Что дѣлать! я самъ боленъ тою же болѣзнію; у меня у самого душа, какъ деревянная... Не безпокойтесь, это скоро пройдетъ, особенно у васъ... Вотъ, одѣнутся деревья, зазеленѣютъ луга... Теперь весна похожа на осень, а тамъ ясные дни, теплый воздухъ произведутъ на васъ благодатное вліяніе. Берегите прекрасное души вашей, не давайте ему вянуть отъ жизненнаго холода... Сегодня не могу быть у васъ. Посылаю вамъ нѣсколько книгъ.

Преданный вамъ ***въ.

Благодарю за книги. Шекспиръ заставилъ трепетать меня. Счастливъ тотъ, кому дано разгадать тайну человеческого сердца! Завидую гению, который, силою волшебной власти, самыя страданія превращаетъ во что-то прекрасное и благородное... Передъ такимъ могуществомъ исчезаешь въ своемъ ничтожествѣ! Глупыя, мелкія огорченія терзаютъ мое сердце, какъ будто оно создано для нихъ! Бессильная возвысится надъ омутомъ пошлости, а съ ужасомъ вижу, какъ лучшіе цвѣты сердца гибнуть. Пусть бы еще посрывала ихъ буря,—нѣтъ, черви подъѣдаютъ! Грустно!—Прощайте, до свиданія!

Въ вашемъ письмѣ есть что-то, похожее на желаніе славы... Полноте! не отягощайте вашу душу этимъ новымъ бременемъ. «Я буду жить въ потомствѣ!»—слова, конечно, громкія и завлекательныя; но, Богъ знаетъ, утѣшатъ ли они насъ за гробомъ, а для этой жизни, право, не стоитъ много хлопотать... Зачѣмъ гнаться за невѣрнымъ и далекимъ призракомъ? Сегодня вечеромъ зайду къ вамъ и, можетъ быть, удастся поговорить съ вами. До свиданія!

Что за вечеръ былъ вчера! тихо, ясно, звѣздъ на небѣ безъ счета. Мы долго гуляли по набережной; около меня раздавались рассказы о преферансѣ, и изрѣдка равнодушныя восклицанія: «какая прекрасная погода!» Мнѣ хотѣлось утонуть взоромъ и мыслию въ бездонной лазури небесъ,—а я должна отвѣчать, со всеможной любезностью, на глупѣйшіе вопросы. Какъ желала я встрѣчи съ вами! Мнѣ хотѣлось сказать вамъ только два слова: «какъ хорошо!» но васъ не было!...

Здоровы-ли вы? Разные мелочныя недосуги по службѣ мѣшаютъ мнѣ васъ видѣть... Проклинаю ихъ? — Посылаю вамъ «Утреннюю Зарю». Прочтите «Медвѣдя» съ особен-

нымъ вниманіемъ. Что сказать вамъ? Грустно что то... Раздавшаяся-ли подъ окномъ моимъ русская пѣсня навела на меня эту грусть, или она тайный душевный порывъ?— не знаю. Я судорожно схватился за перо... Писать къ вамъ усладительно, а надежда на вашу доброту заставляетъ меня забывать, что я пишу нескладно и неинтересно. Простите душевно-больному!

Да сохранить васъ Богъ отъ необъяснимыхъ болѣзней души! Наблюдайте внимательнѣе за ея порывами, иначе и вправду она можетъ захворать.—Сейчасъ видѣла я самую здоровую душу въ мірѣ—Глафиру Николаевну П... Вѣчно цвѣтущая и веселая, она засыпала меня городскими новостями, оглушила своимъ звонкимъ смѣхомъ. Это депо вѣстей и пересказовъ. Въ душѣ у нея нѣтъ, кажется, ни малѣйшаго уголка ни для чего возвышеннаго; ей, какъ она сама говоритъ, и грустно никогда не бываетъ... Мнѣ страшно, Иванъ Петровичъ! что, если во мнѣ самой таится будущая барыня, или дама, погруженная съ ногъ до головы въ визиты и наряды и невидящая ничего, кромѣ ихъ, въ жизни? Сильна пошлость, Иванъ Петровичъ! Могуча она... Охватитъ она мою душу своимъ всеобъемлющимъ холодомъ, увлечетъ меня въ мутныя волны свои и поглотитъ все мое святое и прекрасное! Страшно!...

Какъ вамъ не стыдно имѣть такъ мало вѣры въ свою душу и свой умъ! Чего вы боитесь? Вашихъ силъ станеть и не на такую борьбу... Мнѣ кажется, вы слишкомъ много думаете о будущемъ: такъ, пожалуй, настоящее ускользнетъ отъ васъ, и вы, съ сожалѣніемъ оглянетесь на него уже тогда, когда оно сдѣлается воспоминаніемъ. Часто счастье бываетъ у насъ подъ рукою, а мы ищемъ его, Богъ знаетъ, гдѣ... Не разсердитесь-ли вы, если я скажу вамъ: будьте женщиной въ высшемъ значеніи слова, — не ссорьтесь съ

головой, но не забывайте и сердца... 3 № «Библиот. для Чт.» можете продержатъ до поведѣльника.

Преданный вамъ ***въ.

Вы вчера ушли отъ насъ недовольный и раздосадованный. Мнѣ тяжела мысль, что я неумышленно какъ нибудь огорчила васъ. Что съ вами? Въ душѣ у меня вы найдете искреннее участіе. — Сегодня мнѣ необыкновенно грустно. Небо мутно; передъ окномъ грязь да старые дома; дали не видно; тѣсно, душно!—Убѣжала бы я теперь въ страну, гдѣ свѣтитъ солнце, шумятъ деревья, разцвѣтаютъ цвѣты!... Пожалѣйте обо мнѣ, Иванъ Петровичъ! Все окружающее меня такъ далеко отъ сочувствія съ безумной душой моей... О, дайте мнѣ широкое поле, темный лѣсъ, свѣтлую рѣку, съ отразившимися въ ней небесами: упоенная красотами природы, убаюканная ея пѣснями, я бросилась бы съ восторгомъ въ ея божественныя объятія и, можетъ быть, сладко, сладко бы уснула!

На ваше поэтическое желаніе посылаю вамъ двѣ нѣмецкія книги; въ нихъ много говорится о природѣ. Я замѣтилъ, что нѣмцы вамъ по душѣ, съ своими мечтательными взглядами и своей сладенькой фантазіей. На дняхъ, вы сказали, что читаете ихъ съ особеннымъ, тихимъ удовольствіемъ. Да и вчера вы такъ снисходительно, — если не сказать внимательно, — слушали этого картофельнаго инженера, Гартена, который преслѣдовалъ васъ и словами, и взглядами.—Простите меня, что я нарушилъ ваше пріятное расположеніе духа, моей неумѣстной хандрой. Есть минуты, въ которыхъ человѣку все измѣняется...

Къ чему тутъ Гартенъ? какое онъ можетъ имѣть отношеніе къ моей грусти и моей любви къ нѣмецкой литературѣ? За что вы на него нападаете?—Это добренькій и ум-

ненькій мальчикъ; отъ его словъ вѣтъ на меня всей свѣжестью неразочарованной души; это натура не глубокая, но свѣтлая.—Полноте, къ чему отравлять подобными капризами отрадныя минуты нашей дружбы!—Приходите скорѣе къ намъ.—мы сегодня дома.

Развѣ я виновата, что вы сдѣлали изъ меня ребенка? Я завидую всему, что къ вамъ приближается... я одинъ далеко отъ васъ—непризнанный и непонимаемый! Могу-ли я быть спокоенъ? Я каждую минуту страшусь потерять васъ... я страдаю глубоко. Ненавидящій притворство, я долженъ притворствоваться передъ всѣми, а болѣе всѣхъ передъ вами... Вчера я задыхался отъ счастья васъ видѣть, а долженъ былъ смотрѣть на васъ холодно и безстрастно... Сжальтесь надо мной, это ужасно! Мнѣ совѣстно и страшно, когда вы говорите и обращаетесь со мной съ благородной увѣренностью, и не подозреваете, что я готовъ каждую минуту измѣнить вамъ и себѣ!..

Я плакала, читая письмо ваше: оно было похоронной пѣснью нашей святой дружбѣ... Прощайте, Богъ съ вами! Вы усмотрѣли въ нашемъ сердцѣ только возможность любви и испугались ея: вы разочли, что она вамъ вмѣстѣ съ отрадою принесетъ много и грустнаго, а вы скорѣй готовы отказаться отъ счастья, чѣмъ купить его страданіями души и болью сердца... Ваше состояніе есть состояніе ребенка, которому показываютъ горькое лекарство и кусокъ сахару... Простите мнѣ, о, простите бѣдной женщинѣ, которая, думая погрѣться у огня, охвачена пламенемъ!..

Мнѣ были горьки не ваши укоры, не ваше стараніе унижить меня и представить безхарактернымъ и недостойнымъ святаго чувства, а вашъ глубокій эгоизмъ... Вы ошибаетесь: я не боюсь любви, не бѣгу отъ нея,—я ношу ее глу-

бо во въ сердцѣ... я готовъ броситься въ неизмѣримый океанъ ея и погибнуть... но никогда не достало-бы у меня жестокаго эгоизма увлечь васъ съ собою... А вы!.. что же вы хотѣли изъ меня сдѣлать, разсыпая передо мной сокро-вища вашей души? Неужели вы думали, что я не посмѣю любить васъ? И какое право имѣли вы думать это? Вы ки-нули мнѣ слово дружбы и жестоко имъ воспользовались... Кончаю, не хочу ни обвинять, ни оправдываться,—слиш-комъ грустно, слишкомъ тяжело и то, и другое! Прощайте! Желаю вамъ всего прекраснаго!

Благодарю васъ, вы дали мнѣ спасительный, хотя жесто-кій урокъ. Вы правы, я поступила безумно... намъ слѣдо-вало-бы заключить условія... Въ самомъ дѣлѣ, что такое была для меня эта необходимая потребность передавать вамъ движенія души моей? эта безконечная и сладкая мысль о васъ, какъ вѣчность, охватившая всю жизнь мою? это безотчетное счастье въ вашемъ присутствіи, эта свѣтлая къ вамъ довѣрчивость? Все это было только дружба,—оскорбительная дружба... Прочь ее! не надо ее! давайте намъ любви по формѣ, съ объясненіями, со вздохами, съ комплиментами, въ родѣ слѣдующихъ: «Какіе у васъ пре-красные глаза!» или «Эта роза—вы!» И вправду, какъ смѣетъ женщина говорить мужчинѣ прямо и свободно о страданіяхъ души? какъ смѣетъ не краснѣть отъ каждаго взгляда; не потуплять глазъ отъ каждаго его слова? Это ужасно, воз-мутительно! грянемъ же на нее всѣми оскорбленіями ни на чемъ неоснованной ревности, и намѣреніемъ обнять и раз-цѣловать ее, безъ церемоніи, какъ скоро останемся съ нею наединѣ.

Благодарю Бога за наше вчерашнее свиданіе! Оно дало намъ увѣриться, что въ жизни есть точно высокое, святое счастье, есть минуты, за которыя мало цѣлыхъ годовъ стра-данія... Благодарю васъ! Вамъ я обязанъ всѣмъ святымъ

и прекраснымъ въ моей жизни. Я чувствую, какъ ваше присутствіе возвышаетъ и облагораживаетъ все существо мое...

Өедоръ Семеновичъ Алексѣю Дмитриевичу.

Любезный другъ! Надѣюсь, что ты придешь ко мнѣ сегодня вечеромъ перекинуть въ картишки... А я сейчасъ отъ Ивана Петровича: онъ хандрить на пропалую. Скажу тебѣ новость: тайна его развѣянности открыта—онъ влюбленъ въ *** ну, и ужь межъ ними куры-муры... Въ beau monde, братецъ, лѣзетъ. Это открыла намъ вчера Варвара Михайловна. «Третьяго дня,—говоритъ она,—иду изъ лавокъ, попадается мнѣ мальчишка ***хъ, съ письмомъ. Спрашиваю его:—Куда ты, Өедюша! «Къ Ивану Петровичу съ письмомъ».—Отъ кого? «Отъ барышни-съ». Я такъ,—говоритъ она,—и ахнула,—славно-моль, славно!.. знай нашихъ! Бѣдная Мавра Александровна! ничего не знаетъ, а вѣдь все на нее падетъ»... Теперь, любезный другъ, я постараюсь слѣдить за нимъ, вѣдь такой... боюсь, не случилось бы чего. Прощай, до свиданія!

Остаюсь преданный тебѣ ***нъ.

Марья Антоновна Лизаветъ Ивановнѣ.

Милая Лизавета Ивановна! Зная любовь вашу къ Маврѣ Александровнѣ, спѣшу васъ увѣдомить о неприятномъ для нея открытіи: вообразите, Ида Николаевна завела любовную переписку съ Иваномъ Петровичемъ... Вотъ, нынѣшнія дѣвушки! Бѣдная старушка еще ничего не знаетъ; но Варвара Михайловна хочетъ объявить ей объ этомъ завтра вечеромъ, по дружбѣ.. по-крайней-мѣрѣ, возьмутъ предосторожности... Будете-ли вы сегодня дома? Я бы къ вамъ на вечерокъ.

Остаюсь навсегда готовая къ услугамъ Марья ***на.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА МАРЬЯ АНТОНОВНА.

Любезная Марья Антоновна! Ахъ, какую неприятную новость написали вы мнѣ! Не могу прійти въ себя отъ удивленія... Можно-ли было ожидать этого отъ Иды Николаевны! Сегодня же расскажу Аннѣ Петровнѣ; она приметъ въ этомъ искреннее участіе... Бѣдная Мавра Александровна! надѣлаетъ ей племянница неудовольствій! вѣдь все на нее падеть... Благодарю васъ, любезнѣйшая Марья Антоновна, за намѣреніе пріѣхать вечеромъ; къ сожалѣнію меня не будетъ дома — поѣду вечеромъ къ Маврѣ Александровнѣ, и предупрежу Варвару Михайловну: и не меньше ея привязана къ этому семейству. Прощайте, любезнѣйшая Марья Антоновна! остаюсь навсегда преданная вамъ

Лизавета ***а.

И Д А И В А Н У П Е Т Р О В И Ч У .

Вотъ какая странная сцена случилась сегодня со мною: незадолго до обѣда, Тани позвала меня, съ таинственностью, къ тетущкѣ и, провожая, шепнула у дверей тетущкиной комнаты: «Тетенька что-то сердиты-сь». Не смотря на это, я вошла въ комнату безтрепетно, съ обычнымъ моимъ равнодушіемъ. Тетущка сидѣла въ своихъ большихъ креслахъ, отъ которыхъ еще не были отодвинуты два стула, на которыхъ, за пять минутъ передъ тѣмъ, помѣщались Лизавета Ивановна и Марья Антоновна. Тетущка, при моемъ появленіи, видимо старалась принять позу какъ можно грознѣе и величественнѣе... Я въ нерѣшимости остановилась посреди комнаты.

— Пожалуйте сюда, сказала тетущка.

Я подошла. Тетущка устремила на меня одинъ изъ своихъ самыхъ пронизательныхъ взглядовъ; голова ея тряслась отъ удерживаемаго гнѣва; глаза раскрылись во всю ихъ величину; ноздри раздувались. Мнѣ стало неприятно, и я

рѣшилась произнести, чтобъ прекратить этотъ безмолвный допросъ: что вамъ угодно?

— Мнѣ угодно знать, сударыня, правда-ли, что вы завели переписку съ этимъ (тутъ она дала вамъ такое странное прозвище, что щеки мои вспыхнули негодованіемъ) Иваномъ Петровичемъ?

— Правда, отвѣчала я.

Тетушка была совершенно поражена этимъ отвѣтомъ.

— Ахъ, безстыдница! вскричала она, еще и сознаешься! Это удивило меня.

— Чтожь тутъ дурнаго? спросила я.

— Боже мой! Боже мой! закричала тетушка,—вотъ, до чего я дожила, вотъ вѣкъ! —что дурнаго!? завести въ моемъ домѣ любовную переписку!.. этого только недоставало! Да знаете ли вы, сударыня, что вы срамите вашего отца, не говорю уже о васъ самихъ—вамъ по дѣломъ! Пусть весь городъ указываетъ на васъ пальцами, пусть дѣвицы бѣгаютъ васъ, какъ чумы; но я, но бѣдный братъ! Опозорить себя до такой степени!

Тетушка умолкла и въ страшномъ волненіи металась въ креслѣ; она была вся гнѣвъ: шелковое платье ея укоризненно шумѣло, оборки на чепцѣ трепетали, даже малиновые ленты, мнѣ показалось, приняли какой-то огненный отливъ... старая моська проснулась, вытаращила на меня глаза и заворчала... Мнѣ вдругъ стало страшно; какой-то неприятный холодъ пробѣжалъ по мнѣ.

— Кто носилъ ваши письма? спросила наконецъ тетушка.

Я поняла ея мысль и отвѣчала:

— Тотъ, кто носилъ ихъ, не виноватъ, потому-что до сихъ-поръ вы не отдавали вашимъ людямъ приказанія не слушаться меня?

— Да, конечно, теперъ ужъ вы заставите меня принять свой мѣры... Безстыдница! прибавила тетушка, выразительно качая головой,—что ежели-бы была жива покойная мать твоя! ты бы уморила ее, да и меня сведешь преждевременно въ могилу своимъ поведеніемъ...

— Тетушка! вѣрьте, что я никогда не сдѣлаю ничего такого, что могло бы оскорбить память моей матери. Я знаю, что, въ подобномъ случаѣ, она не такъ бы обращалась со мной...

— Какъ! вы смѣете еще говорить мнѣ дерзости! вотъ, до чего дожила я! видно, за грѣхи Господь наказываетъ! Боже мой! мнѣ дурно, голова кружится... Танька, спирту!

Я бросилась было за спиртомъ, но тетушка завизжала:

— Прочь! оставьте меня! вы рѣшились уморить меня... прочь!

Я пришла къ себѣ въ комнату въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Мнѣ тяжело и неловко; я знаю, что гнѣвъ тетушки пройдетъ, но все неприятно, когда такъ сердятся... Прощайте, мой добрый другъ! не огорчайтесь этими вѣстями... Мѣра неприятностей зависитъ отъ того, какъ мы будемъ принимать ихъ.

И в а н ъ П е т р о в и ч ъ И д ѣ .

Еслибъ вы знали, что со мной дѣлаютъ эти люди, называемые знакомыми и пріятелями! какими невыносимо-мелкими, нестерпимо-глупыми оскорбленіями осыпаютъ они меня, подъ видомъ безцеремоннаго обращенія и дружескаго участія... Зачѣмъ позволено такъ мучить челоуѣка? Дома, въ гостяхъ, на улицѣ,—всюду осаждаютъ сожалѣніями, уговорами, пріятельскими шутками; со всѣхъ сторонъ брызгаютъ грязью на мою святыню... И нѣтъ выхода изъ этого омута! Но и тутъ звуки вашего имени обдаютъ меня какою-то горькой отрадой. Съ восторженною жадностію ловлю я эти незабвенные звуки. Простите-ли вы меня? пожалѣйте-ли обо мнѣ?

Ө в д о с ѣ я П е т р о в н а А в д о т ѣ ѣ Н и к о л а е в н ѣ .

Почтеннѣйшая Авдотья Николаевна! Слухи на счетъ не-приличнаго поведенія Иды Николаевны, къ сожалѣнію, все

болѣе и болѣе распространяются; вчера я разговорила съ Евфросиньей Петровной, — вообразите, ужъ и она знаетъ о томъ, что, — помните — я вамъ говорила? .. Какая безнравственность въ молодой дѣвушкѣ!. Пожалуйста удалайте отъ нея вашу Генячку: дурной примѣръ заразителенъ... Это я вамъ пишу по дружбѣ, почтеннѣйшая кумушка моя, Авдотья Николаевна, съ которою пребуду навсегда готовая къ услугамъ вашимъ

Өедосья Н—а.

И да Ивану Петровичу.

Сейчасъ отошла отъ раскрытаго окна; южный вѣтеръ освѣжилъ мнѣ ласкою грудь и пылающія щеки. Вѣтви, цвѣтущей жимолости, съ легкимъ ропотомъ наклоняются къ окну, будто просятъ въ комнату. Хорошъ этотъ мѣръ, жаль только, что счастья въ немъ нѣтъ! Не знаю отчего, мнѣ что-то очень грустно... Не могу удержаться отъ рыданій. Слезы мѣшаютъ писать... да и въ состояніи ли эти глупыя чернила и перо выразить всю горечь отравленной души моей? Прощайте! дай Богъ вамъ счастья! Благодарю васъ за все! — за благородство чувствъ, за святость любви.

Ваша Ида.

Иванъ Петровичъ Идѣ.

Въ грусти, какъ и во всемъ, у насъ симпатія! Когда я васъ увижу? Прощальный тонъ вашего письма навелъ на меня тоску! Вы обо всемъ горюете прежде времени... Простите! я самъ не знаю, что пишу: мысли въ страшномъ беспорядкѣ. Вы тверже меня! Стыжусь, что я безсиленъ, что, какъ дитя, закрываю глаза передъ несчастьемъ.

Вашъ *** вѣ.

И в а н ь П е т р о в н и ч ь И д ь.

Пишу и на глазахъ невертываются слезы! Сегодня я получила опредѣленіе къ должности въ ***. Невыразимо тяжело. По всѣмъ правиламъ разсудка, я долженъ бы радоваться... Видно, чувство и разсудокъ—два родные брата, только такіе, какъ Каинъ и Авель... Могу-ли васъ сегодня видѣть?

И д а И в а н у П е т р о в и ч у.

Наконецъ-то мы пришли къ горькой истинѣ—къ сознанію нашего безсилія въ напрасной и тяжелой борьбѣ... Вотъ, вы все бранили меня, что я заглядываю впередъ, что пугаюсь призраковъ, созданныхъ моимъ воображеніемъ! Я послушалась васъ, и предалась всей душой чудеснымъ мечтамъ о счастіи, прекраснымъ и благороднѣйшимъ надеждамъ... Мнѣ, и въ самомъ дѣлѣ, показалось, что я возношусь на небо блаженства... и, вотъ, я на землѣ, обезсилена, сокрушена паденіемъ. Вамъ тяжело было вчера говорить о вашемъ скоромъ отъѣздѣ... при этомъ вы такъ упорно и странно глядѣли мнѣ въ глаза... вы непременно хотѣли видѣть дѣйствіе вашихъ словъ? Ну что-жъ, вы видѣли, что я поблѣднѣла, что я окаменѣла... Довольны ли вы? О, мой другъ, ужели правда, что любовь есть глубочайшій эгоизмъ?... Но что объ этомъ... И такъ—разлука необходима! какъ знать? Можетъ-быть, даже полезна... Не утѣшайте меня будущимъ,—я не вѣрю ему. Черезъ нѣсколько лѣтъ, кто знаетъ, что у насъ будетъ въ сердцѣ! Можетъ-быть, холодъ, насмѣшка надъ всѣмъ, во что теперь такъ восторженно вѣримъ... Что же дѣлать, Боже мой? Неужели вправду разстаться. Завтра, я цѣлое утро дома и одна,—приходите; хочу наглядѣться на васъ... а тамъ общаю быть твердой и благоразумной.

Иванъ Петровичъ Идъ.

Напрасно я взялъ перо, чтобы сказать вамъ что-нибудь отрадное; въ душѣ одно только глубокое, не проходимое горе. Страдаю за васъ и за себя. Я ѣду — ѣду черезъ два дня! Въ этомъ письмѣ, въ послѣдній разъ, пишу: до свиданія! Во мнѣ происходитъ глухая борьба... Зачѣмъ я ѣду? — неужели это неизбежный приговоръ судьбы? И вы противъ меня? заодно съ разсудкомъ! — Вечеромъ побываю у васъ. До свиданія! тысячу разъ готовъ повторить это слово...

И да Ивану Петровичу.

Время покажетъ, должны-ли мы благодарить наше благо-разуміе или горько укорять себя за недостатокъ силы и смѣлости... Путь начать, — не отступать же! — идите смѣло! Вашему уму, вашимъ способностямъ предстоитъ широкое поле дѣятельности; вамъ, можетъ быть, некогда будетъ оглянуться назадъ... Идите, — васъ сопровождаетъ моя молитва, мое жаркое желаніе вамъ счастья! — Ида.

Иванъ Петровичъ Идъ.

Лошади у крыльца... ѣду — должно ѣхать! Я плачу, какъ дитя... Прощайте, будьте счастливы! не забывайте меня! Я — я весь вашъ! *** въ.

Хорошенькая, черноглазая Надина сидѣла на диванѣ съ своимъ женихомъ. Маменька ея была занята чѣмъ-то по хозяйству, папенька былъ у должности. Должность свою онъ любитъ не меньше жены и дочери, — да нельзя и не любить ему должности: она его мать и кормилица; по ея милости у его Парасковьи Семеновны и прекрасный салопъ, и около трехъ дюжинъ чепцовъ, и платьевъ, и капотовъ несчетное множество; благодаря ей же, и Наденька его одѣта, какъ

куколка, и воспитана не хуже кого другого: и по французски знаетъ, и на фортепьяно играетъ. Посмотрите, какъ она мила, какъ граціозно закинула назадъ головку, какъ лукаво смотритъ на своего жениха.

— На что это похоже, Иванъ Петровичъ, цѣлый день не быть! Это ни на что не похоже! Этакъ развѣ дѣлаютъ женихи?

— Я ужъ вамъ сказалъ, что не могъ, что хворалъ, — развѣ вы не вѣрите мнѣ? отвѣчалъ Иванъ Петровичъ, — увы, тотъ самый Иванъ Петровичъ, переписку котораго съ Идой вы имѣли благосклонность пробѣжать.

— Не вѣрю; не такъ же вы хворали, чтобъ цѣлый день пролежать; а письма—экая важность! можно было и отложить.

— Невозможно.

— У васъ все невозможно!

Она надула губки.

— Надина! полноте, дайте ручку!

— Подите! противный!—Она улыбнулась. — Право, мнѣ кажется, вы не любите меня.

— Не грѣхъ-ли вамъ...

— Ну, скажите, перебила она ласково и вкрадчиво, — вы никого больше меня не любили?

Онъ молчалъ.

— Скажите, прошу васъ, скажите всю правду.

— Что за вопросъ! развѣ я не люблю васъ, развѣ вы...

— Нѣтъ, нѣтъ! вы мнѣ скажите, любили-ли вы кого-нибудь *больше*, чѣмъ меня?

— А вы?

— Я? я—другое дѣло, когда мнѣ любить?

— Право?..

Наденька вспыхнула.

— Нѣтъ, продолжала она, —вы мнѣ скажите, не вертитесь.

Брови Ивана Петровича слегка нахмурились, минуты двѣ онъ молчалъ, будто что припоминая, потомъ проговорилъ тихо, но отрывисто:

— Любилъ...

На лицѣ Наденьки выразилось неприятное чувство.

— Такъ-то; вотъ, вы каковы, — Она готова была заплакать.

— Вотъ, вы и разсердились за то, что я сказалъ правду... Зачѣмъ вамъ было спрашивать? Вы непременно хотѣли, чтобы я солгалъ! что-жъ? Вамъ было бы легче отъ этого? Ну, да, я любилъ сильнѣе, потому что былъ моложе, глупѣе... да и притомъ это было давно; это прошло ужъ... онъ подавилъ невольный вздохъ. — Теперь я никого не люблю, теперь вы для меня единственная женщина.

Онъ поцѣловалъ у ней руку. Лицо дѣвушки прояснѣло.

— Да, да, толкуйте, заговорила она полусерьезно, полуслушливо. — Ахъ, что это? вѣрно цвѣты отъ м-ме Рей?

И она бросилась къ вошедшей съ картономъ дѣвушкѣ. Вслѣдъ за дѣвушкой вошла и Парасковья Семеновна.

— Что это за мерзавецъ этотъ Оедька! негодовала она, — куда ни пошли, точно за сто верстъ, — не дожدهшься. А, здравствуйте, Иванъ Петровичъ! Что это? цвѣты? Посмотри-ка, Наденька, да выбери себѣ гирлянду получше.

Пусть ихъ выбираютъ цвѣты; я воспользуюсь этимъ временемъ и скажу нѣсколько словъ объ Иванѣ Петровичѣ. Отуманенный и грустный, оставилъ онъ губернский городъ, гдѣ жидя Ида. Тоска и любовь душили его. Всю дорогу носился передъ нимъ милый образъ, съ глубокимъ, нѣжнымъ взоромъ, съ этой, ей только свойственной, улыбкой, которая на ея устахъ была печальнѣй всякихъ слезъ. Она понимала, какъ много должна любить женщина, чтобы найти силу, съ убитымъ, растерзаннымъ сердцемъ, улыбнуться милому, при послѣднемъ: прощай... Долго грустилъ Иванъ Петровичъ: но не вѣкъ же тосковать, не вѣкъ же любить. Увлеченный временемъ и обстоятельствами, онъ пришелъ въ себя, началъ понемногу разставаться съ мечтами и надеждами любви, началъ замѣнять ихъ мечтами и надеждами службы. По какому-то странному затмѣнію, они не продолжали болѣе своей переписки; отчего? — ни тотъ, ни другой не дали бы въ этомъ отчета. Сперва разлука оглушила ихъ,

потомъ отвлекли разныя мелочныя, непредвидѣнныя препятствія. Усталое сердце требовало отдыха. И вотъ, онъ отдыхалъ долго, долго, а неутомимая память все еще тревожила его подъ часъ картинами прошедшаго.

Въ одинъ «прекрасный вечеръ», зимній впрочемъ, онъ познакомился съ Николаемъ Алексѣвичемъ, и былъ представленъ его супругѣ и дочери. Хорошенькая Наденька приглянулась ему; одиночество начинало надѣждать. Невѣста была хоть куда, съ хорошимъ приданымъ и съ хорошенькимъ личикомъ. Поговаривали, что она влюблена въ какого-то улана; но уланъ уѣхалъ, а къ Ивану Петровичу она чудо-какъ внимательна. Иванъ Петровичъ и не замѣтилъ, какъ очутился женихомъ.

Невѣста его все еще перебирала гирлянды изъ померанцевыхъ цвѣтовъ, а онъ стоялъ, нахмурившись, у окна, и, казалось, обратилъ все свое вниманіе на борьбу двухъ мальчишекъ, слѣдя взоромъ за ихъ бесплодными усиліями повалить другъ друга на землю. Между тѣмъ, въ душѣ его пробудилось какое-то странное, давно замолкшее чувство, и, будто заживо-погребенное, билось и просилось на волю. Какъ давно никто не напоминалъ ему о быломъ; какъ давно оно не проносилось передъ нимъ свѣтлымъ облакомъ! Неужели же обаяніе не прошло? Неужели женщина могла сдѣлать такое глубокое, безотвязное впечатлѣніе? Гдѣ-то она теперь? Что съ ней? Можетъ быть, давно забыла его; можетъ быть, замужемъ... Шестъ лѣтъ прошло послѣ ихъ послѣдняго свиданія,—это былъ такой же ясный, сентябрьскій день... Ахъ, эта Наденька! Пришло же въ голову будить подобныя воспоминанія!

— Что вы тутъ гримасничаете? сказала Наденька, подходя къ нему,—ужъ не разсердились-ли? Какой злой! Я пошутила. Посмотрите, хорошо-ли?

И она примѣрила къ своей головкѣ вѣнчалъный вѣнокъ. Онъ заглядѣлся на эту головку, улыбнулся безпечно и весело, и воспоминанія его притихли и замолкли.

Прошло около года послѣ женитьбы Ивана Петровича. Въ одно утро онъ что то усердно писалъ въ своемъ кабинетѣ. Пришла Надежда Николаевна въ шляпкѣ и мантильѣ.

— Прощай, Иванъ Петровичъ! вотъ, ключи отъ шкафа; я не объѣдаю дома,—Магге звала меня.

— Какъ, опять? вѣдь ты вчера была тамъ; что за дружба такая? я просто тебя не вижу.

— Вотъ, прекрасно! Что же мнѣ сидѣть да слушать скрипъ твоего пера? очень весело!

— Я кончилъ. Не ѣди сегодня.

— Какіе капризы! Что же мнѣ цѣлый день глядѣть на васъ? Нѣтъ ужъ, покорно благодарю, это мнѣ и въ дѣвушкахъ надоѣло. Скажите, ради Бога, я даже не могу выѣхать къ моей пріятельницѣ!

— Не ѣди, прошу тебя, сказалъ онъ съ какой-то странной настойчивостью.

— Да ты съ ума сошелъ! закричала Надежда Николаевна,—помѣшался ты что-ли? Неужели я послушаю тебя?

— А Вольскій будетъ тамъ? И голосъ его какъ будто дрожалъ.

— Это что значитъ? Ужъ не подозрѣваешь-ли ты меня? Этого только недоставало! Ахъ ты, безсовѣстный! Развѣ я подала тебѣ поводъ? Вотъ бы маменька послушала! Господи! что я за несчастная такая!

Она собиралась залиться слезами,—Иванъ Петровичъ предупредилъ грозу.

— Ну, полно, не сердись, душа моя, я пошутилъ,—сказалъ онъ.

— Это что за глупыя шутки! Прошу впередъ не шутить такъ. Ты бы лучше подальше пряталъ свою любовную переписку... И она швырнула ему подъ носъ пучекъ писемъ Иды.—Какія у нихъ были тамъ нѣжности!

Она величаво вышла изъ комнаты.

Тихо и грустно взялъ онъ эти письма. Развернулъ одно и прочиталъ, потомъ другое—и такъ всѣ.

— Слава Богу, что хоть уцѣлѣло одно свѣтлое воспоминаніе, сказалъ онъ со вздохомъ,—и долго бы просидѣлъ

съ опущенной на руки головой, еслибы вошедшій слуга не подалъ ему пакета, примолвя:—съ городской почты. Не глядя на подпись, онъ распечаталъ и прочиталъ слѣдующее:

«Обстоятельства непредвидѣнные занесли меня сюда; если въ душѣ у васъ сохранилось желаніе меня видѣть, то завтра я пѣлый вечеръ, съ 8-ми часовъ, дома и одна. *Ида*. (Слѣдовало названіе улицы и дома).

На другой день, въ 8-мь часовъ вечера, онъ мчался по гремячей мостовой, а ему казалось, что невидимая, неодолимая сила влекла его. Наконецъ пролетка его остановилась у подъѣзда довольно угрюмаго, каменнаго дома. Въ прихожей встрѣтилъ его знакомый слуга.

— А, здравствуй, Никифоръ!

— Здравствуйте, батюшка Иванъ Петровичъ! Здоровы-ли вы? Какъ изволите поживать?

— Здоровъ... А гдѣ Ида Николаевна?

— А вотъ, сударь, извольте идти прямо; *они въ зеленой*, я думаю, сидятъ.

Иванъ Петровичъ пошелъ по амфиладѣ большихъ, слабо освѣщенныхъ комнатъ, въ концѣ которыхъ замѣтилъ стройную фигуру молодой дѣвушки. Ида шла къ нему на встрѣчу.

— Здравствуйте, мой другъ! сказала она тихимъ, взволнованнымъ голосомъ, подавая ему руку.

— Боже мой!.. проговорилъ онъ.

И оба замолчали. Имъ было тяжело и неловко.

— Вы очень перемѣнились... начала она.

— А вы, напротивъ, нисколько—все тѣ-же! Удивительно!..

— Разница только та, что теперь мнѣ 23 года, а когда мы разстались, я была очень молода.

— Какимъ образомъ вы здѣсь?

— Тетушка получила въ наслѣдство, послѣ своей сестры, этотъ домъ и вздумала здѣсь жить, а тотъ, что въ ***, продали.

— Продали? кому же?

— Не знаю, право, забыла фамилію,—помѣщикъ какой-то.

— Продали! повторилъ онъ машинально.

— Да, тотъ домъ, въ которомъ,—помните,—было намъ такъ хорошо!

Онъ съ усиленіемъ провелъ рукой по лицу.

— А теперь?

— Теперь ужъ не будетъ такъ хорошо; теперь тяжело и грустно... по крайней мѣрѣ, мнѣ...

Она хотѣла улыбнуться, но слезы закапали у ней изъ глазъ на темное платье. Онъ взглянулъ на нее съ невыразимой нѣжностью, съѣлъ возлѣ и судорожно прильнулъ губами къ ея рукѣ. Когда онъ поднялъ голову, слезы все еще катились у нея по щекамъ.

— О, не плачь, сказалъ онъ, склоняясь къ ея плечу,— не плачь, мой ангелъ! Слезы тяжелы, говорятъ, и мертвецамъ... каково же мнѣ, живому?..

И всѣ черты его дышали такимъ глубокимъ горемъ, что Ида затрепетала, взглянувъ на него.

— Нѣтъ, вѣдь это такъ, сказала она вротко и нѣжно,— женщины плачутъ легко... чѣмъ тутъ огорчатся?—Она съ улыбкой посмотрѣла ему въ лицо.—Полно объ этомъ! скажите, лучше, какъ вы поживаете? какъ вы здѣсь устроились?

— Устроился... женился... проговорилъ онъ едва слышно.

— Что вы?..

И разгорѣвшееся отъ слезъ и волненія лицо ея вдругъ стало блѣдно, какъ ея батистовый воротничекъ.

— Ну, что-жъ! сказала она, помолчавъ и склоняя голову,—дай вамъ Богъ счастья! Счастливы-ли вы?

— Нѣтъ...

— Ну такъ она счастлива?

— Нѣтъ...

— Боже мой! какъ это грустно!

Прошло около часа въ отрывистомъ, грустномъ разговорѣ... Вошелъ слуга.

— Ида Николаевна! сказалъ онъ,—тетенька скоро пріѣдутъ.

— Пусть ее пріѣдетъ, сказала она,—мнѣ все равно...

— Ахъ, нѣтъ, сказалъ Иванъ Петровичъ, взявшись за шляпу,—какъ можно! она разсердится... да и мнѣ пора.

— Если такъ,—прощайте!

— Неужели это въ послѣдній!

— Не знаю; графиня Б. предлагаетъ мнѣ ѣхать за границу; вчера еще я медлила принять это предложеніе...

— А теперь?

— Теперь приму его съ благодарностью.

Онъ стоялъ передъ ней съ полными слезъ глазами. Ида взяла его за руку и проводила до дверей...

Онъ уѣхалъ... и вся жизнь показалась ему тяжелымъ, безотраднымъ сномъ, отъ котораго онъ не имѣлъ власти освободиться...

Прошло около двухъ лѣтъ. Въ одинъ зимній вечеръ, Иванъ Петровичъ лежалъ на диванѣ, въ своемъ кабинетѣ; сигарка уже давно погасла, не догорѣвъ до половины, а онъ не замѣчалъ этого, и продолжалъ втягивать изъ нея воздухъ. По всему видно было, что онъ задумался крѣпко; задумался до такой степени, что даже лицо его приняло безжизненное выраженіе,—точно душа оставила его, точно улетѣла за тридевять земель. Пробило девять; этотъ звукъ вывелъ его изъ забытья. Онъ сдѣлалъ быстрое движеніе, будто желая разомъ прогнать безотвязныя мысли.

— Иванъ! одѣваться!

— Все приготовлено, сударь, отвѣчалъ голосъ изъ смежной комнаты.

Иванъ Петровичъ принялся лѣниво за свой туалетъ: надѣлъ черный фракъ, натянулъ желтыя перчатки, устроилъ прическу.

— Ужъ эти мнѣ модные вечера! ворчалъ онъ,—тащись туда,—вѣчно одно и то же... Гдѣ это мой голубой флаконъ съ одеколономъ? Иванъ! гдѣ голубой флаконъ?

— Еще покойница барыня разбили его; разсердиться какъ-то изволили, схватили—да и объ полъ! Развѣ вы были, сударь!

— Я бы желалъ забыть все на свѣтѣ... Поди-ка, почисти мнѣ спину щеткой.

Иванъ явился, вооруженный щеткой, строгимъ взоромъ оглядѣлъ своего барина, примолвя:

— Лошадь-то готова давно.

— Сейчасъ ѣду... шубу!

Черезъ десять минутъ, Иванъ Петровичъ всходилъ на высокую лѣстницу довольно ярко освѣщеннаго дома. На него пахло амброй; мелькнуло нѣсколько темныхъ и свѣтлыхъ платьевъ, модныхъ фраковъ и желтыхъ перчатокъ. Онъ откашлянулся, поправилъ волосы и свободно пошелъ по свѣтлымъ комнатамъ отыскивать хозяйку.

— Все тѣ-же неизбѣжныя лица, думалъ онъ, раскладываясь по дорогѣ съ знакомыми,—вонъ, Анна Петровна съ дочерьми; вонъ, Лизавета Сергѣевна; вотъ Катерина Михайловна... Здравствуйте, Катерина Михайловна!

— Здравствуйте, Иванъ Петровичъ!

— Вонъ... кто же это, въ бѣломъ платьѣ, стоитъ сюда спиной? Здѣшнихъ я знаю со всѣхъ сторонъ: эта незнакомая турнюра, и очень недурная...

Въ это время дама въ бѣломъ платьѣ обернулась въ профиль...

— Боже! Ида! чуть не закричалъ онъ, и струсилъ, да, струсилъ... голосъ у него замеръ, губы поблѣднѣли.

— А, Иванъ Петровичъ! Вы насъ совсѣмъ забыли, отчего это?

— Я... былъ боленъ.

— Больны? и серьезно?

— Ъздилъ за городъ...

— Она посмотрѣла на него съ изумленіемъ и отошла, не сказавъ ни слова. Онъ скоро собрался съ духомъ, хоть сердце у него все еще билось, какъ у юноши. Наконецъ Ида замѣтила его. Спокойно и тихо было лицо ея. Когда гости завялись разсматриваніемъ какой-то знаменитой кар-

тины, купленной хозяиномъ съ аукціона, она, безъ малѣйшаго смущенія, подошла къ нему.

— Здравствуйте, Иванъ Петровичъ! Вотъ мы и опять увидѣлись.

— Давно-ли вы возвратились изъ-за границы, Ида Николаевна? сказалъ онъ наконецъ спокойнымъ голосомъ.

— Мѣсяца два.

— Набрались тамъ новыхъ думъ и чувствъ?

— Да, я много передумала въ это время; много видѣла новаго и прекраснаго. Это путешествіе освѣжило меня.

— Я радъ за васъ.

— Вы еще не перестали принимать участія въ моихъ радостяхъ и печаляхъ?

— А вы готовы усумниться въ этомъ—Богъ съ вами!

— Мой добрый другъ!

Она незамѣтно пожала ему руку. Онъ вздрогнулъ.

— Какъ ваши дѣла? продолжала она.—Не здѣсь-ли ваша жена... познакомьте меня съ ней.

— Она умерла.

Минутное молчаніе.

— О чемъ вы задумались? спросилъ онъ ее.

— Какъ странно... Вообразите,—и голосъ ея задрожалъ въ свою очередь,—я до сихъ-поръ не сказала вамъ, что я замужемъ...

— Идочка! сказалъ въ это время высокій, черноволосый мужчина, отдѣляясь отъ толпы,—посмотри, какъ хорошъ этотъ отблескъ лучей заходящаго солнца, какъ живо это море,—онъ указалъ на картину,—не правда-ли, *chère amie*, это напоминаетъ благословенный югъ?

1848.

НИ ТЬМА, НИ СВѢТЪ.

(НѢСКОЛЬКО ПИСЕМЪ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ)

28-е сентября.

Право, мой другъ, мнѣ часто приходятъ въ голову пре-
странныя мысли, но не въ томъ дѣло, — не пересказывать
же мнѣ тебѣ все мои глупыя фантазіи! — Ужъ и то ты тер-
пишь порядочную скуку отъ моихъ болтливыхъ, безала-
берныхъ писемъ. Вотъ о чемъ, чаще всего, я думаю: какъ
могла придти ко мнѣ рѣшимость выйти за моего мужа, не
имѣя къ нему ни любви, ни влеченія, — однимъ словомъ,
никакого чувства? Замужество мое, до-сихъ-поръ, кажется
мнѣ несбыточнымъ, тяжелымъ сномъ, который исчезнетъ
при пробужденіи... Что теперь дѣлать? Вся моя жизнь
испорчена. Куда я дѣнусь съ моей молодостью? На что
не заставитъ рѣшиться оскорбленное самолюбіе! Виноваты
и тѣ, которые заставили меня смотрѣть на замужество, какъ
на необходимую комедію... Виноватъ и онъ, кого я такъ
свято, такъ глубоко любила. Онъ не хотѣлъ, онъ расчи-
тывалъ, да и гордость мѣшала ему... на его душѣ грѣхъ!
Правда, онъ былъ правъ передъ умомъ и разсудкомъ, но
погрѣшилъ противъ сердца... А какъ я его любила! Мнѣ
кажется, я и теперь его люблю... люблю еще глубже, силь-
нѣе, хотя безъ тѣхъ горькихъ слезъ и жгучей тоски, ко-
торыя душили меня тогда; говорятъ, есть самыя опасныя
болѣзни безъ сильныхъ страданій... И все мнѣ думается,
что только его одного и могу я любить!.. Гдѣ-то онъ те-
перь? я совсѣмъ потеряла его изъ виду. Весь этотъ вздоръ

пишу я тебѣ оттого, что мнѣ грустно, что грудь мою давить какая-то тяжелая, безотчетная тревога. Ты знаешь, какъ сильно дѣйствуетъ на меня природа, съ самаго дѣтства, какое я глупое, слабое, созданіе, готовое, до-сихъ-порѣ, плакать, или мечтать подъ шумъ деревъ!—а теперь мы еще въ деревнѣ, доживаемъ послѣдніе красные дни. Розовый блескъ осенняго заката обливаетъ всю комнату, и вѣтеръ бросаетъ, время отъ времени, въ открытое окно, на мой письменный столикъ, поблекшіе листья... Вчера еще въ цвѣтникахъ пестрѣло множество георгиновъ, сегодня—прихожу въ садъ—всѣ померзли. А между тѣмъ и небо было ясно, и солнце свѣтило по вчерашнему, только бѣдныя мои георгины померзли! Какъ у нихъ опустились головки, съежились листочки! Хорошо, что вчера я нарвала ихъ большой букетъ и поставила въ воду; сорванные уцѣлѣли... А еще мужъ говорилъ: «не рви». Была бы я безъ цвѣтовъ! Теперь дня три еще полюбуюсь ими. Вотъ, и онъ такъ: пожалѣлъ, не воспользовался разцвѣтомъ моего сердца,—а теперь морозъ побилъ его... Бѣдныя мой георгины!—Прощай, другъ мой!

7-е октября.

Часто смотрю я на мужа: что за странная физіономія, что за страшная блѣдность! Все мнѣ кажется, что онъ чего нибудь въ жизни сильно испугался, и навсегда сохранилъ печать этого испуга на лицѣ... Что ему во мнѣ понравилось? Неужели онъ полюбилъ меня? Я что-то до-сихъ-порѣ этого не примѣтила.. Развѣ онъ по своему, брюзжаньемъ да суровостью, выражаетъ любовь. Ты знаешь, я была всегда живая, дерзкая дѣвочка; теперь равнодушіе сдѣлало меня смиренницей. Мнѣ дѣнь что либо возразить на его, иногда обидныя, выходки, и притомъ когда я молчу, онъ скорѣй кончаетъ свои нотации. Да и то сказать: смѣшно нѣжничать съ сѣдой головой. Не старъ онъ—что за старость 45 лѣтъ—а смотреть совсѣмъ старикомъ. Насъ прозвали дѣдушка и внучка. А папа-то съ татапа какъ были

рады, что выхожу за сѣдаго! Солидный-дескать, не вѣтрогонъ какой... Забыли пословицу: сѣдина въ голову... Не хуже молодого ухаживаетъ за горничными.

Прощай, другъ мой! это послѣднее отъ меня письмо изъ деревни. Мы скоро переѣзжаемъ въ городъ. Погода портится. Поклонись отъ меня твоему мужу.

30-е октября.

Слава Богу! наконецъ кончились эти провлятые визиты! Мука и людямъ и лошадамъ. Часто мнѣ хочется убѣжать куда нибудь далеко, въ пустыню, и умереть тамъ, одной, подъ яснымъ небомъ, обвиняемой свѣжимъ вѣтромъ... Что это мнѣ все скучно, мой другъ? Пробую и выѣзжать, и ридиться, и работать, все скучно! Хоть бы влюбиться, право... Читать бросила. До серьезнаго, историческаго я не охотница, а нынѣшніе романы только душу мнѣ тянутъ... то какая нибудь невѣроятная сказка, то гноучая, страшная рана человѣческой души, съ торжествомъ выставляемая на показъ, то развратъ, прижрашенный и принаряженный показывается за нѣчто прекрасное, истинное и высокое. У меня и безъ того тяжело на душѣ... Я и безъ того чувствую, что страдаю, зачѣмъ же напоминать себѣ объ этомъ поминутно? Карпова совѣтуетъ мнѣ Поль-де-Кока читать; вообрази, я до сихъ-поръ не имѣю понятія о Поль-де-Кокѣ; говоритъ, что это чтеніе вылечитъ меня отъ хандры. Попробую... Или лучше работать? Работа убиваетъ думу, а это-то мнѣ и нужно. Не будь мужъ служащій—жили бы мы въ деревнѣ. Тамъ, по крайней мѣрѣ, рѣже бы приходилось улыбаться и говорить глупости, по неволѣ. Мужу, напротивъ, здѣсь веселѣе. Утромъ занять службой, вечеромъ—картами. Я было и кокетничать начинала, думала, что это меня разсѣтетъ; явились и обожатели,—франты, львы здѣшніе. Пустеньки—нечего сказать... то въ нихъ несносно, что такъ и проглядываетъ благоговѣніе къ собственной своей особѣ, будто у нихъ на лбу написано: я *comme il faut*, прошу этого не забывать! Никто изъ нихъ не вспо-

мнить, не подумаетъ, что онъ, прежде всего, человѣкъ...
Прощай, мой другъ!

27-е ноября.

Ты помнишь мою старую няню, Анисью? Какъ, я думаю, не помнить... Это самое доброе, самое преданное мнѣ существо. Я привязана къ ней еще той-же ребяческой любовью, какъ восемь лѣтъ назадъ. Добрая старуха инстинктомъ любящаго сердца, догадывается, что я несчастлива. Всякій разъ, когда я печальна, или мужъ поворочитъ на меня, она приходитъ съ утѣшеніями:

— Родная ты моя! не горюй; вѣдь онъ любитъ тебя... (Какъ будто мнѣ не все равно, любитъ онъ меня, или нѣтъ!) ну, какъ быть, потери...

— Да развѣ я горюю?

— Матушка моя! ты все на душѣ таишь...

-- Да ты почему знаешь?

— А вчера, я посмотрѣла въ щелку, а ты сидишь на диванѣ, да личико-то ручками закрыла, ровно плачешь—такое жалко! Не плачь, мое золото!

Глухая старуха! Она не знаетъ, какъ я рада бываю слезамъ... И какъ рѣдко плачу я! Во мнѣ какъ-то все застыло и очерствѣло.

Вчера, лежу я, послѣ обѣда, на диванѣ,—мужъ не обѣдалъ дома; приходитъ нянька.

— Няня, скажи что нибудь.

— Что же сказать тебѣ, жемчугъ мой? (Она безъ приговоровъ слова не скажетъ).

— Ну, сказку, что маленькой, по вечерамъ, сказывала.

— Сказки-то всѣ позабыла, моя пташка.

— Ну, спой ту пѣсню, которой усыпляла меня.

— Ахъ ты проказница!

Подивись: у ней до сихъ поръ, чистъ и пріятенъ голосъ.

— Спой, няня!

И она запѣла, усѣвшись на скамеечкѣ, у дувана:

Ходитъ сонъ по снѣнямъ,

Дрема по угламъ...

И повеселись передо мной, пестрой вереницей, свѣтлые образы и легкіе сны моего дѣтства... и уснула я, убаюканная ими и глупой пѣсней старухи... Вотъ, до чего дошла твоя Катя, замужня женщина, жена одного изъ важныхъ лицъ губернскаго города N***!.. Прощай, другъ мой!

17-е января.

Вечеръ вчера просидѣла я у прокурорши; это очень милая женщина; я съ ней хорошо знакома. Друзей у меня здѣсь нѣтъ; ты знаешь, какъ я дика на дружбу. Тамъ одна молодая женщина угощала насъ очень недурной игрой на фортепяно. Я сидѣла противъ любимой моей картины, изображающей дѣвушку съ опрокинутой назадъ головкой, съ глазами, устремленными къ небу. Миѣ нравится это лицо, только я всегда находила, что положеніе дѣвушки слишкомъ натянуто, что глядя на нее долго, становилось за нее тяжело. Но когда я стала всматриваться въ картину, при звукахъ музыки; я чуть не вскрикнула отъ удовольствія и изумленія: картина будто ожила, будто вышла изъ рамы! восторгъ молитвы, слѣды горя душевнаго, все выдалось и выразилось съ необыкновенной ясностью и опредѣленностью; музыка оживила картину; я глазъ не могла оторвать отъ нея, и указала хозяйкѣ дома на предметъ моего вниманія. Та раздѣлила со мной восторгъ мой. Вскорѣ подошла къ намъ Карпова.

- Что ваша хандра, madame Zanoff? спросила она меня.
- Еще гоститъ у меня.
- А Поль-де-Кока читаете?
- Нѣтъ...
- Какая rude! хотите пришлю?
- Пришлите, пожалуй.
- Вотъ такъ-то лучше. А что, будете послѣ завтра у губернаторши?
- Что тамъ такое?
- Вотъ прекрасно! она пмяинница.
- Неужели? съ ужасомъ вскрикнула хозяйка; ахъ, Боже!

совсѣмъ изъ головы вышло... Мерсі, что напомнили. Точно,— послѣ завтра 19-е!

— У нихъ будетъ балъ. Завтра звать будутъ. Вотъ, сегодня я и вожусь съ нарядами и модистками. Нужно свѣжее платье.

Что? Здоровы-ли вы? т. е. ты, твой мужъ и малютка? Послѣднюю поцѣлуй за меня, а второму поклонись. Прощай, другъ мой!

20-е января.

Какъ рассказать тебѣ все это? Съ чего начать? Умъ мѣшается... руки дрожать, едва перо держу. Я всю ночь не спала, и чѣмъ-свѣтъ пишу тебѣ — мнѣ легче отъ этого. Скажу просто—я видѣла *его*, я говорила съ нимъ! Да, и не умерла, не упала въ обморокъ, даже не наговорила глупостей. Разгадай, послѣ этого, человѣческое сердце! Вчера я пріѣхала на балъ поздно, не потому, чтобы хотѣла помодничать, а чтобы меньше тамъ оставаться. Вхожу, вальсируютъ. Вдругъ, въ числѣ вальсирующихъ мелькнуло мимо меня знакомое и вмѣстѣ незнакомое лицо... всматриваюсь— онъ!.. Я узнала его, даромъ, что онъ пополнѣлъ, возмужалъ и отпустилъ тонкія, прямыя бакенбарды. Я не вѣрила еще себѣ, и спросила о немъ у близъ стоявшей знакомой: «не знаю,—отвѣчала та, чиновникъ какой-то»... Наконецъ, онъ приблизился ко мнѣ и сейчасъ узналъ.

— Катерина Павловна! Вотъ пріятнѣйшая встрѣча!

— Я тоже рада васъ видѣть. Давно-ли вы здѣсь?

— Со вчерашняго дня. А вы здѣсь постоянная жительница? Все тѣ-же, прибавилъ онъ,—еще похорошѣли.

— Хотите, я познакомлю васъ съ моимъ мужемъ?

— Очень радъ, прошу васъ...

Мнѣ стало горько и досадно. Не грѣхъ ли ему? Ни тѣни чувства, ни въ голосъ, ни во взглядѣ. Будто онъ не зналъ, какъ я его любила! Неужели три года изгладили все? Или гордость мѣшаетъ ему? Вѣдь онъ вѣчно хотѣлъ, чтобъ и счастье, и женщины, сами, съ поклономъ запрашивались

къ нему... Впрочемъ, съ полчаса, мы говорили, какъ старые знакомые. Онъ разспрашивалъ меня о тебѣ, о моихъ родныхъ.

— Веселитесь вы здѣсь? спросилъ онъ меня.

— Какъ видите; выѣзжаю, танцую.

— Можно дѣлать и то, и другое, и не веселиться.

Я молчала. Какъ нарочно, я была глупа.

— Позвольте мнѣ имѣть удовольствіе быть у васъ?

— Милости просимъ, мы будемъ рады.

Онъ поклонился и отошелъ.

Побрани меня, мой другъ, за то, что я приняла такъ къ сердцу эту пустую и холодную встрѣчу, и за то, что я не спала ночь, и за то, что я все таки думаю о немъ съ горькой отрадой. Прощай!

26-е января.

Не жди отъ меня обыкновенныхъ, порядочныхъ писемъ; только и буду писать о томъ, что занимаетъ меня. Вчера вечеромъ сидѣлъ онъ у насъ. Гостей было немного, всего пять человѣкъ мужчинъ, женщины ни одной. Трое изъ гостей составили партію съ мужемъ, а двое остальныхъ: онъ и еще одинъ молодой человѣкъ Павловъ, помѣстились у моего рабочаго столика. Павловъ препростой, но предобрый малый. Толковали о томъ, о семъ. Странно! во всѣхъ сужденіяхъ его и словахъ пробивается какая-то скрытая, ѣдкая желчь. Мнѣ кажется, онъ только на словахъ играетъ роль современнаго человѣка.

— Ахъ! сказалъ, — не помню къ чему-то Павловъ, — какъ много условій для счастливой жизни!

— А много-ли? отвѣчалъ онъ: деньги, протекція по службѣ, здоровье, выгодная женитьба... вотъ и все.

— А душа, сердце? Вы забыли! трагически произнесъ Павловъ, робко взглянувъ на меня.

— Душа, сердце... Помилуйте! кто нынче думаетъ о нихъ? Даже мальчики стараются прятать душу и сердце подальше... Вы попрежнему любите цвѣты, Катерина Павловна?—вдругъ

обратился онъ ко мнѣ, взглянувъ на окно, гдѣ стояло нѣсколько горшковъ съ зеленью, безъ цвѣтовъ.

— До глупости.

— Ахъ, Боже! я и не знала! воскликнулъ Павловъ съ величайшимъ изумленіемъ.

Я чуть не засмѣялась. Надо тебѣ сказать, что Павловъ неравнодушенъ ко мнѣ. Даже мужъ какъ-то замѣтилъ это и сказалъ:

— Помилуй, матушка! Павловъ влюбленъ въ тебя; полюбезничай съ нимъ, да попроси щенка водолаза, у него славные...

Вечеръ кончился какъ-то вяло; мнѣ не говорилось; я будто ослабѣла, будто выдержала тяжкую болѣзнь. Оставшись одна, горько плакала... О чемъ? Сама не знаю. Сегодня просыпаюсь и чувствую пріятный запахъ свѣжихъ цвѣтовъ: у моей кровати, на столикѣ, въ небольшой хорошенькой вазѣ, красовался очаровательный букетъ изъ гіацинтовъ, амарилисовъ и другихъ цвѣтовъ, возможныхъ здѣсь зимой. Звоню. Входитъ моя Даша. Спрашиваю: отъ кого букетъ.

— Не знаю-съ; сегодня, только что мы проснулись, чевѣкъ чей-то принесъ, еще и ворота были заперты, насилу достучался и вызвалъ меня. Поставь, говоритъ, тихонько въ комнату къ барынѣ, покуда она спитъ. Да отъ кого ты?— Не велѣно, говоритъ, сказывать, ужъ барыня узнаетъ. Такъ и не сказалъ, а мнѣ далъ цѣлковый, ей Богу-съ. Вы, матушка, не гнѣвайтесь, я не смѣла не взять цвѣтовъ.

Это *онъ* прислалъ! Я знаю, чувствую, что *онъ*! Спасибо ему, спасибо за эти цвѣты, для моего сердца незабвенные, ненаглядные! Онъ еще любитъ меня! Любитъ! Не сойти бы мнѣ съ ума?.. Прощай, мой другъ! Не сердись, не ворчи. Я не свожо глазъ съ моего букета.

1-е февраля.

Что сказать тебѣ? Онъ уѣхалъ... Дѣла его кончились скороѣ, нежели то ожидалось. Я была одна, когда онъ пріѣ-

халь проститься. Видно, я была очень блѣдна, что онъ съ участвемъ спросилъ меня о здоровьи.

— Вамъ бы не худо было сдѣлать какое нибудь небольшое путешествіе, хоть на воды куда нибудь, сказалъ онъ; мнѣ кажется, вы утомлены здѣшной безцвѣтной, пустой жизнью. Простите меня за совѣтъ, по старой дружбѣ.

Мнѣ показалось, что въ этихъ словахъ было столько тоннаго, горькаго и оскорбительнаго для меня равнодушія, что я не выдержала, закрыла лицо и зарыдала... Я никогда не воображала себя способной къ подобной глупости.

— Что это, мой другъ? сказалъ онъ, вдругъ измѣнивъ голосъ и склоняя ко мнѣ въ волненіи и съ нѣжностью, — плакать! о чемъ? Помогутъ-ли слезы?.. Повѣрь, такъ должно быть... не мы первые, не мы послѣдніе...

— Любишь-ли ты меня?

— Видишь: до сихъ поръ не женатъ и не влюбленъ.

— А теперь? я не помнила, что говорила.

— Катя моя! сказалъ онъ, взявъ меня за руку, къ чему развивать этотъ мучительный вопросъ? На общее страданье?.. Черезъ нѣсколько часовъ я ѣду... Богъ знаетъ, увидимся-ли мы... Онъ отвелъ мнѣ отъ лица волосы, поцѣловалъ и перекрестилъ меня. — Прощай, будь здорова. Дай Богъ тебѣ силъ и терпѣнья!

И все звучать у меня въ ушахъ эти послѣднія слова его, все слышится его голосъ, все кажется, онъ цѣлуетъ и крестить меня... Нѣтъ, крѣпокъ, живучъ человѣкъ! Прощай!

Р. С. Сейчасъ Даша объявила мнѣ, что видѣла человѣка, принесшаго цвѣты, и допросилась у него, отъ кого они присланы: цвѣты были отъ Павлова... Еще очарованіемъ меньше, еще пошlostью больше... Какая тоска! Хоть умереть. Господи Боже! что же такое все мое существованіе? Что-то мутное, безцвѣтное, неопредѣленное... такъ-себѣ: ни жизнь ни смерть; ни сонъ, ни явь; ни тьма, ни свѣтъ... Богъ знаетъ, что такое! Тяжело... Прощай!

1849.

НЕПРИНЯТАЯ ЖЕРТВА.

Кто этот молодой человекъ, Лида? спросила прекрасная женщина другую, еще моложе, перебирая модныя картинки.

— Какой молодой человекъ?— сказала Лида, слегка покраснѣвъ.

— Тотъ, который былъ давеча утромъ у твоего дяди.

— А! это художникъ Эровъ... что ты на меня такъ смотришь?—

— Такъ, ничего... отвѣчала та, немного насмѣшливо, продолжая проникать взоромъ своихъ прекрасныхъ черныхъ глазъ молодую дѣвушку, у которой лице ярче разгаралось румянцемъ отъ этого ясновидящаго взора.

— Какая ты, Марія!— сказала она, наконецъ, съ непобѣдимымъ волненіемъ.

— Ты любишь его, Лида? нечего скрывать! Лида, вмѣсто отвѣта, закрывъ лицо руками, заплакала.

— О, да это не на шутку! сказала Марія, изумленная такимъ неожиданнымъ проявленіемъ чувства:— Давно онъ здѣсь?

— Мѣсяца два, отвѣчала Лида, улыбаясь сквозь слезы:— я кажусь тебѣ очень глупой и смѣшной, Марія?

— Смѣшной? почему смѣшной? Любовь въ эти годы также обыкновенна, какъ цвѣты весной. Часто ты съ нимъ видишься?

— Да, онъ ходитъ къ намъ; дядинька ласкаетъ его.—

— Бѣдный Алексѣй Дмитричъ! И не подозрѣваетъ, какую бѣду себѣ готовить!

— Какую же бѣду?—

— А твоя любовь: скажи, къ чему она поведетъ? чѣмъ кончится?

— Не знаю; какое мнѣ дѣло знать, чѣмъ кончится! Я люблю, да и какъ мнѣ не любить, когда въ моей жизни только и прекраснаго, что это чувство! Какъ не любить, когда отъ его улыбки, отъ его взгляда и голоса, станется мнѣ такъ хорошо!

— И онъ знаетъ это?

— Что тебѣ сказать? Да, мнѣ кажется, что и онъ чувствуетъ, какъ я люблю его, что и онъ любитъ: только,—это такой мрачный, гордый человѣкъ... всячески старается скрыть, что у него на душѣ. Вѣрно и онъ также, какъ ты, спрашиваетъ, къ чему это поведетъ?

— Вѣдь не выйдешь-же ты за него...

— Помилуй, Марія, какъ можно! этотъ человѣкъ принадлежитъ къ другому обществу; онъ не богатъ... я тоже бѣдна, да избалована жизнью у дядюшки: ты знаешь, какъ онъ любитъ меня, какой онъ аристократъ въ душѣ!.. да это бы убило его!

— Вотъ, видишь, какъ ты благоразумна... Ну, ты меня успокоила; я думала, что ты и вправду влюблена по уши. Слава Богу, нѣтъ; онъ уѣдетъ, ты погрустишь и позабудешь о немъ...

— Боже мой! Это слишкомъ жестоко съ твоей стороны! Какой рассчитанный, мѣткій ударъ! Ты хочешь сказать, что я не умѣю любить, что недостойна этого прекраснаго, живительнаго чувства... и, можетъ быть, ты права, можетъ быть, я точно не могу, не умѣю любить...

Она встала, и на нѣжномъ лицѣ ея отразилось тяжелое, скорбное чувство.

— Кто же это говорить, душа моя? кто думаетъ, что ты не умѣешь любить! Я хотѣла только сказать, что любовь твоя не полна, не развилась еще до той степени, когда она охватываетъ все наше существо и получаетъ неодолимую силу: до этой степени она, можетъ быть, и не разовьется; это также способность души, которая не всякому равно

дается. Какъ бы я ни желала быть великимъ поэтомъ, какъ бы ни старалась, никогда бы не была имъ, потому что генія поэзіи не имѣю... Такъ и въ любви, другъ мой, есть разныя степени...

— Боже мой! ты не понимаешь меня, заговорила Лида: — кто поручится, что я не помрачу, со временемъ, моей жертвы невольнымъ ропотомъ и раскаяніемъ? Мнѣ бы не пережить этой минуты, этой смерти счастья!

— Еслибъ любовь твоя развилась до той степени, о которой я говорила, тогда для тебя не было бы жертвъ; то, что ты теперь называешь жертвою, было бы ею только въ глазахъ другихъ...»

— Какъ знать! цвѣтокъ не распустится пышно при недостаткѣ воздуха и свѣта; бѣдное сердце мое не разцвѣтетъ вполнѣ, покуда будетъ подавлено душною атмосферою, которую люди зовутъ приличіемъ и расчетомъ... Лучъ свѣта, струя воздуха произведутъ чудесное дѣйствіе...

— Дай Богъ! Только ты хочешь начать тяжелую борьбу.

— Да, тяжелую; но я надѣюсь ее перенести.

Лида встала; ея лицо было прекрасно тѣмъ, что выражало. Подруга глядѣла на нее своими чудесными, большими глазами. Глубоки и темны, какъ бездна, были эти глаза; трудно было читать въ нихъ, а они выражали много. У Лиды вся душа рисовалась въ свѣтломъ взорѣ, въ нѣжныхъ чертахъ, въ движеніяхъ, полныхъ простой, врожденной граціи. Рѣзкій звонъ колокольчика раздался въ прихожей и заставилъ Лиду вздрогнуть. Она знала, что только онъ могъ такъ судорожно, такъ порывисто дернуть снурокъ... Она вдругъ будто окаменѣла. Марія между тѣмъ, придвинула къ себѣ одинъ изъ кипсековъ, разбросанныхъ по столу, и стала разсматривать гравюры.

— Полно, успокойся! сказала она вполголоса, и медленно подняла взоръ на вошедшаго молодого человѣка.

Благородная, суровая красота этого молодого человѣка поражала съ перваго взгляда; въ его осанкѣ и чертахъ было что-то смѣлое, горделивое; быстрый, пронизательный взглядъ его былъ почти невыносимъ; этотъ взглядъ, въ

которомъ, казалось, сосредоточилась вся сила души, непостижимо умѣлъ привлекать и отталкивать, заставить искать себя и бояться, въ одно и тоже время. Таковъ былъ художникъ Эровъ. Въ губернскомъ городѣ, — гдѣ происходитъ настоящее дѣйствіе, — онъ появился три мѣсяца назадъ, по случаю отдѣлки новаго храма, сооруженнаго однимъ изъ тамошнихъ купцовъ. Купецъ этотъ, обладая милліонами, обладалъ и рѣдкимъ, при этомъ, достоинствомъ, — изящнымъ вкусомъ. Эровъ взялъ выгодный подрядъ и пріѣхалъ изъ Петербурга съ двумя товарищами-помощниками.

Алексѣй Дмитріевичъ Стояновъ, дядя Лиды, человекъ спѣсивый, обратилъ на него особенное вниманіе.

— Пожалуйста, заходите ко мнѣ во всякое время, говорилъ онъ Эрову. — У меня племянница страшная охотница до всего изящнаго, и, странное дѣло, сама не рисуетъ, а имѣетъ какой-то этакій взглядъ на живопись, этакое какое-то поэтическое чутье. — Нельзя же, продолжалъ онъ, отходя къ одному изъ своихъ знакомыхъ, не приласкать русскій талантъ. Я русскій, право, все какъ-то свое-то близко: будь онъ французъ, Богъ съ нимъ; что мнѣ французъ? ну, а свой братъ русскій, — другое дѣло.

Стояновъ былъ большой патриотъ. Уважая и прославляя старину, онъ не дичился новаго поколѣнія, хотя подчасъ и осуждалъ въ немъ многое; жалѣлъ о тѣхъ временахъ, когда женились и выходили замужъ, не зная въ глаза другъ друга, полагаясь на вкусъ и разумъ родныхъ; сознавалъ, что живутъ нынѣ лучше, что люди стали умнѣе, хитрѣе, только роскошь усилилась; да нельзя иначе, — вѣкъ такой. Отживъ уже молодость, онъ забывалъ, или притворялся, что забывалъ, что другіе молоды, и все, что радуетъ, мучитъ и приводитъ въ восторгъ самое сердце, подводилъ подъ свои математически вѣрныя и холодныя правила. Практическая сторона жизни была у него всегда въ выигрышѣ, за то бѣдному сердцу приходилось отъ него плохо. Онъ отвергалъ любовь, какъ слѣдствіе тайной симпатіи, сходства, понятій и вкусовъ, называлъ такую любовь глупостью, не вѣрилъ ей... Можетъ быть, не вѣрилъ только на словахъ...

кто его знает?.. Жена его, слабая, больная женщина, шесть лѣтъ не оставляла своего кресла и наконецъ оставила, для переселенія въ лучшій міръ.— Дѣтей у нихъ не было; ихъ замѣняла Лида, родная племянница и крестница Стоянова. Взявши Лиду къ себѣ ребенкомъ, Стояновъ любилъ ее до нѣжности. Онъ не рѣшился, или не рассудилъ въ другой разъ жениться и остался съ Лидой, на правахъ отца. И Лида любила его, какъ отца; будучи круглой сиротой, привыкла къ его, подчасъ взыскательному, праву; не противорѣчила никогда его мнѣніямъ, будучи уже и взрослой дѣвушкой, изъ страха огорчить его; уважала его въ душѣ, какъ умнаго, честнаго и благороднаго человѣка, хоть и вздыхала украдкой, когда онъ называлъ любовь глупостью и воображеніемъ. Можетъ быть, онъ и успѣлъ бы, со временемъ, образовать въ ней сухую, безстрастно-разумную натуру, вырвать изъ ея души зародышъ поэзіи и мечтательности, и тѣмъ предохранилъ бы ее отъ бѣды любви, еслибъ на пути жизни не встрѣтилась ей женщина, восемью годами ея старѣе, женщина съ умомъ необыкновеннымъ, сочувствующая всему изящному. Восторженная проповѣдница женскихъ правъ, пламенная, страстная, она готова была испытать всякія лишенія, для достиженія своихъ желаній. Эта женщина была 26-лѣтняя вдова, Марья Александровна Манова. Въ свѣтъ объ ней думали различно: одни называли ее пустой кокеткой, другіе безнравственной, Жоржъ-Зандовской женщиной, третьи видѣли въ ней только умную, пріятную *даму*. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Стояновъ, который былъ хорошимъ пріателемъ съ ея покойнымъ мужемъ. Женщины не любили ее, потому что она переступала границы очарованнаго круга и коснулась жаждущей душой своей міра науки, и на все, что черпала изъ этого міра, набрасывала цвѣтушій, фантастическій покровъ, сотканный пламеннымъ воображеніемъ; онъ, вообще, составили объ ней какое-то ложное, дикое понятіе и, слыша иногда ея блестящій краснорѣчіемъ разговоръ о какомъ-нибудь оерьозномъ предметѣ, воображали, что съ ней не иначе надо говорить, какъ объ ученомъ, и чуть не бѣ-

гали ее. — Лида встрѣтилась съ ней, въ первый разъ на балѣ. Уставши отъ танцевъ, она пошла отдохнуть въ боковую комнату. Тамъ, при поэтическомъ, нарочно устроенномъ полусвѣтѣ, на роскошномъ диванѣ, увидѣла она молодую, прекрасную женщину, съ выразительнымъ лицомъ и большими, блестящими, черными глазами. Сперва между ними начался самый обыкновенный, свѣтскій разговоръ; но потомъ этотъ разговоръ незамѣтно разлился широкимъ, огненнымъ потокомъ, и охватилъ душу и сердце воспримчивой дѣвушки. Съ этихъ поръ живая симпатія соединила ихъ. Марья Александровна находила невыразимое наслажденіе раскрывать Лидѣ новый, невѣдомый ей міръ. И жадно прикинула къ нему ищущая, страстная душа дѣвушки, обрѣтая новыя думы, новыя сочувствія. Вслѣдствіе этого сближенія, Лида вдругъ стала на два аршина выше всего, ее окружающаго. Манова, испытавши по ея странной жизни и понятіямъ нерасположеніе людей, внушала молодой подругѣ своей негодованіе къ людямъ и отыскивала въ нихъ только дурную сторону... Лида вздыхала, сомнительно качала головой и вѣрила въ лучшее. Марья Александровна, много испытавъ и перечувствовавъ; приобрѣла какую-то смѣлость и пренебреженіе къ людскимъ толкамъ и вниманію; ей даже нравилось иногда возбудить ихъ, и потому часто ея нарядъ и манеры отличались яркою оригинальностью. Лида—напротивъ; ей съ дѣтства натвердили слово *примчѣ* и пріучили къ нему. Въ характерѣ у ней была какая-то врожденная робость и слабость, которыя, разъ побѣжденные волей, переходили въ твердую, непоколебимую рѣшимость. Лида была, однако, слишкомъ горда и умна, чтобъ показать свѣту эту робость; она прикрывала ее маскою равнодушія и, дѣлая надъ собою усилія, на любой балѣ являлась, повидимому, такъ свободно и непринужденно, какъ будто входила въ свой кабинетъ. Лида до сихъ поръ не была влюблена и смотрѣла недовѣрчиво и сухо на гурбернскую молодежь. Тѣ, съ кѣмъ она была знакома, не нравились ей; тѣхъ же, которые могли бы понравиться,

она не знала: отъ того-то она скучала въ своемъ обществѣ, усердно прикрывая зѣвоту улыбкой.

— Для чего притворяться? говаривала ей Марья Александровна:— скучно—зѣвай, весело—смѣйся.

— Нельзя, Марія: ужъ они привыкли къ моей улыбкѣ и назовутъ меня странной, несносной; надо быть, какъ всѣ, иначе привлечешь толпу зѣвакъ...

— А ты не замѣчай ихъ...

— Для чего же возбуждать чей-либо гнѣвъ?

— Ты всегда будешь связана приличіями!

— А кто же свободенъ отъ нихъ?

— Въ этомъ съ тобою согласна.

Согласіе это Марья Александровна заключила длиннымъ, пѣвчатымъ монологомъ, можетъ быть, гдѣ нибудь вычитаннымъ и при случаѣ импровизованнымъ.

Теперь нѣсколько словъ о художникѣ. Сынъ бѣднаго живописца, 13-ти-лѣтній мальчикъ, Александръ Эровъ, обратилъ на себя вниманіе одного важнаго человѣка, у котораго расписывалъ домъ, вмѣстѣ съ старикомъ отцомъ своимъ. Замѣтя способности Эрова, онъ взялъ его подъ свое покровительство и передалъ съ рукъ на руки старому нѣмцу, гувернеру своего 10-ти-лѣтняго, единственнаго сына. Маленькій князь скоро привязался къ новому товарищу, а счастливыя способности и бойкій, смѣлый умъ мальчика заставили полюбить его. Съ 17-ти лѣтъ онъ сталъ посѣщать Академію и обратилъ на себя вниманіе профессора. Князь, по какимъ-то непредвиденнымъ обстоятельствамъ, переселился въ Москву, гдѣ черезъ годъ умеръ. Оплакавъ отца, сынъ уѣхалъ за границу; Эровъ между тѣмъ продолжалъ заниматься, посвятилъ все время художественнымъ занятіямъ и работалъ усердно. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ слабыхъ, нервическихъ людей, у которыхъ вся дѣятельность сосредоточена въ сердцѣ; это, и по виду, былъ сильный, здоровый мужчина, созданный для дѣйствительной жизни и ея наслажденій, а не для фантастическаго, мечтательнаго существованія. Самыя произведенія его носили печать какой-то смѣлости и матеріальности и вмѣстѣ

съ тѣмъ поражали яркостью и опредѣленностью. Эровъ бѣгалъ всего, что могло возбудить въ душѣ его тяжелое или грустное чувство, и когда представлялось ему какое нибудь горе—онъ искалъ средства скорѣй отъ него избавиться, а не влюблялся въ него и не нянчился съ нимъ, какъ многіе сладенькіе мечтатели. Ему было 24 года, когда онъ пріѣхалъ въ губернской городъ. Появленіе его произвело нѣкоторое недоумѣніе: не знали, какъ съ нимъ быть, на какую ногу поставить его. Стояновъ обходился съ нимъ привѣтливо.

Въ мрачный вечеръ весенняго дня, Эровъ въ первый разъ пошелъ къ Стоянову. Лида заговорила съ нимъ съ тонкимъ тактомъ, свойственнымъ людямъ образованнымъ. Въ ея обращеніи не было ни излишней внимательности, ни холодности; она заговаривала съ нимъ просто и свободно, какъ съ старымъ знакомымъ, и умѣла пріятно коснуться интересовъ его души. Стояновъ также принялъ его безъ гордости и пригласилъ на другой день обѣдать. Эровъ холодно поблагодарилъ, отвѣтя: «если будетъ досугъ»,—а между тѣмъ не располагалъ воспользоваться приглашеніемъ. Но при прощаніи, мелодическій, звучный голосъ сказалъ ему: «до завтра? не правда ли?»—сказалъ съ такой увѣренностью, что онъ, тутъ же, обѣщавъ придти непременно.

Съ этихъ поръ, молодые люди видѣлись почти всякій день: то художникъ, не смотря на намѣреніе не сближаться съ Стояновыми, приходилъ къ нимъ, то Алексѣй Дмитріевичъ, гуляя, заходилъ въ мастерскую художника. Легко и отрадно говорилось между собой молодымъ людямъ; острый, живой умъ и огненный взглядъ Эрова волшебнo дѣйствовали на Лиду. Полюбила его Лида. И онъ полюбилъ ее, но полюбилъ какъ-то странно, какъ-то неполно: эта любовь не поглотила его души, а только дала ей лишнюю грустную думу; это чувство было какъ будто вынуждено нѣжнымъ участіемъ и внимательностію Лиды, и не могло не только вознаградить страданій его гордой, самолюбивой души, но еще, казалось, усиливало ихъ. Обстоятельства препятствовали ихъ союзу; они знали это и старались отдалить въ

мысляхъ невозможность брака. Но это была мечта, краткое забвеніе, а мечтой всю жизнь не проживешь: убѣжденія общества, вкорененныя съ дѣтства, непремѣнно отзовутся, и выскажутся, какъ ни скрывай ихъ: они выскажутся или внезапнымъ румянцемъ, или скрытой слезой, или трепетомъ губъ и голоса... Какъ бы то ни было, дѣло сдѣлано, жизнь отравлена, Лида полюбила художника. Марья Александровны не было въ городѣ почти всю весну; можетъ быть, при ней дѣла пошли бы другимъ порядкомъ. Но пора обратиться къ настоящему дѣйствию.

— Дядюшка вашъ, — заговорилъ художникъ холодно и сухо, обращаясь къ Лидѣ, — поручилъ мнѣ написать вашъ портретъ... Но онъ не выдержалъ, встрѣтя ея улыбку, ея взоръ, полный грустнаго упрека, не выдержалъ, и перемѣнилъ свою мрачную, угрюмую мпну на выраженіе самой глубокой нѣжности. — Здоровы ли вы?

Какія пустыя слова! какой обыкновенный вопросъ! Отчего же Лида трепещетъ при этомъ вопросѣ? Оттого, что въ немъ говорить страсть...

— Скажите, что бы могло стоить написать небольшой портретъ масляными красками? спросила его Марья Александровна.

— Смотря по физиономіи, отвѣчалъ онъ; — есть лица, на которыя смотрѣть — уже высокая награда.

— Нѣтъ, это все красныя слова, г-нъ художникъ; однако же скажите правду.

— 200 и 250, спокойно отвѣчалъ онъ: — а вамъ угодно заказать портретъ?

Лида задумалась. Марья Александровна взглянула на молодого человѣка; онъ опустилъ глаза.

— Оставайтесь такъ, сказалъ онъ Лидѣ, принимаясь за краски: — съ этой грустью, съ этимъ раздумьемъ, вашъ портретъ будетъ очень похожъ...

— Наконецъ то я залучила къ себѣ этого гордеца, сказала про себя Марья Александровна, опускаясь въ кресла,

въ своей небольшой, но со вкусомъ убранной квартирѣ, находившейся на концѣ города и примыкавшей къ огромному городскому саду: — два раза былъ, будетъ и третій. Мы уже познакомились. О, надо сказать правду, я на это мастерица! Боюсь, не влюбиться бы самой, этотъ человекъ мнѣ по вкусу. Да... люби я поменьше Лиду, я отняла бы его у ней. Бѣдняжка! не худо бы излечить ее отъ этой страсти: бесполезная трата чувствъ и времени, — много борьбы и горя, и мало радости; разстанется же она съ нимъ! Я знаю, у ней не достанетъ ни силы ни воли идти противъ всего, къ чему она привыкла, чего боится и что уважаетъ. Въ ней мало энергiи; она не вынесетъ суроваго гнѣва дяди, не выдержитъ его совѣтовъ и представлений: угроза ее испугаетъ, ласка покоритъ. Не такую женщину ему надо. Я надѣюсь, что онъ и самъ увидитъ это со временемъ.—И, вслѣдствіе этого размышленія, она подошла къ зеркалу, которое отразило прекрасный женскій образъ, съ огненными глазами, съ роскошною таліей. Въ ту же минуту кто-то легонько постучалъ въ окно. Марія Александровна подошла.

— А, это ты, Лидя! сказала она, увидавъ хорошенькое личико, въ бѣлой шляпкѣ, сопровождаемое длиннымъ лакеемъ въ ливреѣ и нѣмкой, въ темной шляпкѣ, — чѣмъ-то среднимъ между нянькой и гувернанткой.

— Марія! какъ я рада, что ты дома! Такъ давно не видались! Милая Луиза Карловна! вы воротитесь къ дяденькѣ, чтобъ напоить его чаемъ.

Нѣмка съ человекомъ отправились.

— Фу, какъ жарко! говорила Лидя, снимая шляпку и мантилью:—Милая Марія! что-жъ ты меня не поцѣлуешь? Вѣдь я пѣшкомъ пришла къ тебѣ!

— Здравствуй, мой ангелъ! садись и отдыхай.

— Какъ у тебя хорошо! Сколько тѣни! У насъ жарко и душно.

— Зато у васъ большой домъ.

— Счастіе посѣщаетъ не однѣ только богато отдѣланныя комнаты.

— Знаю, что оно живетъ и въ хижинахъ. Ахъ, ты мечтательница!

— Зачѣмъ же крайности? Между хижинкой и твоей прелестной комнаткой большое разстояніе.

— Конечно; но и тутъ желанія мои очень и очень стѣснены... Вотъ, хоть бы я, напримѣръ, какъ бы хотѣла купить у Коровина чудесныя, голубыя вазы; да какъ подумаю, что деньги пужны на другое, не столь красивое, но необходимое, такъ вазы и въ сторону... Но, полно объ этомъ! Расскажи мнѣ лучше, какъ ты провела это время? что твой портретъ?

— Почти конченъ.

— А что художникъ? Вотъ, и покраснѣла!

— Ахъ, Марія! Богъ знаетъ, что это за человѣкъ! Вѣчно раздраженъ, вѣчно недоволенъ, хочетъ чего то невозможнаго и, кажется, готовъ возненавидѣть меня за то, что полюбилъ.

— Знаешь-ли, Лида: мнѣ кажется, это сухой и надутый гордецъ, недостойный твоей благородной привязанности: черствая душа.

— Нѣтъ, о, нѣтъ! Вчера рука у него дрожала, когда онъ подавалъ мнѣ вѣтку спрени, которую я нечаянно уронила, и во взорѣ у него горѣло чувство. Я хотѣла бы умереть, Марія!

— Умереть? зачѣмъ умирать, милая Лида? отъ первой неудачной любви? О, Боже мой! этакъ пришлось бы умирать почти всѣмъ женщинамъ. Многія ли изъ насъ любятъ свѣтло и счастливо? Еще годъ, много два, и ты равнодушно вспомнишь о прошедшей страсти...

— Можетъ-ли быть? Ты не знаешь меня, Марія. Я не изъ числа тѣхъ сплывшихъ, энергическихъ женщинъ, которыхъ сердце, подобно фениксу, возрождается свѣжо и ново, послѣ пожара страсти. Я боюсь, что въ этой неудачной, какъ ты называешь, любви, я стгублю жизнь моего сердца, истрачу всѣ силы, всѣ чувства... Страшно мнѣ, другъ мой!

— Всѣ такъ думаютъ, повѣрь.

— Дай Богъ!

— Знаешь, что? сказала Марья Александровна, поднимая занавѣсъ окна:—вечеръ прекрасный, и послѣ чаю не худо погулять; этихъ облаковъ нечего бояться, — дождя не будетъ, а если и пойдетъ маленький, то деревья въ саду густы и домъ близко.

— Я очень рада.

Напившись чаю, онѣ пошли въ садъ, заговорились и прогуляли до позднихъ сумерекъ.

— Не пора-ли домой? замѣтила Лида.

— А, вотъ, отдохнемъ на этой скамейкѣ, здѣсь такъ хорошо! Въ комнатѣ нѣтъ столько прелести и поэзіи.

Вечеръ былъ теплый, но мрачный. Тихо, усыпительно шумѣли деревья; звучно пѣла въ кустахъ малиновка, и яркой звѣздой свѣтился сквозь сѣтку листьевъ огонекъ изъ ближняго трактира.

— Мы однѣ, безъ человѣка; робко проговорила Лида, садясь на скамью.

— Вотъ, не сами-ли мы отравляемъ всѣ удовольствія! воскликнула Марья Александровна?—тебѣ непременно нужно няньку. Да для меня уже одно присутствіе лакея отняло бы половину наслажденія!.. Безъ человѣка! Да развѣ мы не люди, что не можемъ шагу сдѣлать безъ присмотра? Развѣ мы дѣти?

— Но... можетъ случиться неприятность, пьяный!..

— Не бойся, мой другъ; кто же сюда можетъ войти!

Только она выговорила это, какъ раздалась разгульная, громкая пѣсня, въ нѣсколько голосовъ, довольно стройно сливавшихся, потомъ замолкла на мгновенье, прерванная звонкимъ хохотомъ, и началась съ новой силой. Не смотря на темноту, пріятельницы могли различить въ концѣ аллеи темную, движущуюся массу: то было нѣсколько молодыхъ гулякъ, которые шли по прямому направленію. Лида, вздрогнувъ, вскочила со скамейки.

— Ради Бога, уйдемъ скорѣе, Марія! они идутъ сюда, мы однѣ.

— Трусиха! сказала Марія, удержавъ ее за руку:— что они намъ сдѣлаютъ? пусть ихъ поютъ.

Лида сѣла. Веселая толпа была отъ нихъ въ нѣсколькихъ шагахъ: ее составляли нѣсколько молодыхъ людей. Два художника, товарищи Эрова, были тутъ-же. Они благополучно бы миновали Марію и Лиду, не замѣти ихъ, еслибы одинъ изъ нихъ не оборотился поднять выпавшую у него изъ рукъ трость. Бѣлое платье Лиды бросилось ему въ глаза.

— Господа! здѣсь дамы! закричалъ онъ.

— Проси ихъ ужинать съ нами, отвѣчали ему.

— Боже! съ ужасомъ, тихо сказала Лида.

— Чего ты боишься? отвѣчала ей Марья Александровна. Молодежь окружила ихъ.

— Милостивыя государыни! заговорилъ одинъ изъ нихъ, съ комической важностью:—кто бы вы ни были, каковы бы ни были, хорошенькія или дурныя, стары или молоды,— потому что темнота мѣшаетъ рассмотреть васъ хорошенько,—я прошу васъ отужинать съ нами, вотъ въ этомъ павильонѣ, потому что я сегодня имьяинникъ. Увѣренъ, что вы сдѣлаете мнѣ эту честь.

— Право? сказала Марья Александровна весело и спокойно, какъ будто дѣло шло о приглашеніи на чай къ доброй пріятельницѣ: — въ сожалѣнію, мы не можемъ доставить вамъ этой чести.

— Почему? отчего? посыпалось со всѣхъ сторонъ.

— Оставьте насъ, господа! сказала, наконецъ, серьезно Марья Александровна:—у насъ нѣтъ ни охоты, ни времени съ вами ужинать; наша карета сейчасъ будетъ.

— Карета въ вашемъ распоряженіи и можетъ подождать прекрасныхъ хозяекъ, сказалъ одинъ изъ стоящихъ, кажется, полуопьянѣлый:—павильонъ въ двухъ шагахъ, и ужинъ готовъ.

Марія начинала трусить, а Лида дрожала какъ въ лихорадкѣ, и не могла выговорить ни слова.

— Что же это бѣлое платье молчитъ?—сказалъ одинъ изъ толпы.

— Что вы тутъ шумите? вдругъ произнесъ сильный, свѣжій голосъ.

— Саша! Александръ! Эровъ! послышалось въ отвѣтъ:— вотъ, онъ все уладить; онъ мастеръ.

Вслушавъ, въ чемъ дѣло, Эровъ подошелъ къ пріятельницамъ. Лида быстро схватила его за руку.

— Спасите меня отъ этихъ людей! сказала она вполголоса,

— Боже! Ли... но онъ не договорилъ имени:— идите дальше, господа, и не беспокойте ихъ, — онъ указалъ на Марію и Лиду; и вызвался проводить дамъ.—И странно! Ни слова, ни возраженія не было на эти слова. Онъ безпрепятственно вывелъ ихъ изъ толпы.

— Лида! вскричала Марія, когда онъ отошли на нѣсколько шаговъ:—какъ я виновата! По моей милости, ты разстроена и испугана. Не захворать бы тебѣ! Позвольте, Александръ Михайловичъ, я пойду поскорѣй впередъ и приготовлю какихъ нибудь успокоивающихъ капель.—И она, почти бѣгомъ, пустилась по аллеѣ. Художникъ и Лида остались одни.

— И вы, и вы тутъ, между ними! сказала она, съ чувствомъ скорбнаго изумленія. Художникъ вздрогнулъ, будто ужаленный змѣей. Хорошо, что темнота мѣшала Лидѣ видѣть на его лицѣ смущеніе и досаду.

— Отъ чего же мнѣ не быть тутъ, Лида Петровна? отвѣчалъ онъ:—мнѣ весело съ этими людьми; они протягиваютъ мнѣ руку, какъ товарищу, какъ брату.

Лида была поражена и смущена рѣзкостью его тона. Хотя обиженная гордость и сознание собственнаго достоинства пробудились было въ ней на минуту, но тотчасъ были подавлены непонятной робостью. Надменность и смѣлость этого человѣка дѣйствовали на нее магически. Она сама испугалась своихъ словъ и догадалась, по трепету его руки, на которую опиралась, и усиленному дыханію, что эти слова не прошли даромъ. Любовь, жалость, смѣшанные со страхомъ, вдругъ проникли ей въ душу.

— Кончимъ этотъ разговоръ, сказала она:—изъ него,

для насъ обоихъ, выльется много горькаго и обиднаго: забудьте его; не сердитесь... Боже мой! вѣдь я думала, что вы любите меня!—И она заплакала.

Кого не трогали слезы любимой женщины? Кого не тронули бы простота и простосердечная откровенность послѣднихъ словъ Лиды, которыя, подобно небесному огню, согрѣли и оживили Эрова!

— Кто же увѣрилъ васъ въ противномъ, Лида? Онъ остановился, подавленный душевнымъ волненіемъ. — Да! къ несчастію, да! Я люблю васъ... тебя, моя Лида! — И онъ страстно прижалъ къ губамъ ея руку. У Лиды закружилась голова; она приникла къ его плечу... Это была для нихъ обоихъ одна изъ тѣхъ чудныхъ, невыразимыхъ минутъ, какихъ бываетъ немного въ жизни, одна изъ тѣхъ минутъ чистаго, взаимнаго восторга, забвенія всего грустнаго и горькаго въ жизни. Обстановка этой истинно-поэтической сцены была прекрасна: темный садъ, мелькающіе огоньки, ароматы вечернихъ цвѣтовъ и нѣсколько звѣздъ, пробившихся изъ-за облаковъ,—все это было полно прелести и гармоніи. Ты-ли это, Лида? Ты-ли это, прекрасное дитя? Кто бы повѣрилъ, что это та самая Лида, которой ни одинъ кавалеръ не осмѣлился никогда пожать руки въ кадрили, или шепнуть притворную лесть? отъ тебя отреклись бы всѣ въ эту минуту,—всѣ начиная, отъ дяди, до послѣдняго знакомаго. Они сказали бы: нѣтъ, это не Лида: эту мы не знаемъ!

Марья Александровна, встревоженная ихъ медленностью, встрѣтилась имъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома. Проводя пріятельницъ до крыльца, художникъ, молча, поклонился и воротился въ садъ. Лида была до того потрясена всѣмъ случившимся, что едва пришла въ комнату, какъ съ ней сдѣлался истерическій припадокъ.

— Не здѣсь-ли мой экипажъ? спросила она, оправаясь.

— Здѣсь, милая Лида, отвѣчала Марья Александровна.— Ты сердись на меня? я во всемъ виновата!

— Вотъ, прекрасно! Да развѣ ты поступила съ намѣреніемъ? Прощай, Марія, до свиданья!

Когда Лида пріѣхала домой, Стояновъ ходилъ по комнатамъ докуривая сигару.

— Какая ты блѣдная! заботливо сказалъ онъ Лидѣ:—что съ тобой? здорова-ли?

— Такъ, голова немного болитъ. Прощайте, мой другъ, ужъ поздно; я пойду спать.

— Покойной ночи! Христось съ тобою!

Г-жа В* давала балъ, по случаю именинъ. И Лида собиралась на балъ. На душѣ у ней было легко и весело; она была согрѣта сознаниемъ, что любить, что любима. Последнему она вѣрила такъ безусловно, такъ восторженно, и эта вѣра горѣла передъ ней яркой, плѣнительной звѣздой; она-то дала ей лицу такое чудное выраженіе счастья, придада новый блескъ ея взору, новую прелесть движеніямъ. Какъ хороша Лида теперь, передъ баломъ, въ своей бѣлой блузѣ и легонькомъ чепчикѣ!

— Дуня! Пора голову чесать!

Смазливая горничная явилась на призывъ, со всѣми орудіями своего искусства. Когда Лида, совсѣмъ одѣтая, вошла къ себѣ въ гостинную, до слуха ея доходилъ неясный звукъ разговора, черезъ комнату.

— Кто у насъ? спросила она человѣка, поправлявшаго лампу.

— *Никого-съ.*

— Съ кѣмъ же папа говорить?

— Да это живописецъ, что портретъ съ васъ пишетъ.

Что это Лида? отъ чего вспыхнуло у тебя лицо? отъ чего остановилась ты, будто пораженная страшною вѣстью? что такъ смутило тебя? ужъ не глупый ли отвѣтъ слуги: *никого* т. е. никто, ничтожество?.. Онъ, котораго любовь твоя возвела для тебя на такую высоту?.. Если это смутило тебя, то приготовься: на каждомъ шагу будешь ты оскорбляема вдвойнѣ, за него и за себя. Теперь успокойся; карета у крыльца, поѣзжай на балъ. Тамъ ждутъ тебя пышные наряды, фальшивая улыбка, блескъ и свѣтъ; тамъ гремитъ

музыка, и подъ ея звуки, опьяненная быстротою таяца, ты позабудешься, заглушишь безотвязный голосъ сердца и постигнешь ту силу, какую имѣетъ балъ для женщины. Въ немъ тонуть ея печали, стихаютъ страданія; мельчаетъ чувство, разсѣвается горе; въ немъ незамѣтно отвыкаетъ она отъ внутренней жизни, и также незамѣтно переходитъ вся въ жизнь вѣшнюю.

Лида порхала на балѣ, а Марья Александровна ходила съ художникомъ по широкой, тѣнистой аллеѣ сада.

— Что вы дѣлаете? что вы дѣлаете, Александръ Михайловичъ? говорила она: — подумайте хорошенько, и вы почувствуете, что поступаете неблагоразумно; поскорѣй задушите это чувство, эту змѣю, которая, со временемъ, погубитъ васъ!

— Что же мнѣ дѣлать?

— Увѣжайте скорѣе, перестаньте ходить къ нимъ: дальше отъ глазъ, дальше отъ сердца. Лида ребенокъ; надъ ней это сбудется скорѣе, нежели надъ другой. Она васъ забудетъ; не выйдетъ же она за васъ!.. Положимъ, что вы были бы столько сильны, что оторвали бы ее отъ всего, что она привыкла уважать и считать необходимымъ съ дѣтства: но этотъ отрывъ оставитъ разрушительные слѣды въ ея душѣ, и вамъ останется измученная, полуживая Лида, которая не ангелъ же, чтобъ не считать васъ причиною своего страданья. Скажите, что вы хотите сдѣлать изъ этой любви? Общую пытку, никогда недостижимую цѣль, блѣдную мечту, надъ которой послѣ будете сами смѣяться, или опасную игру, въ которую вы, мужчина свободный и безответственный, обыграете ее навѣрное.

Художникъ призадумался.

— Да, вы правы, сказалъ онъ:—надо разстаться. Помогите мнѣ; вы такъ добры и умны!

— И какъ еще можете вы до сихъ поръ выносить все это! вы столько горды и благородны! Не сердитесь; я буду откровенна, какъ сама истина: Стояновъ не любитъ васъ,

особенно съ нѣкоторыхъ поръ; вы такъ ослѣплены, что не замѣчаете этого. Лида... конечно она любитъ васъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, повѣрьте, не забываетъ того разстоянія, которое отдѣляетъ васъ другъ отъ друга на общественной чертѣ.—Выходи за него, сказала я ей однажды.—«Какъ это можно?» былъ ея отвѣтъ...

Эровъ поблѣднѣлъ.

— О! сказалъ онъ:—будь проклята минута, въ которую я вступилъ въ этотъ городъ!

— Вотъ, видите-ли, до чего дошли вы теперь! Дойдете еще до худшаго, повѣрьте! Уѣзжайте! Работу докончатъ ваши товарищи; да она почти и кончена. Я тоже думаю скоро ѣхать въ Петербургъ. Тамъ мы встрѣтимся старыми друзьями, и вмѣстѣ погорюемъ и посмѣемся надъ неудачною попыткой... Тамъ вы напишете мой портретъ: не правда-ли? — прибавила она съ движеніемъ неотразимаго кокетства.

— А Лида? сказалъ онъ:—Лида! что съ ней будетъ?

— Лида вамъ не товарищъ; она пойдетъ своей дорогой. Послушайтесь меня, не ходите къ нимъ, если не хотите, въ самомъ дѣлѣ, заставить ее страдать глубоко.

— Завтра я кончу ея портретъ, а тамъ... послушаюся вашего благоразумія, уѣду отсюда.

Эровъ весь вечеръ провелъ съ Марьей Александровной. Она была очень любезна, и подчасъ до того оживлялась своимъ краснорѣчіемъ, что дѣлалась очаровательной. Они говорили о любви, о живописи, о поэзіи жизни и поэзіи искусства, о душевныхъ, незримыхъ страданіяхъ и... о всемъ прекрасномъ и высокомъ.

— Чудная женщина! думалъ онъ, возвращаясь домой;— любопытно было бы заглянуть ей въ душу, въ ея прошедшее: что она испытала въ жизни? любила-ли кого? какъ любила? была-ли счастлива, или натерпѣлась много горя? И онъ строилъ на этихъ вопросахъ разнообразный, занимательный романъ.

Ночь была теплая и ясная. Простясь съ художникомъ, Марья Александровна, съ какимъ-то давно невѣдомымъ на-

слаженіемъ, съла у окна. Заря догорала; тихо и ясно было вечернее небо; изъ сада лился запахъ цвѣтущихъ липъ и тополей. Она думала о художникѣ. «Полюбитъ-ли онъ меня? думала она.—Достанетъ-ли на столько моей красоты и ловкости? Какое счастье внимать изъ его устъ словамъ страсти, покорить это сердце и утопать въ сознаніи своей силы и красоты!»

Возвратясь съ бала, Лида, въ то же время, сидѣла у открытаго окна, въ своей комнатѣ, и ей, точно также, свѣтили звѣзды и догорала заря. Улица затихла и опустѣла; изрѣдка раздастся торопливый шагъ запоздалаго пѣшехода, продребезжатъ извожичьи дрожки, залаютъ собаки. Лида сидѣла неподвижно, охваченная какимъ-то непонятнымъ обаяніемъ. Усиленно билось въ ней юное, жаждущее жизни и счастья сердце,—билось, взволнованное сладкой думой, отраднымъ ожиданіемъ: завтра онъ придетъ! я опять увижу его, услышу его голосъ! Доживу-ли я до завтра? какъ я его люблю! какъ люблю! какъ все прекрасно въ этомъ мірѣ, когда любишь, когда счастливъ!—И долго сидѣла она, и долго думала, и долго мечтала, пока сонъ и усталость не сомкнули ея глазъ. Не спи, Лида! лови эти минуты, живи и переживай ихъ!.. Это жизнь, Лида, полная и прекрасная; она пройдетъ скоро и невозвратно; наступитъ другая пора, блѣдная и безцвѣтная: утомится сердце, очерствѣетъ обманутая, оскорбленная душа: одинъ за другимъ, лѣниво будешь провозжать ты дни, эти страницы скучной, незанимательной книги, которую судьба поневолѣ заставитъ тебя читать... Тогда спи, Лида! тогда ты благословишь сонъ и будешь ждать его, какъ желаннаго гостя!..

Портретъ оконченъ. Художникъ и оригиналь любятъся на него. Вошелъ Стояновъ. Онъ какъ-то подозрительно посмотрѣлъ на Лиду,—отъ того-ли, что щеки у ней слишкомъ раскраснѣлись, или отъ того, что головка слишкомъ близко наклонилась къ художнику.

— Посмотрите, папа, сказала она, указывая на портретъ, который въ самомъ дѣлѣ былъ прекрасенъ:—какъ хорошо!

— Да, проворчалъ дядя:—хорошо... Что же вамъ за

него? продолжалъ онъ, обращаясь къ художнику.— Скажите, не стѣсняйтесь, прибавилъ онъ, видя, что тотъ не говорить ни слова.

— Мнѣ ничего не надо, отвѣчалъ онъ, выпрямляясь:— позвольте мнѣ подарить этотъ портретъ.

— Что это значить? перебилъ Стояновъ спѣсиво: — съ чего вы взяли, что вы можете дѣлать мнѣ или Лидѣ подарокъ? на это надо имѣть *большое* право!..

— Я не возьму денегъ.

— Это отъ чего?—

— Это моя тайна.

— Да вы помѣшались, запальчиво крикнулъ Стояновъ, подстрекаемый тайнымъ подозрѣніемъ:— вы совсѣмъ забылись! Я сожгу этотъ портретъ... Вотъ деньги, да и вонъ изъ дома!

Другой, на мѣстѣ Стоянова, тотчасъ вступилъ бы въ объясненія съ племянницей, сталъ бы представлять, какъ нелѣпа и неосновательна страсть ея, цѣнить ее, эту страсть, сухими доводами разсудка, и только сильнѣе раздулъ бы сердечный пожаръ. Стояновъ былъ уменъ и хитеръ: «сдѣлалъ глупость», — сказалъ онъ самъ себѣ: — «допустилъ ихъ сблизиться; не буду же прибавлять къ ней другой; слова, особенно теперь, на первыхъ порахъ, не помогутъ. Должно быть осторожнымъ и, до поры-до времени, молчать: пусть-ка сама заговоритъ!.. Я знаю, у ней языкъ не поворотится, а время между тѣмъ выиграется, и незамѣтно испарится эта глупость». И онъ сталъ еще ласковѣе съ Лидой. А что же она? Она была разбита, уничтожена послѣдней сценой. Ее давила тоска, давило собственное безсиліе, терзали ласки дяди. Послѣдній угадалъ: точно, языкъ у нея не поворачивался заговорить съ нимъ о своихъ чувствахъ. Къ чему? Она заранѣе знала, что онъ на это скажетъ, какъ выразится. Она ни за что не хотѣла подвергать напраснымъ и бесполезнымъ оскорбленіямъ имя любимаго. Она, бѣдная, была похожа на человѣка въ цѣпяхъ, но въ такихъ, которыя росли въ его тѣло: малѣйшая попытка освободиться причиняла страшную, невыносимую боль. Однакожъ,

вотъ что написала она Эрову черезъ три дня послѣ этой сцены, увлекаемая безсознательнымъ порывомъ:

«Мой другъ! чувствую, что это была такая буря, которая отбросила насъ другъ отъ друга на неизмѣримое разстояніе. Знаю, что ты страдаешь: но, вѣрь, что рана, которую ты носишь въ душѣ, есть и моя рана; я также поражена, также страдаю. Разница въ томъ, что меня, слабую женщину, давить это страданіе, а ты носишь его свободно и гордо. Тебѣ горитъ въ будущемъ яркой звѣздой слава, тебѣ открываетъ объятія искусство: у меня одна любовь,—любовь тяжелая, отравленная, окованная. Ты готовъ разлюбить меня изъ гордости,—я готова унизиться изъ любви къ тебѣ. Знаю я лекарство, которое усладитъ твой недугъ!.. Хочешь,—возьми меня; я пойду за тобой, я готова на жертву, хоть бы умереть отъ нея».

У художника закружилась на минуту голова отъ послѣднихъ строкъ. Онъ еще разъ пробѣжалъ записку.—Бѣдное, бѣдное дитя! не будь у тебя живой вѣры въ мою любовь, въ то, что я не приму отъ тебя этой жертвы, никогда не писала бы такъ!—Но когда онъ взялъ перо, чтобъ отвѣчать ей, онъ снова думалъ только о себѣ, о своемъ оскорбленномъ самолюбіи:

«Мнѣ очень жаль, что встрѣча моя съ вами навлекла вамъ такъ много непріятнаго; забудьте о ней и будьте счастливы. Никто, больше васъ, этого не достоинъ; никто, больше меня, вамъ этого не желаетъ. Благодарю васъ за готовность на жертву; но я увѣренъ, что вы не предполагаете во мнѣ такъ много грубаго эгоизма, чтобъ заставить васъ умереть подъ ея тяжестью...»

Грустно и тяжело стало Лидѣ, когда она прочитала эти строки; долго глядѣла она на нихъ, будто искала чего то между ними. Ей все не вѣрилось, чтобъ онъ *только* написалъ! Такъ-ли любятъ? этотъ вопросъ въ первый разъ представился ей съ тѣхъ поръ, какъ она познакомилась съ художникомъ. Она мысленно пробѣжала всю исторію своего сердца, и внутренній голосъ сказалъ ей, что она оскорблена. «Неужели онъ не любитъ меня?»—повторяла она въ

горькомъ раздумьѣ. — «Не любить! Я будто насильно навязала ему свою любовь. . . Какое униженіе! За что-же? чѣмъ я заслужила это? Но, можетъ быть, онъ хотѣлъ этимъ потѣшить свою гордость; можетъ быть, онъ въ душѣ не то, совсѣмъ не то!..» И, какъ утопающій за соломку, она хваталась за эту мысль.

Художникъ усердно посѣщалъ Марью Александровну. Ея участіе, красота и особенно цвѣтистыя рѣчи, въ которыя она мастерски вливала медь самой тонкой, пріятной лести, цѣлительно дѣйствовали на уязвленную душу Эрова. Следна съ Стояновымъ, если не совсѣмъ уничтожила любовь его къ Лидѣ, то затмила и ослабила ее. Иногда ему становилось жаль Лиды; но это чувство тотчасъ заглушалось закоснѣлой, неизлѣчимою ненавистью ко всему, что напоминало ему его ложное и недовкое положеніе въ свѣтѣ. Теперь передъ нимъ женщина прекрасная, умная, любящая. Марья Александровна, особенно въ эту минуту, очаровательна: на ней блѣдно-розовая, кисейная блуза; въ черныхъ, густыхъ волосахъ полуувядшая камелія, въ глазахъ чудная томность, въ голосѣ южная нѣга...

— Вчера я видѣла Лиду, говоритъ она:—бѣдняжка очень грустна!

— Не напоминайте мнѣ объ ней! сказалъ онъ, закрывая глаза рукою.

— Полноте! не горюйте, берегите свѣжесть вашей души для таланта, для искусства. Слава Богу, что вы освободились отъ бремени, тягостнаго для васъ обоихъ. Вы оба не были бы счастливы. Повѣрьте мнѣ: Лидя *женщина* только половиной своего существа, другой половиной она— *барышня*. Никто, лучше меня, этого не знаетъ. Не такую женщину вамъ надо! Вамъ надо женщину, артистку душой, женщину, которая послѣдовала бы за вами безъ сожалѣнія, безъ укора, для которой бы слова *жертва* не существовало, потому что вы были бы для нея выше всякой жертвы... Да, пускай бранятъ меня и осуждаютъ, но я счаст-

ливѣ этихъ мученицъ свѣта, съ моимъ равнодушiемъ къ нему. Въ жизни я ищу счастья, безъ жеманства и ложныхъ предразсудковъ и, найдя его, ничѣмъ не стѣсняюсь. Если я люблю, то люблю безъ оглядки и безъ раскаянiя...

Ея голосъ, чистый и свѣжій, ея рѣчи, дополняемыя выразительными взглядами чудесныхъ глазъ, производили на художника отрадное впечатлѣнiе.

— Гдѣ найти такую женщину? сказалъ онъ въ раздумьѣ, садясь возлѣ нея и смотря на нее прямо, — развѣ есть на землѣ другая *вы*?

— А вамъ мало одной? сказала она съ плѣнительной улыбкой.

Онъ съ восторгомъ сталъ передъ ней на колѣни.

— Не ее, меня надо любить тебѣ! сказала она съ страстнымъ увлеченiемъ, и весь вечеръ проходили они по саду, лелѣемые любовью и природой...

— Лида, дружокъ мой! подумай хорошенько! говорилъ Стояновъ, расхаживая крупными шагами по комнатѣ, — человекъ онъ такой прекрасный, и съ чиномъ, и съ состоянiемъ, и собой недуренъ; я не знаю, чего еще больше! такъ вѣтъ: у васъ все романы въ головѣ, все какiя-то этакiя выдуманныя страсти, все *парамуры* ваши глупые! — *Парамурами* онъ называлъ браки по любви.

— Не могу, папа! сказала Лида, и въ голосъ ея слышалось искреннее, глубокое страданье. — Простите меня, мой другъ; не гнѣвайтесь: но я не могу; что мнѣ дѣлать? не могу! Я жизни не рада. Она бросилась на грудь дяди и зарыдала.

— Вотъ, что дѣлаютъ ваши глупости! вотъ, до чего ты дошла, что ужъ жизнь становится тебѣ въ тягость! Ахъ, Лида, Лида! мой другъ! прибавилъ онъ съ чувствомъ: — видно, это крестъ Богъ мнѣ послалъ!

Лида плакала.

— Подумай, мой другъ, хорошенько: брось эту *глупость*; рѣшись, покажи, что ты дѣвушка съ характеромъ...

— Не могу; не выдавайте меня, я умру!

— Да полно плакать! Развѣ я неволю тебя? я только со-

вѣтую, прошу... А признаться, порадовался бы я! Не хочешь, — нечего дѣлать, откажу ему.

Лида не спала всю ночь. Печально и сумрачно развернулась передъ ней жизнь. Невидать его никогда, неслыхать его голоса, не встрѣчать его взгляда, — развѣ это не смерть, развѣ не хуже, чѣмъ смерть?.. Въ ней происходилъ страшный переворотъ: холодный потъ выступалъ на утомленномъ лицѣ; любовь огненной волной приликала къ сердцу, и свѣтъ разсудка меркъ, и одно за другимъ исчезали ея убѣжденія! Она видѣла, чувствовала только его, весь міръ исчезъ и слился въ немъ однимъ. Еслибъ Марья Александровна заглянула ей теперь въ душу, она бы не сказала, что любовь ея не полна. Не попадись Лидѣ подъ руку послѣдняя записка Эрова, не пробудись въ ней опять сомнѣніе, навѣянное его холоднымъ, сжатымъ тономъ, — Богъ знаетъ, на что бы рѣшилась она. Теперь же она написала ему только эти строчки:

«Не вѣрю я ни вашимъ сухимъ отвѣтамъ, ни вашей холодности. Нуженъ сильный ударъ, чтобъ убить мою любовь. Она будетъ жить и терзать меня до тѣхъ поръ, пока я не узнаю истины просто и ясно. Умоляю васъ, скажите прямо и откровенно, что вы меня не любите, что все это было шутка, мечта, ошибка сердца... Не жалѣйте меня! Больше теперешняго я не буду страдать. Правды, одной только правды, какова бы она ни была, прошу я у васъ, какъ милости! Читала я, что нѣкто отдалъ миллионъ за правду: я отдаю больше, отдаю мое счастье».

Только что она дописала послѣднее слово, какъ горничная подала ей записку, примолви: «отъ Марьи Александровны-съ». — Лида поспѣшно развернула и, съ первой строчки, лицо ея выразило скорбное, усиленное вниманіе. Она читала.

«Какъ ты не увѣряешь меня, злой человѣкъ, что разлюбилъ свою мечтательную Лиду, и все мучусь ревностью и сомнѣніемъ. Вотъ уже два дня не вижу тебя и хожу безпокойна, грустна, почти несчастна».

Лида съ минутой судорожно мяла въ рукѣ эту записку,

потомъ немедленно встала и будто выросла на два вершка: такимъ чуднымъ и гордымъ негодованіемъ сверкало у ней лицо, черты котораго, всегда мягкія и вѣжныя, вдругъ окрѣпли выраженіемъ какого-то тайнаго, могучаго сознанія... Она тутъ же написала: «Милая Марія! Дѣвушка твоя, вѣрно, ошибкой отдала мнѣ эту записку, которую возвращаю»... Позвонила и отослала. Все это она сдѣлала быстро, судорожно, съ страшнымъ усиленіемъ побѣдить душевное волненіе. Ей хотѣлось равнодушіемъ, презрѣніемъ заглушить боль сердечной раны, какъ будто это было возможно!

Положимъ, любовь была убита, но вмѣстѣ съ ней разбито счастье. Отвергнута, унижена, забыта... Этого было слишкомъ! Съ отчаяніемъ упала она на диванъ, нѣсколько минутъ смотрѣла дико и безумно на все окружающее, потомъ горько и безотрадно заплакала. Не плачь, Лида! Съ этими слезами не выльется твое горе. Тяжело упадутъ онѣ на дно души, и—какъ залѣченные раны въ дурную погоду—будутъ отзываться въ грустные дни. Не плачь, Лида! впереди цѣлая жизнь. Не ты первая, не ты послѣдняя вступишь въ нее, съ разбитымъ сердцемъ, съ измученной душой. Впередъ, дитя мое! возьми крестъ свой,—и впередъ! Не только счастья, что въ любви... Придетъ пора, и другое утѣшеніе узнаешь ты; ты узнаешь его въ неожиданной отрадѣ, въ горячей молитвѣ, въ сладкой думѣ о жизни за гробомъ... Впередъ, впередъ, дитя мое! жизнь и люди ждутъ тебя...

Дѣвушка Мановой, точно, нечаянно перемѣшала записки, и отъ Лиды пошла къ художнику, которому отдала записку, адресованную Лидѣ. Онъ разспросилъ дѣвушку и тотчасъ понялъ ошибку. Ему вдругъ сдѣлалось досадно и стыдно, какъ школьнику, пойманному учителемъ въ шалости. Потомъ ему живо представилось, что почувствовала Лида при подобномъ открытіи, и тяжелое, непріятное чувство налегло ему на душу... Онъ разсердился на все и на всѣхъ.—«Надо кончить это разомъ»,—сказалъ онъ:—«здѣсь мнѣ не житье: эти женщины только измучаютъ меня; здѣсь и душа, и талантъ мой страдаютъ»... И въ тотъ же день, къ вечеру,

онъ былъ уже на дорогѣ въ Петербургъ. Марья Александровна, взбѣшенная и разстроенная также скоро оставила губернской городъ.

Прошло около десяти лѣтъ. Эровъ возвратился изъ-за границы въ Петербургъ. Онъ въ славѣ. Его имя упоминается въ лучшихъ гостиныхъ; его картины привлекаютъ толпу зрителей, возбуждаютъ важные толки знатоковъ. Онъ ужъ не бѣдный, почти безвѣстный живописецъ; онъ теперь художникъ съ деньгами и извѣстностью.

Въ одно утро г-нъ С. озабоченно и торопливо дернулъ свурокъ у дверей его мастерской. Эровъ встрѣтилъ его, съ кистью въ рукѣ: онъ только что кончилъ небольшую, но прекрасную картину: «Лѣтній вечеръ».

— Вы очень кстати, сказалъ онъ:—я сейчасъ кончилъ работу, и весь къ вашимъ услугамъ.

— Я къ вамъ съ предложеніемъ или, скорѣе, съ просьбой,—сказалъ С.

— Что вамъ угодно? заказъ?

— Да; можетъ быть, немного неприятный въ душевномъ отношеніи... Дѣло идетъ о портретѣ съ мертвеца.

— Мужчины или женщины?

— Княгини М. Такъ жаль... молодая женщина... Мужъ, въ большомъ горѣ, поручилъ мнѣ просить васъ о портретѣ. Не откажите, любезнѣйшій Александръ Михайловичъ!

— Какъ вы назвали фамилію?

— Князь М.

— Ужъ это не сынъ-ли того князя М., который былъ моимъ... покровителемъ?

— Вѣроятно. Эта фамилія немногочисленна.

— Вотъ и еще причина не отказаться отъ просьбы!.. Хорошо; когда же?

— Да сегодня, хоть сейчасъ; въ подобныхъ случаяхъ мертвые не терпятъ... Послѣ завтра похороны.

— Я свободенъ и черезъ 10 минутъ буду готовъ.

Художникъ одѣлся; щегольская коляска С. подвезла его

къ княжескому дому. Ничто не могло быть печальнѣе и тяжелѣе чувства, которое охватывало посѣтителя этого дома: завѣшенные зеркала, чинный трауръ слугъ, глухой, томительный голосъ чтеца, мерцаніе погребальныхъ свѣчъ при дневномъ свѣтѣ,—все это бросало въ какое-то непріятное, горестное содроганіе. Эрову давно не доводилось глядѣть въ лицо смерти, и на душѣ у него стало холодно и безотраднo. Онъ вошелъ въ залу. Тамъ на столѣ, въ богатомъ гробѣ, лежала Лида... одна, безъ посѣтителей. Неизяснимая печать покоя и забвенія лежала на этомъ мраморномъ лицѣ... Подойди Эровъ! Эта женщина не встрепенется больше отъ твоего приближенія, не вспыхнетъ яркимъ румянцемъ это лицо, не оживятся выраженіемъ любви эти черты, холодныя и безотвѣтныя, какъ смерть, оковавшая ихъ... Подойди Эровъ! Смерть дала ей то спокойствіе, котораго, можетъ быть, напрасно искала бы она живая, при встрѣчѣ съ тобою... И онъ подошелъ. Къ его сердцу прихлынуло какое-то смутное, глухое страданіе; онъ вдругъ прозрѣлъ въ свое прошедшее, понялъ ея любовь, ея мученье, ея безкорыстную готовность отдать ему жизнь и счастье, понялъ и, — гордый человекъ, — въ первый и едва ли не въ послѣдній разъ въ своей жизни, заплакалъ горячими слезами!.. Но не ожила она отъ этихъ слезъ, а лежала спокойно и неподвижно.

— Эровъ! сказалъ сзади чей-то грустный мужской голосъ:—Эровъ, Саша! Узналъ-ли ты меня? Художникъ въ ту же минуту узналъ князя М., сына своего благодѣтеля, и бросился въ его распростертыя объятія, довольный тѣмъ, что могъ скрыть въ нихъ слезы, потушить печаль свою.

1849.

СИЛА ПРОШЕДШАГО.

Что ты дѣлаешь, Julie? спросила молодая, черноглазая, свѣженькая, какъ роза, дѣвушка кого-то въ другой комнатѣ, потому что въ той, гдѣ она находилась, не было никого.

— Что-о? послышалось изъ другой комнаты, протянутое зѣвотой.

— Что ты дѣлаешь?

— Слышишь, зѣваю,

— Ну что, та сhère... отвѣчала дѣвушка недовольнымъ тономъ.

— Смѣшная ты, Катя! Что же прикажешь дѣлать? Мнѣ кажется, вся жизнь моя скоро обратится въ одинъ длинный, скучный зѣвокъ.

— Опять валяется на диванѣ! сказала Катя, входя въ другую комнату, небольшую, просто, но чисто меблированную. Голубыя занавѣсы разливали по ней блѣдный, фантастическій свѣтъ, тѣмъ болѣе, что день былъ сумрачный и дождливый, какіе, обыкновенно, бываютъ въ половинѣ октября. Въ простѣнкѣ стоялъ диванъ. На немъ-то лѣниво и безопасно лежала та, которую Катя называла именемъ Julie. Это была стройная, тонкая, граціозная дѣвушка, съ лицомъ задумчивымъ и пріятнымъ, котораго нѣжныя, почти страстныя черты какъ-то плохо гармонировали съ апатіей, выразившейся въ ея позѣ и движеніяхъ.

— Полно хандрить! сказала Катя, сѣвъ возлѣ нея на диванѣ и глядя ея глянцовитые и мягкіе, какъ шелкъ, русые волосы.

— Кто тебѣ сказалъ, что я хандрю? Я просто устала; о твоёмъ же приданомъ хлопотала.

— Ангель мой! Ахъ, еслибъ ты знала, какъ я люблю тебя! Никто не будетъ тебя любить такъ.

— Хорошо, когда я, умирая, буду припоминать всѣхъ, кто меня любитъ, ты будешь изъ первыхъ.

— Меня тоска беретъ и безъ мысли о смерти.

— Сохрани тебя Богъ отъ тоски! особенно отъ такой, какая иногда на меня находитъ. Право, кажется, подобная тоска можетъ родиться только на сѣверѣ: такая же туманная и безпредметная, какъ наши необозримыя равнины; томительная и безконечная, какъ русскія пѣсни.

— Тебѣ очень грустно? вижу, что грустно!

— Скучно; посмотри, какое время. Скоро два часа, а тетушки нѣтъ.

— Ты страдаешь,—продолжала Катя, не слушая ее;— ты мастерски скрываешь свое страданіе, но меня тебѣ не обмануть. Милая Julie! О! произнесла Катя, вдругъ наклонившись къ Юліи, съ сверкающимъ взоромъ,—какъ я ненавижу *ею*! какъ ненавижу, хоть и не знаю! Тебя разлюбить, тебя! Неужели это возможно?

— Отчего же невозможно, мой другъ? Вѣдь это тебѣ я кажусь особеннымъ существомъ, одареннымъ всевозможными добродѣтелями, а въ сущности, чѣмъ я лучше другихъ, если не хуже? Долго-ли позабыть!

— Онъ пустой, ничтожный человѣкъ; ему не подь силу понять и оцѣнить тебя; онъ испугался твоего превосходства.

— Не будемъ говорить объ этомъ. Я ужъ не люблю и не страдаю. Богъ съ нимъ! Одно только онъ не хорошо сдѣлалъ, что не сказалъ мнѣ прямо, не отвѣтилъ мнѣ, когда я такъ просила объ этомъ. Онъ могъ разлюбить меня, но не оскорблять!.. Но еще разъ, полно объ этомъ; ты видишь, я покойна, веселѣе всѣхъ. Кто разсмѣшитъ и развлечетъ васъ, какъ не я?

— Но это не больше, какъ сила воли, которую ты такъ любишь пробовать.

— Нѣтъ, я хочу примириться съ этой жизнью; хочу отъ всей души, и право, иногда, весела непритворно.

— Откуда же это равнодушіе, это отсутствіе желаній, утомленіе, которое видно въ твоёмъ взорѣ? эта насмѣшливая любовь къ матеріальной сторонѣ жизни; эти минуты внезапнаго увлеченія, въ которыя ты такъ красно, такъ вдохновенно говоришь?

— Это такъ, минутное расположеніе, остатки прежней мечтательности... Что же касается до моей вилости и равнодушія,—это оттого, что я слишкомъ страдала и жила сердцемъ. Я такъ устала отъ слезъ и горя, что едва ли отдохну въ продолженіе всей жизни...

Она провела рукой по лицу и встала; на щекахъ у ней вспыхнулъ румянецъ.

— Помилуй, Катя! что тебѣ за охота будить мои страданія, мою тоску? Знаешь-ли, что ты разрушаешь плоды долгихъ и постоянныхъ усилій разсудка? Чтоже, тебѣ было бы лучше, еслибъ я плакала, вздыхала, ходила блѣдная какъ тѣнь, однимъ словомъ, была бы вполнѣ похожа на героиню романа, которую такъ хочется тебѣ изъ меня сдѣлать?

— Лучше. Скрывать горе—двойная мука. Знаешь, какая мысль преслѣдуетъ меня? Мнѣ хотѣлось бы отмстить ему. Я не дурна собой, умѣю пококетничать... Еслибъ я встрѣтилась съ нимъ, и мнѣ удалось бы влюбить его въ себя, да такъ, чтобъ онъ, не шутя, увлекся,—влюбить, чтобъ послѣ имѣть наслажденіе сказать ему: «вы низкій человѣкъ, я васъ ненавижу! я васъ обманула»... Заставить его страдать... О, это было бы для меня большое счастье!

— И ты думаешь, что мнѣ было бы легче отъ этого...

— Такъ ты еще любишь его, любишь! Что же излечить тебя отъ этой ненавистной любви?

— Жизнь или смерть, что нибудь изъ двухъ...

— Какая ты слабая женщина! Въ тебѣ нѣтъ ни гордости, ни самолюбія, ни того желанія мстить, которое даетъ высокое значеніе жизни.

— Не зови этихъ демоновъ! Богъ говоритъ прямо: «прощай и люби»...

— Но я не могла бы...

— Кончимъ объ этомъ; поговоримъ лучше о твоёмъ женихѣ. Думала ли я, что буду видѣть тебя невѣстой, не зная твоёго жениха! Чего не случается въ жизни! Расскажи мнѣ о вашей встрѣчѣ.

— Да вѣдь я тебѣ рассказывала.

— Нужды нѣтъ; расскажи еще.

Ну, вотъ, какъ ты нынче весной оставила меня погостить у бабушки, я и познакомилась тамъ съ Вольдемаромъ, который пріѣхалъ на лѣто къ дядѣ своему, Петру Михайловичу Карелину; Карелинъ близкій бабушкинъ сосѣдъ, привезъ къ ней Вольдемара познакомить. Бабушка пригласила его бывать почаще; Вольдемаръ и бывалъ довольно таки часто. Мы иногда гуляли одни; потомъ онъ училъ меня кататься верхомъ; а потомъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, сказалъ мнѣ, что любить меня. Я притворилась, будто не вѣрю,—будто боюсь, не хочетъ ли онъ сдѣлать изъ сердца бѣдной дѣвушки игрушку для своей праздной фантазіи. Онъ сказалъ, что намѣренія его честны и благородны, и тогда же объявилъ бабушкѣ, что хочетъ жениться на мнѣ. Вѣдь онъ свободенъ, какъ воздухъ; родителей у него, какъ и у насъ съ тобой, нѣтъ. Вотъ, онъ и поѣхалъ въ Питеръ, устроить какія-то дѣла, а я отправилась поскорѣе къ тебѣ, потому-что безъ Вольдемара у бабушки смертельно скучно.

— Какъ же онъ сказалъ тебѣ о своей любви?

— Ахъ, какая ты! Ну, былъ теплый, ясный вечеръ, мы шли по аллеѣ, сердце у меня билось,—мнѣ было и страшно, и весело. Онъ молчалъ; я видѣла, что онъ былъ взволнованъ и придавалъ глазамъ и голосу выраженіе нѣжной робости. Мы сѣли на скамейку. Вотъ, вдругъ онъ наклоняется лицомъ къ моему плечу,—вообрази мой ужасъ! я отодвинулась и поглядѣла на него строго. Катя! проговорилъ онъ тихо,—Катя, не сердитесь, простите меня... Я люблю васъ, люблю искренно и нѣжно... Въ такомъ случаѣ, говорю я, вставая, мнѣ нельзя оставаться съ вами здѣсь

одной. Пойдемте къ бабушкѣ, Вольдемаръ! прибавила я; я увѣрена, что честный, благородный человѣкъ не станетъ шутить чувствами неопытной, доврчивой дѣвушки... Возможно ли Катя? намѣренія мои такъ же чисты, какъ и любовь, и лучшая моя надежда назвать васъ своей женой. Вотъ какъ дѣло сдѣлалось. Онъ скоро долженъ быть.

— Ты очень его любишь?

— Да... Странно, та *chère*! Я не имѣю къ нему той любви, о которой мечтала и читала въ романахъ. Въ душѣ у меня какое-то тихое, сестринское чувство. Прежде я думала, что могу сильнѣе любить. Но я люблю его... Сохрани Богъ, если что съ нимъ случится! Вотъ, и тетюшка пріѣхала!

И точно, во дворъ вѣвхалъ, съ шумомъ и дребезгомъ, какой-то допотопный экипажъ, похожій на тыкву и по формѣ, и по желтой краскѣ, которою былъ окрашенъ. Съ запятокъ соскочилъ длинный ричардо, въ табачнаго цвѣта ливреѣ, отворилъ дверцы и принялъ старую барыню, въ темномъ, нахлобученномъ капорѣ и драдедамовомъ салопѣ.

— Ну, дѣти, говорила она усталымъ голосомъ, снявши салопъ и капоръ въ передней, и побранивъ за что-то краснощекую служанку, всѣ лавки исходила, лучше этого ничего не нашла.

Она положила на столъ цѣлую связку покупокъ.

— Бѣдная тетюшка! сказала Юлія, протягивая съ дивана ручку, чтобы поцѣловать сухую руку тетки. Катя между тѣмъ разбирала покупки.

— А, это очень мило! воскликнула она, перебирая одинъ за другимъ куски кисей и шелковыхъ матерій; послѣднихъ, правда, была немного, потому-что Катя была небогатая невѣста.

— А вотъ, что Юлинька скажетъ? сказала тетка, устремляя нѣжный взглядъ на племянницу.

Анна Петровна, оставшись бездѣтной вдовой, сосредоточила на Юліи всѣ привязанности души, прошедшія и будущія. Судьба неожиданно дала ей на руки этихъ двухъ дѣвушекъ. Родной братъ ей, Павелъ Петровичъ Силинъ,

овдовѣвъ, женился на небогатой, но красивой вдовѣ, у которой, отъ перваго мужа, была дочь Катя. У Силина была, также отъ первой жены, дочь, тремя годами старше Кати. Юлія была миленькая, умненькая, дѣвочка. Силину не посчастливилось: черезъ два года онъ похоронилъ и вторую жену. Горе и разныя неудачи въ хозяйственныхъ оборотахъ разстроили и здоровье, и состояніе его. Онъ умеръ на рукахъ Анны Петровны, поручивъ ея попеченію двухъ сиротъ. Юлія было въ то время 17 лѣтъ. Катѣ—14. Живой, понятливый ребенокъ, Катя скоро заставила забыть сестру, которую она обожала, разницу лѣтъ между ними, и сдѣлалась для нея отраднымъ товарищемъ, съ которымъ та дѣлилась и горемъ, и радостью своего сердца. При врожденной мечтательности, Юлія обладала быстрымъ, воспримчивымъ умомъ. Она принадлежала къ числу тѣхъ созданий, которыя рано выходятъ изъ дѣтства, рано начинаютъ понимать жизнь, вѣрно угадываютъ ее, по врожденному, всепроницающему инстинкту. Пламенная, восторженная въдушѣ, она всегда умѣла казаться солидною, умѣла примириться съ жизнью, и заставить любить себя всѣхъ, кто ее зналъ вблизи: въ ней преобладалъ какой-то природный тактъ, заставлявшій ее приноравливаться къ людскимъ понятіямъ, преобладало также чувство особенной, врожденной доброты къ людямъ, по которому она легко извиняла другимъ слабости, которыхъ не прощала себѣ. И горе, и радость глубоко западали ей въ душу; разъ допущенная привязанность не скоро выходила изъ нея. При жизни отца, она полюбила молодаго человѣка, за котораго старикъ, по разнымъ дѣльнымъ и не дѣльнымъ причинамъ, не хотѣлъ отдать ее. Послѣ смерти Силина, молодой человѣкъ разлюбилъ ее. Покуда препятствіе льстило его романической привязанности, онъ не шутя думалъ, что питалъ «высокую» страсть; когда же препятствія этого не стало, высокая страсть вдругъ понизилась на нѣсколько градусовъ. Явились расчетъ, сомнѣніе. Г-нъ Симонскій принадлежалъ къ числу тѣхъ безсильныхъ, безхарактерныхъ людей, о которыхъ можно сказать: куй желѣзо, пока горячо. Его увле-

жалъ только эффектъ. Притворись Юлія несчастной героиней, готовой пожертвовать страсти всѣмъ въ мірѣ, даже счастьемъ возлюбленнаго,—онъ восхищался бы ею. Но она просто, безъ всякихъ романическихъ выходовъ, протянула ему руку на весь долгій, трудный путь жизни, съ благородной готовностью посвятить ему всю жизнь. Въ любви, какъ и во всемъ, она ненавидѣла притворство, понимала, что жизнь, и безъ вычитанныхъ фразъ, безъ приторной сентиментальности, есть, сама по себѣ, интересный романъ, вѣчно высокая драма. Симонскій этого не понималъ; онъ не разгадалъ, что подъ этой простотой и откровенностью таится истинное, глубокое чувство; онъ не понималъ той рѣдкой силы души, которая удерживала ее любовь въ границахъ наружнаго спокойствія. Онъ забылъ тѣ минуты сердечнаго увлеченія, въ которыя она вся была полна чудной энергіи, невыразимой силы и предести чувства, забылъ — и когда она напомнила ему, что жизнь не шутка, и чувство не забава, что впереди цѣлое существованіе, часто трудное и печальное, что для этого существованія мало одной романической любви, а нужно еще благословеніе Божіе, да честное, неотъемлемое право любить и дѣлать пополамъ горе и радость, онъ счелъ это за сухость и холодность. Можетъ быть, онъ и не подумалъ бы такъ, еслибы одна ловкая, хорошенькая женщина не вскружила ему головы. Обманутая, неразгаданная Юлія страдала. Оскорбленіе, не задуманная еще разсудкомъ любовь, гнели ее, но пуще всего мучило ее то, что онъ явился ей въ другомъ свѣтѣ. Она вдругъ поняла его, и горько ей стало за человѣка, за свою душу, за свою любовь. Въ первыя минуты она готова была возненавидѣть его, но этотъ порывъ вскорѣ уничтожился ея добротой и вѣжностью.

— Богъ съ нимъ, говорила она, насильно не дашь чувства; можетъ быть, онъ и самъ не радъ, что оно улетѣло. Умирай, сердце! я проживу и безъ тебя; у меня есть мысль, есть сила жить.

Но тихо и грустно потянулась для нея жизнь, и стало ей какъ-то скучно и лѣнь въ этомъ мірѣ. Правда, иногда

звукъ музыки, красота цвѣтка будили въ ней затаенное страданіе, вызывали горькія слезы; но это были минутныя, незримыя для другихъ, пробужденія. Стали и они рѣже, явилось равнодушіе, какая-то душевная усталость. *Существовать*, вотъ единственная цѣль, которую предоставила ей жизнь. И она покорилась этому указанію, безъ ропота. Чужая скорбь и чужая радость стали доступны и понятны ея сердцу. Съ тѣхъ поръ, какъ она переѣхала къ теткѣ, она сдѣлалась покойнѣе душою. Уже около трехъ лѣтъ она ничего не слыхала и не знала о Симонскомъ. Полюбить вновь ей было трудно. Она сдѣлалась недовѣрчива и по-своему понимала людскіе слова и поступки. Притомъ же тихая, уединенная жизнь, которую они вели въ губернскомъ городѣ, удаляла ее отъ столкновенія съ такими людьми, которые пришлось бы ей по душѣ. Состоянія ихъ было достаточно, чтобы жить въ довольствѣ для себя, но не для другихъ. Неожиданное замужство Кати бросило пріятный лучъ на ея жизнь. Съ какой материнской заботливостью думала она о ея счастья, съ какимъ нетерпѣніемъ ждала жениха, чтобъ самой узнать и увѣриться, что онъ точно добрый, благородный человекъ. Обманутая сама, она боялась того же за Катю.

Но перейдемъ къ настоящему дѣйствию.

Наступилъ вечеръ; октябрьское небо хмурилось, хмурилось, наконецъ совсѣмъ стемнѣло и разрѣшилось холоднымъ дождемъ, немилосердно стучавшимъ въ окна. Подали свѣчи. Анна Петровна довязывала чулокъ; Юлія, положивъ свою работу, полулежа на диванѣ, дремала. Катя обшивала кружевомъ носовой платокъ. Всѣ три молчали, только стукъ спицъ, задѣвавшихъ за столъ, да мѣрное тиканье маятника, да стукъ дождевыхъ капель нарушали тишину. Вдругъ, къ этимъ монотоннымъ звукамъ, присоединился шумъ дрожекъ; ближе, ближе, наконецъ на дворѣ... цѣпная собака встрепенулась и залаяла...

— Къ намъ,—пронеслось между собесѣдниками.

Катя быстро откинула голову; Анна Петровна спустила петлю; Юлія вскочила, точно отъ электрическаго удара;

сложивъ руки на колѣни, она стала прислушиваться къ чистому, мужскому голосу, говорившему въ прихожей:

— Здѣсь Анна Петровна Свѣтова?

— Здѣсь. Что вамъ угодно? отвѣчалъ полусонный лакей.

— Это онъ, это Вольдемаръ? вскричала Катя и бросилась къ дверямъ, въ которыя входилъ статный, красивый молодой человѣкъ.—Вольдемаръ! Милости просимъ! Вотъ, тетушка...

Онъ поцѣловалъ у старухи руку.

— Вотъ, Julie...

Вольдемаръ быстро взглянулъ на дѣвушку, которая пріѣтливо ему улыбнулась и протянула руку.

— Julie? Наконецъ, Катя, я вижу предметъ твоего обожанія.

Онъ еще разъ взглянулъ на Юлію, которая неволью покраснѣла.

Черезъ нѣсколько часовъ, они всѣ уже были друзьями и весело болтали и шутили за чайнымъ столомъ.

Владиміръ былъ большой руки мечтатель и любилъ поговорить о «высокомъ и прекрасномъ». До сихъ поръ онъ находилъ большое наслажденіе краснорѣчивымъ потокомъ выливать свои, немного романическія, понятія и мысли, и, въ своемъ юношескомъ увлеченіи, мало заботился о возраженіяхъ тѣхъ, съ кѣмъ говорилъ; но теперь туманъ романтизма начиналъ передъ нимъ рѣдѣть, умъ требовалъ обмѣна мыслей и взгляда на жизнь; въ немъ родилось желаніе прислушиваться къ сужденіямъ другихъ,—взвѣшивать и сравнивать эти сужденія съ своими. И эту потребность вполнѣ удовлетворялъ тонкій, наблюдательный умъ Юліи, которая умѣла самыя жесткія истины жизни и дѣйствительности смягчать тѣмъ высокимъ чувствомъ всеобъемлющей любви, которая въ новѣйшее время стала извѣстна у насъ подъ слабымъ именемъ *гуманности*. Сужденія ея были такъ новы, сравненія такъ метки, что молодой человѣкъ находилъ невыразимое наслажденіе проговаривать съ ней по

цѣлымъ часамъ. Между ними завязалась искренняя, задушевная дружба. Живой Катѣ часто были не по душѣ ихъ продолжительныя бесѣды, не потому, чтобы къ ней подкрадывалось какое-нибудь темное чувство ревности, — оно было слишкомъ далеко отъ ея сердца, — а потому, что въ этихъ бесѣдахъ она находила своего Вольдемара слишкомъ серьезнымъ. Она вообще любила жить болѣе жизнью сущности, нежели мысли. Ей гораздо было бы пріятнѣе, еслибъ Владиміръ, вмѣсто разсужденій о душѣ и сердцѣ, разсуждалъ о ея хорошенькихъ глазкахъ. Все это не мѣшало имъ быть однако счастливыми и довольными судьбой.

— Спасибо вамъ, Вольдемаръ, сказала однажды Юлія, — вы дали узнать, какъ любятъ братьевъ.

— Это Катѣ спасибо, отвѣчалъ Владиміръ, — она даритъ мнѣ сестру.

— Смотри, Вольдемаръ, говорила, смѣясь, Катя, — не влюбись въ Julie, а то я приду къ ней съ кинжаломъ и скажу: «ты знай, кинжаломъ я владѣю!..»

И всѣ смѣялись, не исключая и Анны Петровны.

До свадьбы еще оставалось около трехъ недѣль. Молодые дѣвушки сидѣли однажды послѣ обѣда, въ ожиданіи Владиміра. Часы шли своимъ чередомъ, и ужъ пробило восемь, а онъ еще не приходилъ. Катѣ становилось скучно, Юлія задумалась.

— Что это, Катя, до сихъ поръ нѣтъ твоего жениха?

— Я и сама о томъ же думаю.

— Ты что-то печальна, мой другъ; успокойся, онъ, вѣрно, скоро будетъ.

— Неужели ты думаешь, что я такъ малодушна?

— Въ любви сердце доходитъ иногда до невообразимыхъ мелочей... Вотъ, скоро ваша и свадьба. Не увидишь, какъ пролетитъ время.

— Странно, та *chère*, мнѣ все кажется, что я не выйду за него.

— Откуда такія мысли?

— Сама не знаю откуда. Да что же дѣлать, такъ думается.

— Это отъ того, мой другъ, что ты много любишь. Чѣмъ счастливѣе человѣкъ, тѣмъ больше дрожитъ онъ за свое счастье.

— Нѣтъ, не отъ того... Конечно, я люблю его, люблю... но отчего же прежде мнѣ казалось, что я способна еще сильнѣе любить, нежели теперь?

— Богъ съ тобой, Катя! вотъ ужъ другой разъ съ языка у тебя срывается подобная мысль. Кого же полюбила бы ты больше Вольдемара, этого умнаго, добраго, прекраснаго человѣка?

— Я этого не говорю. Его нельзя не любить. Въ это время ей подали записку.

«Сегодня я не буду у васъ. Ко мнѣ пріѣхалъ добрый другъ и товарищъ. Пріѣхалъ нарочно за 300 верстъ, чтобъ быть на моей свадьбѣ. До завтра!

Вашъ душою Вольдемаръ».

— Вотъ, новое лицо, Julie. Я рада, будетъ веселѣе.

— Развѣ тебѣ не весело?

— Нѣтъ, весело, да будетъ еще веселѣе.

Юлія пристально посматрѣла на Катю и подавила вздохъ. На другой день, утромъ, пришелъ Владиміръ.

— Одинъ? спросила его Катя.

— Платону теперь нельзя, поѣхалъ къ какой-то родственницѣ. Виновать,—обратился онъ къ Аннѣ Петровнѣ,—я, безъ вашего позволенія, пригласилъ его сегодня къ вамъ, на чашку чая.

— Помилуйте, я очень рада.

— А мы васъ вчера долго ждали, сказала Юлія.

— Какъ зовутъ вашего друга? спросила Катя.

— Платонъ Михайловичъ Симонскій.

— Симонскій!? Дѣвушки съ ужасомъ переглянулись, но Владиміръ не замѣтилъ этого, закуривая сигару.

— Послушай, Катя, говорила Юлія, взволнованнымъ голосомъ, выйдя въ другую комнату,—я не хочу его видѣть, я не могу, я не должна!

— Но какъ же ты избѣжишь этого свиданія?

— Я больна, я не выхожу. Одно имя не можетъ измѣнить. Вольдемару я только извѣстна подъ именемъ Юліи, сестры твоей. Тебя Симонскій не знаетъ, потому-что ты была въ пансіонѣ, когда мы встрѣтились съ нимъ.

— И ты думаешь, онъ не узнаетъ?

— Да, я думаю, потому-что онъ знаетъ меня при другихъ обстоятельствахъ, въ другомъ свѣтѣ. Во всякомъ случаѣ, я не хочу его видѣть. Съ этой минуты я больна, Катя, слышишь? я больна, мой другъ.

— Какъ же, помилуй, а во время моей свадьбы ты будешь также *больна*? Вѣдь онъ на свадьбу пріѣхалъ.

— Да, мой другъ, сказала Юлія, помолчавъ,—и тогда я буду больна. Вы придете ко мнѣ, въ мою комнату. Я благословлю васъ и помолюсь за васъ.

— Однако, это ужасно; неужели у тебя достанетъ терпѣнія?

— О, достанетъ, достанетъ! Я скорѣе соглашусь умереть, нежели видѣть его, потѣшить его самолюбіе моимъ волненіемъ, моей слабостью.

— Julie! я еще не забыла своего обѣщанія отмстить...

— Нѣтъ, сказала Юлія съ испугомъ,—ты не дѣлай этого, не играй съ огнемъ. Да притомъ же Вольдемару это будетъ непріятно. Что онъ о тебѣ подумаетъ?

— Я предупрежу его.

— Съ ума ты сошла! Вѣдь они друзья.

— Ну, такъ я сдѣлаю такъ, что онъ не замѣтитъ.

— Нѣтъ, Катя, нѣтъ, мой другъ!

— Чего ты боишься? Право, это будетъ превесело.

— Но... послушайся меня...

— И не говори ничего.

Катя поцѣлуемъ заглушила слова и голосъ совѣтчицы.

Юлія больна! Эта вѣсть громовымъ ударомъ пронеслась по домику Анны Петровны, потому что въ этомъ домикѣ все любило и уважало молодую дѣвушку. Всѣ, начиная отъ

Анны Петровны до апатичнаго Федора, называли ее умницей. Сама Анна Петровна, съ озабоченнымъ видомъ, съ очками на носу, которые она въ горѣ позабыла снять, тихонько ползетъ на лѣстницу въ комнату больной. Больная не спитъ. Малиновые занавѣсы оконъ спущены; одна половина бѣлаго, кисейнаго полога ея кровати поднята; передъ кѣтой дрожитъ лучъ лампадки, бросая живописный полусвѣтъ на ея лицо и отражаясь въ глазахъ, которые безъ того горятъ внутреннимъ волненіемъ. Она слегка приподняла голову, при шумѣ отворившейся двери, въ которую вошла Анна Петровна.

— Юлинька! другъ мой! что ты чувствуешь?

— Ничего, тетушка, вы не беспокойтесь. Такъ, слабость, голова болитъ.

— Другъ мой! не послать-ли за докторомъ?

— Э, нѣтъ, это пройдетъ. Со мной и прежде бывало. И, знаете, иногда такъ недѣли двѣ и больше продолжается... а послѣ и пройдетъ, безъ всякой помощи. Нужно только спокойствіе, да подольше посидѣть въ своей комнатѣ.

— Другъ ты мой милый! Сохрани тебя Богъ! И Анна Петровна заботливо приложила руку къ ея головѣ.— Слава Богу! жару большаго нѣтъ, сказала она.

— Нѣтъ, есть внутренній. Меня томитъ жажда.

— А чайку прикажешь?

— Пришлите.

— Это лихорадка! непременно лихорадка, мой другъ! Напейся ромашки.

— Вольдемаръ здѣсь? спросила Юлія.

— Сейчасъ только пришелъ съ пріятелемъ-то этимъ своимъ. Юлія слегка поблѣднѣла. Когда Анна Петровна ушла, она быстро встала съ постели, прошла нѣсколько разъ по комнатѣ, и остановилась по серединѣ, въ какомъ-то оцѣпенѣнніи. Минутъ пять продолжалось это оцѣпенѣніе, пока не разрѣшилось обыкновеннымъ женскимъ припадкомъ—слезами. Скоро пришла къ ней Катя.

— Наконецъ я видѣла его, говорила съ нимъ, сказала она.

— Что же? о чемъ вы говорили?

— Такъ, общія мѣста; но видно, что онъ очень уменъ. Что мудренаго, вѣдь это человѣкъ, котораго ты любила и теперь еще любишь.

— О, вѣтъ, вѣтъ!.. Ну, что же, Катя, ты ненавидишь его, отмстишь?

— Да, ненавижу, отомщу.

— Полно, брось эту мысль.

— Не брошу.

— Катя! я что-то боюсь.

— Чего? Ужъ не думаешь-ли ты, что я влюблюсь въ него? Сохрани Богъ!

— Что мудренаго? Сердце человѣка...

— Бездна, знаю; да у меня-то оно не такъ темно. Вѣдь я не глубокая натура. Однако, прощай, моя затворница! Пойду любезничать съ м-г Симонскимъ? Такъ это рѣшено, у тебя лихорадка?

— Рѣшительно лихорадка. Ужъ тетушка мнѣ и ромашки приготовила, а завтра, вѣроятно, поставитъ горчишники.

— Ахъ, какъ противна эта лихорадка!

Онъ обѣ засмѣялись.

— Кстати, сказала Катя,—когда тетушка ему сказала какъ жаль, что моя старшая племянница, Юлія, нездорова,—онъ обратился ко мнѣ и спросилъ: это ваша сестра?—Да.

— Родная? И мнѣ показалось,—но можетъ, это игра воображенія,—что онъ слегка задумался.

— Какое предубѣжденіе!

— Можетъ быть. Прощай!

И она, съ легкостью птички, сбѣжала съ лѣстницы.

Катю завлекала и очаровывала игра въ притворную любовь, игра, которую она такъ легко, такъ необдуманно затѣяла. Сперва она начала съ молодымъ человѣкомъ рядъ тѣхъ тонкихъ, ловкихъ продѣлокъ, къ которымъ способна всякая молоденькая, кокетливая, умненькая дѣвушка. Нельзя описать всѣ эти обдуманые взгляды, тонкіе намеки на

неполноту счастья; это ловкое умѣнье рисовать свой идеалъ такъ, чтобъ тотъ, для кого это дѣлаютъ, могъ узнавать себя въ этихъ чертахъ. Все это могло бы подѣйствовать и не на Симонскаго, человѣка самолюбиваго и влюбливаго. Проводя цѣлые вечера у Анны Петровны, онъ невольно поддался очарованію подмѣчать развитіе страсти въ дѣвушкѣ. Все слишкомъ ясно говорило въ его пользу. По первому порыву великодушія, онъ хотѣлъ было ухватъ, но самолюбіе нашептывало ему такъ лукаво... Онъ успокоился, рѣшилъ, что онъ тутъ не виноватъ, и усердно платилъ Катѣ за вниманіе—двойнымъ вниманіемъ, за нѣжный взоръ—страстнымъ, за выраженіе дружбы—выраженіемъ любви.

Онъ самъ ловко умѣлъ показать ей, какая тяжелая борьба завязалась у него въ душѣ. Умный, хитрый, онъ обаятельно дѣйствовалъ на неопытную дѣвушку, и скоро роли ихъ перемѣнились. Хорошенькая Катя правила ему, но больше всего правилась ему романтизмъ настоящаго положенія и роль предпочтеннаго. Все это, незамѣтно, опутало молодыхъ людей невидимо, крѣпкою сѣтью. Бѣдная Катя первая почувствовала опасность. Любовь, страхъ, самолюбіе стѣснили ей душу. Для нея было ужасно сознаться передъ Юліей въ недостатокъ воли и силъ для исполненія задуманнаго; невыносимо было походить на синицу Крылова, обѣщавшую зажечь море и надѣлавшую только шуму. За всеѣмъ тѣмъ, она готова была скорѣй умереть, нежели разрушить то очарованіе, которымъ окружилъ ее Симонскій. Страсть такъ внезапно, такъ неожиданно подкралась къ ней, что любовь къ Владиміру исчезла передъ новымъ чувствомъ, какъ звѣзды передъ солнцемъ. А что же Владиміръ? Онъ все сомнѣвался, все наблюдалъ, все разгадывалъ. Онъ былъ одна изъ тѣхъ счастливыхъ натуръ, которыя готовы видѣть вездѣ и во всемъ добро, и для которыхъ нужны слишкомъ достовѣрные факты, чтобъ убѣдиться во злѣ.

Однажды Владиміръ и Катя сидѣли одни въ гостиной.— Анна Петровна ушла въ гости къ одной знакомой старушкѣ. Катя была рассіянна и тревожна, избѣгала взоровъ и во-

просовъ Владиміра. Иное не слыхала изъ его разговора, и наконецъ, разсердившись на себя, чувствуя, что лицо ей измѣняется, она взяла стоявшія передъ ними свѣчи и поставила на столикъ, въ углу комнаты, а сама помѣстилась такъ, чтобъ свѣтъ не могъ падать ей на лицо. Симонскій въ этотъ вечеръ обѣщалъ быть не ранѣе 8-ми часовъ.

— Вы сегодня что-то не въ духѣ, Катя?—сказалъ ей Владиміръ.

— Это вамъ такъ кажется. Отчего мнѣ быть не въ духѣ? Я очень весела.

— Странная! Никогда не хочеть признаться. Что за тайна, что на душѣ не весело?

— Стало быть, я лгунья по вашему?—чувствую то, а говорю другое?

— Еще странность: придать словамъ моимъ видъ обиды, сердиться на то, чего у меня не было въ головѣ.

— Пріятная же жизнь предстоитъ вамъ съ женой, которая такъ зла, что за каждое необдуманное слово будетъ на васъ сердиться. Право, Вольдемаръ, вы сегодня въ такомъ расположеніи духа, что готовы приписать мнѣ всевозможныя дурныя качества.

Владиміръ ни слова не сказалъ ей на это, только вздохнулъ и покачалъ головой.

Въ это время въ прихожей зашумѣло, маленькая собачка Анны Петровны заворчала, почуявъ чужаго. Катя вся вспыхнула. Владиміру вдругъ стало невыносимо горько и обидно. Онъ всталъ.

— Я пойду къ Julie,—сказалъ онъ,—я забылъ отдать ей книгу.

— Нѣтъ, туда вы не ходите! сказала Катя испуганнымъ голосомъ.

Но онъ ушелъ, въ ту самую минуту, какъ Симонскій входилъ въ комнату.

— Вы однѣ? наконецъ то, сказалъ онъ и безъ того взволнованной Катѣ, смягчая смѣлость послѣдняго слова нѣжной улыбкой и задумчивымъ взоромъ. Катя молчала, она не мог-

да говорить. Симонскій понялъ, что для нея настала одна изъ тѣхъ минутъ, когда чувство выходитъ изъ повиновенія и становится выше воли, сильнѣе разсудка. Онъ съѣлъ возлѣ нея.

— Гдѣ же вашъ женихъ?

— Ушелъ къ Julie отдать книгу.

— Кстати; ваша таинственная Julie никогда не покажется, вѣчно останется покрыта для меня мракомъ неизвѣстности?

Симонскій не зналъ, какъ онъ не кстати заговорилъ о Юліи, такъ не кстати, что въ Катѣ зашевелилось даже что-то похожее на досаду.

— Вы едва-ли увидите ее, она нездорова и постороннихъ не принимаетъ.

— Просто—очарованная принцесса!

— Прошу васъ не говорить о ней съ насмѣшкой.

— Виноватъ.

Минутное молчаніе.

— Ахъ, да, я вамъ привезъ альбомъ, о которомъ вчера говорилъ и который вы изъявили желаніе видѣть. Въ немъ есть недурные рисунки.

Они вмѣстѣ стали смотрѣть рисунки. Лицо молодого человека такъ приблизилось къ головѣ Кати, что его жаркое дыханіе слегка колыхало ей волосы. У бѣдняжки темнѣло въ глазахъ. Дерзкій поцѣлуй Симонскаго образумилъ ее. Она быстро встала.

— Что вы дѣлаете, Платонъ Михайловичъ! сказала она съ упрекомъ.

— Что же мнѣ дѣлать? Я люблю васъ,—это выше силъ.

Симонскій обладалъ именно той гордой смѣлостью, которая такъ магически дѣйствуетъ на молодое сердце.

— Развѣ вы забыли, что я невѣста вашего друга?

— Мнѣ-то какое до этого дѣло? Я люблю васъ. Вольдемара вы не любите и не можете быть съ нимъ счастливой.

— А, между тѣмъ, черезъ нѣсколько дней, я буду его женой. Что дѣлать? Боже, помоги мнѣ! произнесла она съ отчаяніемъ.

— Вы будете моей женой, Катя, потому-что я люблю васъ. Я увезу тебя, если ты меня любишь. Разстаться— величайшая глупость. Вѣдь ты любишь меня, любишь?—говорилъ онъ, привлекая ее къ себѣ.

Катя вырвалась и убѣжала.

Послѣ ужина, Катю, проходившую мимо комнаты Юліи, поразили слова послѣдней, относившіяся къ горничной:

— Приготовь мнѣ, Дуняша, новое голубое платье. Завтра я выйду.

Юлія выйдетъ, Юлія увидитъ его! Уминая, привлекательная, Богъ знаетъ, какое впечатлѣніе произведетъ она,—она, которая нѣкогда была имъ любима. Непостижимое чувство-страха и ревности сжало сердце дѣвушки. Чѣмъ непостояннѣе, чѣмъ невѣрнѣе казалась ей любовь Симонскаго, тѣмъ пламеннѣе становилось въ ней желаніе удержать ее. Мысль о замужствѣ представилась единственнымъ, вѣрнымъ средствомъ. Разстаться съ нимъ, отдать его другой—это ужасно, невыносимо! Она взглянула въ полурасстворенную дверь на Юлію. Та сидѣла, облокотясь на столъ, поддерживая голову рукой. Тонкій, благородный профиль ея былъ прекрасенъ. Полураспушенные волосы, падая на шею и на плечи, выказывали ихъ бѣлизну и художественный очеркъ. Вся фигура дѣвушки была такъ хорошо освѣщена, такъ живописна, такъ полна той нѣжной, тонкой красоты, которую даетъ только мысль и чувство, что Катѣ стало еще страшнѣй. Она вошла къ сестрѣ.

— Богъ съ тобой, Катя, сказала ей Юлія съ легкимъ упрекомъ,—ты цѣлый вечеръ не заглянула ко мнѣ.

— Виновата, мой другъ; я такъ занялась рисунками, которые принесъ... которые очень хороши.

— Кто же ихъ принесъ? Вольдемаръ?

— Нѣтъ...

— Кто же?

— Симонскій, Julie, насилу могла выговорить Катя.

— Кстати, что твое мщеніе? ты мнѣ ничего не расскажешь.

— Что рассказывать?.. нечего.

— Куда же ты? посиди со мной.

— У меня, другъ мой, такъ голова болитъ, что я едва стою на ногахъ. Позволь мнѣ пожелать тебѣ покойной ночи.

— Ну, Христось съ тобой!

И Юлія перекрестила ее, какъ всегда. Безотчетнымъ движеніемъ, Катя быстро схватила руку сестры, и та почувствовала, какъ горячая слеза упала на эту руку.

Войдя къ себѣ, Катя осторожно притворила дверь, и, съ четверть часа, тихо, но тревожно говорила о чемъ-то съ горничной своей Машей. Когда та вышла, въ рукѣ у Кати очутилось письмо. Трепетно сломала печать взволнованная дѣвушка. Нѣсколько разъ блѣднѣла и краснѣла при чтеніи; нѣсколько минутъ послѣ ходила въ тоскѣ по комнатѣ; даже ломала свои хорошенькія ручки. Наконецъ сѣла и написала отвѣтъ, который рано утромъ, со всей осторожностью, вручила Машѣ.

Наступившій день прошелъ какъ-то тихо и грустно. Катя нѣсколько разъ принималась плакать. Симонскій не приходилъ. Владиміръ огорчился принужденнымъ обращеніемъ съ нимъ Кати. Онъ хотѣлъ нѣсколько разъ объясниться, но она очень искусно отклоняла его намеки. Прощаясь съ Юліей, онъ жаловался на свою невѣсту.

— Успокойтесь, сказала Юлія,—это такъ, шалость; можетъ быть, просто желаніе возбудить вашу ревность.

— Однако это желаніе переходитъ границы. Нѣтъ, это не притворство, она его любитъ.

— Повѣрьте, порывъ кокетства, не больше.

— А если не кокетство? если она любитъ его? если она выйдетъ за меня изъ страха и стыда измѣнить своему слову, ручаетесь-ли вы за наше счастье? откройте мнѣ истину, я не хочу губить ея счастья. Поговорите съ ней, вывѣдайте отъ нея, вамъ она скажетъ все.

— Хорошо. Сегодня или завтра я поговорю съ ней откровенно, и не скрою отъ васъ ничего. Успокойтесь, Вольдемаръ.

— Теперъ я спокойнѣе вчерашняго. Еще разъ прошу васъ:

скажите мнѣ всю правду, она всего болѣе меня успокоитъ. Не думайте, я влюбленъ не безумно, не на жизнь или смерть. Я люблю ее свѣтло и тихо. Не жалѣйте меня.

Онъ ушелъ. Сердце Юліи болѣзненно сжалось тяжелымъ предчувствіемъ. Она невольно погрузилась въ горькую думу.

Въ комнатахъ обѣихъ сестеръ зажгли обычныя лампадки. Ни Катя, ни Юлія не могли спать. Первая была полна какого-то тревожнаго, мучительнаго ожиданія; поминутно къ чему-то трепетно и боязливо прислушивалась. Малѣйшій шумъ заставлялъ такъ больно замирать ея сердце, что она, невольно, крѣпко прижимала къ нему руку. Вѣчно свѣжее и розовое ея личико было блѣдно. Юлія, напротивъ, ничего не ждала, ни на что не надѣялась. Неподвижно сидѣла она въ большомъ креслѣ у своей кровати, устремивъ взоръ на темныя, строгіе лики старинныхъ иконъ. Быстрѣй и быстрѣй являлись и смѣнялись ея мысли, пока наконецъ не слилась всѣ въ одинъ неопредѣленный сонъ...

Пробило двѣнадцать. Вотъ, кто-то поднимается на лѣстницу, пріотворяетъ дверь Катенькиной комнаты. Катя вздрогнула.

— Маша! это ты? спросила она тихо.

— Я, сударыня, также тихо отвѣчала Маша.

— Что?..

— Они ужъ тамъ, барышня-съ, у воротъ. И лошади готовы. Вотъ записка.

Катѣ чуть не сдѣлалось дурно.

— Всѣ-ли спать, Маша? спросила она, оправясь.

— Всѣ, сударыня. Я прошла мимо тетенькиной комнаты, такъ и храпятъ-съ.

— И Федоръ спитъ?

— Да когда же онъ не спитъ, сударыня? насмѣшливо сказала Маша.

— Ахъ, Маша! что я дѣлаю!

— Да что, матушка, вы такъ беспокоитесь? Мало-ли это бываетъ?.. Что же вѣдь дѣлать, коли человекъ пришелся по душъ.

— Помолись обо мнѣ, Маша.

— Ужъ помолюсь, сударыня, ей Богу. Что же, барышня? Вѣдь *они* ждуть-съ.

— Иду... Боже, Боже!

Тихо, осторожно сошли онѣ съ лѣстницы и вышли за ворота, гдѣ на лихой тройкѣ ждалъ Симонскій.

Часу въ шестомъ утра, Маша будила Дуняшу, спавшую у дверей Юлинькиной комнаты.

— Авдотья, Авдотья! Экъ ее задавило! Вставай!

Авдотья что-то промычала во снѣ.

— Вставай! Да ну! И она наградила ее убѣдительнымъ толчкомъ.

Дуняша вскочила, но заспанные глаза и глупое, безчувственное выраженіе лица свидѣтельствовали, что она еще не совсѣмъ проснулась.

— Да образумишься-ли ты? Экой сонъ проклятый!

— Да тебя-то, что подняло ни свѣтъ, ни заря?

— А то, что у насъ въ домѣ-то не ладно...

Это тотчасъ образумило Дуняшу, жадную къ новостямъ и таинственнымъ происшествіямъ.

— Что, что такое?

— Катерины-то Николаевны нигдѣ вѣтъ.

— Вона! Да куда же она дѣлась?

— А Богъ знаетъ, только и слѣдъ простылъ.

— Врешь ты. Она вѣрно у Юліи Павловны.

— Развѣ что у Юліи Павловны, а то и постель не смята.

— Да что ты? гдѣ-жъ ей быть. Вотъ, я тихонько посмотрю у барышни.

Какъ ни осторожно вошла Дуняша къ Юліи, однако та, только недавно заснувшая легкимъ, безпокойнымъ сномъ, сейчасъ проснулась.

— Что ты, Дуня? спросила она.

— Извините, сударыня, я разбудила васъ, а все эта взбалмошная Машка, и меня-то перепугала. Вѣдь чего не придетъ въ голову. Выдумала, что Катерина Николаевна пропала. Она, вѣрно, съ вами?

— Нѣтъ, она, вѣрно, внизу.

— Внизу нѣтъ.

— Не у тетеньки-ли въ комнатѣ?

— И у тетеньки нѣтъ-съ.

— Не можетъ быть. Не гуляетъ-ли она въ полисадникѣ, сегодня ясно, подморозило.

— Машка вездѣ искала.

Юлія встала.

— Гдѣ же она? Смутная мысль молніей мелькнула у нея въ головѣ, но она оттолкнула ее, какъ нелѣпость. — Не ранней-ли она обѣдней?

— Сегодня не праздникъ, сударыня. Въ нашемъ приходѣ и обѣдни не было. Это что-то недоброе, матушка. Машка на себя не похожа.

Едва успѣла она выговорить послѣднія слова, какъ Юлія уже была въ комнатѣ Кати. Подстрекаемая тайной догадкой, она бросилась къ письменному столу... Посрединѣ его лежалъ перегнутый на-двое листокъ почтовой бумаги. Еслибъ Юлія протягивала руку къ своему смертному приговору, она не была бы блѣднѣе. Бѣдная дѣвушка долго не вѣрила глазамъ, читая эти строчки:

«Julie моя, Julie! Прости, не проклинай меня! Я невыразимо страдаю въ эту минуту. Я люблю его!.. Я не ошиблась, когда угадывала въ своей душѣ способность любить сильнѣе, нежели я любила Вольдемара. Когда твой взоръ упадетъ на эти строчки, я буду далеко, далеко, но съ нимъ»...

Анна Петровна проснулась. Она уже отдала приказаніе повару; эти приказанія были для нея однимъ изъ наслажденій ея мирной жизни. Разсуждая о всѣхъ сочныхъ, жирныхъ и вкусныхъ блюдахъ, она заранѣе предвкушала ихъ, и такимъ образомъ удваивала удовольствіе обѣда. И какъ одушевлялась она въ подобныхъ обстоятельствахъ! Изобрѣтенія, одно другаго вкуснѣе, одно другаго оригинальнѣе, рождались въ ея головѣ и съ восторгомъ передавались повару.

Анна Петровна уже распустила остатокъ своихъ сѣдыхъ

волосъ, чтобъ расчесать и подобрать ихъ подъ чепчикъ. Она машинально глядѣлась въ небольшое складное зеркальце, извѣстное ея горничной подъ громкимъ названіемъ туалета, и очень изумилась, когда это зеркальце представило, рядомъ съ ея морщиноватымъ лицомъ, блѣдное, испуганное личико ея любимицы.

— Что ты, другъ мой, зачѣмъ такъ рано и такая блѣдная? Не случилось-ли чего?

— Ахъ, тетенька! какъ вамъ это сказать! Катя...

Она задыхалась.

— Занемогла, что-ли? Она и вчера что-то все на голову жаловалась.

— Хуже...

— Господи Іисусе! Да полно, мать моя, не мучь, говори; умерла, что-ли?

— Хуже, тетушка. Она ушла съ Симонскимъ.

— Какъ!... И слова замерли на языкѣ Анны Петровны.

Черезъ полчаса взаимнаго удивленья и гореванья, Анна Петровна собрала весь домъ и произвела домашнее слѣдствіе, изъ котораго оказалось только, что Катерина Николаевна исчезла безъ слѣда.

— Что я скажу Вольдемару, что я скажу ему? говорила Юлія въ тотъ же день, послѣ обѣда, тоскливо ходя по комнатѣ.

— А то и скажемъ, что есть, проговорила Анна Петровна; отъ себя ничего не выдумаемъ. Одолжила Катерина Николаевна, сюрпризецъ приготовила, нечего сказать. Безсовѣстная она эдакая! Отъ такого жениха! Ну, ужъ дѣвушка!

— Ахъ, тетушка, она такъ молода, увлеклась...

— Ужъ ты не защищаешь-ли ее, мать моя? Прекрасно! Впрочемъ, нынче вѣкъ такой.

Анна Петровна была въ желчномъ, раздражительномъ расположеніи духа, которое впрочемъ не могло оставаться долго при ея доброй натурѣ.

— Не пора-ли однако ставить самоваръ? спросила Юлія, послѣ минутнаго молчанія, съ намѣреніемъ разсвѣять тетку.

— Прикажи, мой другъ, заговорила она смягченнымъ голосомъ,—ужь семь часовъ.

Юлія отдала приказаніе и сѣла задумчиво у окна. Въ комнатѣ было почти темно; свѣчей не подавали, Анна Петровна любила *посумерничать*. Душистые листья герани касались волосъ дѣвушки; розоватая полоса зари погасала на западѣ и застигалась сѣрыми облаками; стая галокъ съ крикомъ пролетѣла мимо и опустилась на сосѣдную крышу; все дышало какой-то печальной, безконечной, туманной вседневностью, которая, вмѣстѣ съ горемъ, налегая на душу, томить тяжелой тоской. Юлія глубоко и громко вздохнула.

— Э, полно, Юлинька! сказала Анна Претровна,—побереги себя. Что и вправду? не дочь родная убѣжала. Туда ей и дорога, неблагодарной, и Богъ съ ней! свое здоровье дороже.

Юлія не сказала ни слова на это краснорѣчивое убѣжденіе; едва-ли она даже слышала его, потому-что упрямо смотрѣла на блѣдное небо и сѣрыя облака... Не отъ того-ли, что они имѣли тайное родство съ ея жизнью: и по ней, по этой жизни, какъ по блѣдному небу, темнымъ облакомъ нависло душевное горе и погасалъ вдали легкій лучъ надежды.

Богъ съ тобой, жизнь! думала она,—ты разыграла со мной роль вельможи, который общается много, а даетъ рѣдко. Богъ съ тобой, жизнь! Ты насмѣялась надо мной жестоко; ты на каждомъ шагѣ шептала мнѣ: жди счастья!.. И обнесла меня круговой чашей на общемъ пиру. Это не худшее, что ты разбила мои надежды, осмѣяла мои упованія,—хуже всего то, что стубила во мнѣ способность быть счастливой. Еслибъ теперь и дала ты мнѣ радости, онѣ не отозвались бы въ моемъ сердцѣ, я сказала бы: поздно! и оттолкнула ихъ, какъ ненужный даръ. И какимъ ничтожнымъ, бесплоднымъ страданіемъ ты наградила меня! не озарено оно сознаниемъ чего-нибудь прекраснаго; нѣтъ въ немъ ни высокаго самопожертвованія, ни благородной

борьбы, ни даже права жаловаться; оно пусто, вяло и безконечно; все проникнуто жалкимъ эгоизмомъ, едва выносимымъ униженіемъ,—оно все для меня и во мнѣ,—вотъ, отчего мнѣ такъ больно и такъ тяжело!

— Что это? никакъ я задремала! вдругъ звучно произнесла Анна Петровна.

Юлія вздрогнула отъ этого неожиданнаго возгласа.

— Господи помилуй! ужъ темнехонько! что же самоваръ-то? Машка! огня да самоваръ скорѣй.

— Сейчасъ-съ! отвѣчала Маша изъ комнаты, которая служила и лакейской и дѣвичьей.

Юлія стала разливать чай. Прежде дѣлала это Катя. Ей живо представилось ея свѣженькое, веселенькое личико, ея милая не лишенная остроты и ума болтовня, — и грустно ей стало... Живое воображеніе ея придавало странный фантастическій смыслъ шумливой пѣснѣ самовара.

— Право, Юлинька, ты мастерица дѣлать чай, говорила Анна Петровна, допивая вторую чашку, — съ такимъ удовольствіемъ давно не пила. Не перестоялся, въ самую пору.

— Я рада, что угодила вамъ. Прикажете въ чашку или въ прикуску?

— Въ прикуску, моя радость.

Въ ту же минуту заворчала собака, зашумѣло въ передней,—пришелъ Владиміръ.

— Вы знаете? трепетно спросила его Юлія.

— Знаю, все знаю, отвѣчалъ онъ съ горькой улыбкой.

— Каково, батюшка, невѣста-то твоя утѣшила насъ? да откуда ты узналъ?

— Вотъ письмо отъ него... отъ Платона.

— И онъ еще называетъ его Платономъ, этого низкаго человѣка! воскликнула Анна Петровна.

— Ахъ, Анна Петровна! Я слишкомъ огорченъ, и не могу дать мѣста какому-нибудь чувству. Я не помню, что говорю. Да еще и Богъ знаетъ, на кого изъ нихъ надо сердиться... На то была ея добрая воля.

— Безсовѣстная она! Да нельзя-ли узнать, что за письмомъ, что онъ пишетъ?

— Я вамъ прочитаю.

«Я увѣренъ, Вольдемаръ, что ты не шутишь готовъ поразить меня проклятіемъ и гнѣвомъ за похищеніе твоей невѣсты... Но страшень сонъ, да милостивъ Богъ... Ради всего прекраснаго, будь человѣкомъ, или скорѣе мудрецомъ въ этомъ дѣлѣ, и взгляни на него не глазами тщеславія и оскорбленнаго самолюбія, а глазами разсудка и благоразумія. Катя влюбилась въ меня, я не могъ этого не замѣтить. Положимъ, что я задушилъ бы отвѣтъ на эту любовь, вспыхнувшій въ моемъ сердцѣ; но легче-ли бы тебѣ отъ этого было? Силой милымъ не быть! Могъ-ли бы ты быть счастливъ съ дѣвушкой, которая, будучи уже твоей невѣстой, допустила страсть къ другому? Съ моей стороны, могъ-ли я оставаться равнодушнымъ къ ея любви, пламенной и безкорыстной? Сердце мое давно страдало запустѣніемъ и обрадовалось новому чувству, какъ узникъ свободѣ. Я принесъ бы эту радость въ жертву твоему счастью, еслибъ точно былъ убѣжденъ, что она сдѣлаетъ тебя счастливымъ; но въ настоящемъ положеніи, эта жертва была бы только безразсудна и бесполезна, если не хуже. Милый Вольдемаръ! ты такъ молодъ, хорошъ — тебѣ надобно не жениться, а *жить*. Я же, напротивъ, послѣ того, какъ плохо разыгралъ роль Ромео подлѣ моей чувствительной Юліи, получилъ какое-то неодолимое стремленіе къ домашнему очагу. Не сердись, Вольдемаръ! Право, я люблю тебя, люблю и Катю и постараюсь ее сдѣлать счастливой, по возможности. Когда ты получишь это письмо, новый Парисъ, я буду уже далеко за городомъ съ моей мишьятурной Еленой. Право, мой Володя, свѣтъ не клиномъ сошелся, не одна Катя на свѣтѣ...»

— Не одна Катя на свѣтѣ! вскричала съ негодованіемъ Анна Петровна,—прекрасное утѣшеніе! А вы, Владиміръ Николаевичъ, готовы и вправду поблагодарить его за это. Гдѣ амбіція благороднаго человѣка?.. Да этого еще мало: за что онъ, черный человѣкъ, Юлиньку то задѣлъ? Чувствительная Юлія! Да онъ, злой человѣкъ, и не видѣлъ ее никогда. Помѣшала она ему!

— Да это онъ не объ Юліи Павловнѣ говоритъ, отвѣчалъ улыбаясь Владиміръ.— Такъ зовется героиня одной шекспировской драмы; вотъ онъ и далъ это имя женщинѣ, которую прежде любилъ.

— А кто это знаетъ, батюшка, вѣдь выноски нѣтъ.

— Да отъ того, что онъ называетъ себя Ромео, а въ этой драмѣ: Ромео и Юлія.

— Не знаю я вашихъ Ромеевъ, не читала; мнѣ ужъ на старости лѣтъ смѣшно романы читать, а въ молодости покойникъ батюшка строго запрещалъ намъ такими пустяками голову набивать. Зато дѣвушки тогда отъ жениховъ съ другими не убѣгали.

— Что же мнѣ дѣлать?

Анна Петровна молчала и съ какимъ-то ожесточеніемъ, вопль изобличившимъ ея душевное волненіе, шевелила спицами чулка.

— Что дѣлать? продолжалъ Владиміръ,—отыскивать ихъ, Богъ знаетъ, гдѣ? вызвать его на дуэль, убить, теперь, когда онъ мужъ вашей племянницы?

— Ай, нѣтъ, Боже сохрани! убить человѣка! Да куда вы поспѣли?

— Анна Петровна! сказала вошедшая горничная,—Арина Степановну вдругъ очень схватило. За священникомъ, говорятъ, послали. Она прислала къ вамъ: не побывааете-ли, говорить.

— Ахъ, Боже мой! захлопотала Анна Петровна,—какъ не побывать! сейчасъ, сейчасъ! Давай скорѣе салопъ и капоръ. Что это съ ней сдѣлалось?

— Кто это Арина Степановна? спросилъ Владиміръ.

— Это одна знакомая старушка. Добрѣйшая душа! Дунья! скорѣй! Мы съ ней лѣтъ тридцать знакомы.

И она ушла. Владиміръ и Юлія, сидѣвшая во все время будто въ тяжеломъ снѣ, остались одни.

— Такъ-то, Юлія Павловна, сказалъ Владиміръ,—вотъ, и строй счастье на человѣческихъ привязанностяхъ. Полноте, что вы такъ грустны? прибавилъ онъ съ участіемъ.

— Я думаю о томъ, что тетушка давеча была права,

заступаясь за меня: Симонскій точно говорилъ обо мнѣ, и чувствительная Юлія—я...

— Вы? какимъ это образомъ?

— Меня онъ любилъ, передо мной плакалъ, меня увѣрялъ, что я для него выше, милѣе всего на свѣтѣ... Надо мной смѣется онъ теперь, смѣется за то, что я повѣрила ему!..

Ея щеки вспыхнули яркимъ румянцемъ; каждая черта дышала глубокимъ, безотраднымъ негодованіемъ. Она заплакала въ первый разъ передъ постороннимъ. Владиміръ смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, потомъ быстро схватилъ шляпу и пошелъ къ дверямъ.

— Куда вы? спросила она.

— Искать его, сказать ему, что онъ...

— Для чего, мой другъ? Отъ этого я не буду меньше страдать.

— А, можетъ быть, легче будетъ!

— Да вѣдь теперь онъ мужъ Кати,—я должна желать ему счастья.

— Это ужасно!

— Полно объ этомъ! сказала Юлія, дѣлая страшное усиліе побѣдить волненіе,—вѣдь вы тоже оскорблены?

— У меня достанетъ на столько самолюбія, чтобъ задѣять ее въ свою очередь. Боже мой! какъ должны вы страдать! А я?—Я подозрѣвалъ васъ въ сухости сердечной. Простите меня, вы казались мнѣ слишкомъ умны... Я думалъ, что умъ убилъ ваше сердце... А вотъ, вы плачете... и какъ плачете! Полноте! забудемъ о нихъ. Будемъ друзьями. Смотрите на меня, какъ на брата. Будьте со мной, какъ съ братомъ.

— И этого нельзя, сказала она,—теперь между нами не можетъ быть такихъ чистыхъ, дружескихъ отношеній, доставлявшихъ намъ отрадныя минуты,—людскіе предразсудки забросаютъ ихъ грязью.

— Вы думаете? и вы отвергаете меня? и для васъ теперь чужой, посторонній человѣкъ? я, котораго вы такъ избаловали вашимъ добрымъ расположеніемъ! Вѣдь это зна-

читъ играть лучшими привязанностями человѣка! О, вѣтъ, вы этого не сдѣлаете! Развѣ я виноватъ, что она насъ оставила? развѣ я не тотъ же?

— Тотъ же, Вольдемаръ, братъ мой! сказала она, — и я та же!

Въ это время возвратилась Анна Петровна.

— Слава Богу! ей получше, моей голубушкѣ, говорила она, какъ будто ничего не бывало. — Навѣщайте насъ, Владиміръ Николаичъ, сказала она уходящему Владиміру, — мы насъ привыкли любить какъ роднаго.

— Добрая Анна Петровна не только сохранила къ Владиміру прежнее расположеніе, но, казалось, еще болѣе полюбила его послѣ побѣга Кати. Во-первыхъ, потому, что онъ пріятно наполнялъ пустоту, оставленную ею въ домѣ; во-вторыхъ, потому, что ей хотѣлось этимъ расположеніемъ загладить то оскорбленіе, которое онъ получилъ въ ея семействѣ. Не скроемъ также, что у старушки при всемъ этомъ была своя «задняя мысль», которую она берегла и хранила съ наслажденіемъ! Смотри на Владиміра и Юлію, она часто думала: какъ бы хорошо было, еслибъ Юлинька заступила мѣсто Кати; мы обѣ нашли бы друга и защитника, и я успокоилась бы на старости лѣтъ за ея участь. И все говорило въ пользу этой надежды, все шло къ ея осуществленію: частыя посѣщенія, долгіе, внимательные взгляды и задумчивость молодого человѣка.

Юлія очень хорошо угадывала мысли тетки и грустно улыбалась. Обращеніе ея съ Владиміромъ было точно такое, какъ мѣсяцъ тому назадъ, какъ будто онъ все еще женихъ Кати; но въ его обращеніи она не могла не замѣтить легкой перемѣны. Эта перемѣна, утѣшившая бы всякую другую на ея мѣстѣ, только прибавила ей горя. Его появленіе, его голосъ, даже его взглядъ не заставляли ея сердце биться сильнѣе обыкновеннаго, не вызывали на лицо живучаго румянца, не душили приливомъ могучаго чувства. Что же касается молодого человѣка, то видѣтъ

Юлію, говорить съ ней, слѣдить за игрой мыслей на ея выразительномъ лицѣ, — сдѣлалось потребностью его души; но онъ не смѣлъ дать этой потребности страшное имя любви, отъ того-ли, что еще первая ошибка сердца была слишкомъ жива, или что Юлія незамѣтно и ловко отклоняла его отъ этой мысли, или, можетъ быть, и вправду любви тутъ не было, а была одна только дружба. Какъ бы то ни было, а молодой человѣкъ каждый день являлся къ Аннѣ Петровнѣ. Ему было тепло и отрадно въ этомъ маленькомъ домикѣ, за чайнымъ столомъ, гдѣ все глядѣло на него привѣтно и знакомо, начиная отъ хозяевъ до стараго кота, который всегда встрѣчалъ его ласками и мурлыканьемъ.

А время, между-тѣмъ, летѣло; наступила зима, и въ одно морозное утро, Владиміру принесли съ почты письмо. Письмо заставило его призадуматься; оно было отъ дяди, который дружески упрекалъ его за то, что онъ теряетъ въ бездѣйствіи и лѣни золотое время; задѣвалъ самыя тонкія струны его честолюбія, предлагалъ ходатайства въ опредѣленіи его на службу. Кончилось тѣмъ, что Владиміръ отправился къ Свѣтовымъ, совершенно рѣшившись ѣхать въ Петербургъ. Когда онъ пришелъ къ нимъ, самоваръ уже давно кипѣлъ на столѣ. На этотъ разъ у стола сидѣло ностороннее лицо, какая-то Парасковья Даниловна, женщина лѣтъ сорока, смуглая, съ бойкими глазами. Она что-то громко рассказываетъ, когда вошелъ Владиміръ.

— А, здравствуйте! ласково молвила ему Юлія.

— Добро пожаловать! радушно сказала Анна Петровна, — давно не видались. Здоровь-ли?

— Вы здоровы ли? — спросилъ Владиміръ, садясь у стола.

Черноглазая барыня наклонилась къ Юліи и прошептала:

— Кто это такой, матушка?

Юлія слегка покраснѣла отъ неловкости гостя и притворилась, что не слыхала вопроса, но, — увы, — барыня не унялась, повторила его.

— Ахъ, батюшка, Владиміръ Николаичъ! воскликнула

она,—вы вѣдь не изволили меня узнать. Да какъ это я-то васъ не узнала! Нынче глаза плохи стали.

— Ахъ, да, точно я васъ въ деревнѣ у дядюшки видѣлъ.

— Да какъ же, батюшка, я у васъ и на сговоркахъ была. Что здорова-ли ваша Катерина Николаевна? Я, вотъ сейчасъ только пріѣхала и спросить-то *объ нихъ* не успѣла.

Владиміръ улыбнулся и поглядѣлъ на Юлію; та грустно склонила голову.

— Ахъ, душенька, Парасковья Даниловна! сказала Анна Петровна,—вѣдь ты ничего не знаешь, что у насъ случилось.

И Анна Петровна, прерываемая оханьемъ и аханьемъ своей слушательницы, стала рассказывать исторію побѣга своей Кати.

Владиміръ, между-тѣмъ, подвинулъ свой стулъ къ Юліи.

— Вы что-то скучны сегодня, сказала она.

— Такъ, на душѣ тяжело.

— Вотъ видите-ли, какъ ни храбрись, а тоска и любовь возьмутъ свое.

— Нѣтъ,—вы думаете, я *объ этомъ*? О, нѣтъ! Знаете-ли, о чемъ? О томъ, что, можетъ быть, мнѣ не долго васъ видѣть, васъ слушать.

— Отчего?

— Я ѣду въ Петербургъ.

— Въ Петербургъ? зачѣмъ?

— Служить.

— И скоро?

— Да ужъ если ѣхать, такъ скорѣе.

— Конечно, васъ ничто не удерживаетъ—зимній путь сталъ.

— Нѣтъ, меня задерживаетъ тяжелая, неприятная мысль, что вы забудете меня.

— Нѣтъ,—она тихо покачала головой,—да и отчего мнѣ забыть? Вокругъ меня останется все то же. Съ перемѣной предметовъ и обстоятельствъ легче забыть.

— Что касается до меня, я всюду унесу отрадное воспоминаніе о васъ.

— Я вѣрю, что *теперь* вы такъ думаете, и сами вѣрите тому, что говорите... Хорошо, что хоть теперь такъ думается. И за это вамъ спасибо!

— Я всегда буду такъ думать.

— Скоро вы ѣдете?

— На дняхъ.

— Позжайте, Богъ съ вами! Вамъ будетъ лучше тамъ.

— Едва-ли...

Онъ посмотрѣлъ ей прямо въ глаза, она не опустила ихъ, не покрасѣла.

— О чемъ вы это говорите? спросила Анна Петровна, прекративъ разговоръ съ сосѣдкой.

— Вы не знаете, тетушка, Владиміръ Николаевичъ ѣдетъ скоро въ Петербургъ

— Неужели? И на лицѣ старушки выразилось величайшее недоумѣніе.

Послѣ этого разговоръ какъ-то не клеился, и еслибъ не рассказы Парасковьи Даниловны о старостахъ и станovýchъ, пришлось бы хоть цѣлый вечеръ молчать.

— Ужъ такъ ты, Юлинка, не захотѣла, говорила Анна Петровна племянницѣ, отходя ко сну,—ты могла бы его удержать.

— Зачѣмъ, тетушка?

— Какъ зачѣмъ? Прекрасный человѣкъ, отчего не выйти? Теперь опять останемся однѣ, однѣ. Былъ бы другъ и защитникъ.

— Проживемъ и однѣ, насъ никто не обидитъ.

— Конечно, проживемъ, а все бы лучше. Это ужъ такъ, капризь... Нынѣшнія дѣвушки престранныя. И человѣкъ не противенъ, и сами хвалятъ, а замужь не идутъ... Чего хотятъ, Богъ знаетъ!

— Вѣдь онъ мальчикъ, тетушка, только двумя годами меня старѣе.

— Что же ты думаешь, что старикъ лучше? Полно, мой

другъ, знаю я,—сама шестнадцатн лѣтъ вышла за сорокалѣтняго. Нѣтъ, ужъ это такъ, капризъ.

На это Юлія ничего не сказала, молча подошла къ теткѣ подь благословеніе, потомъ, казалось, съ большимъ вниманіемъ слушала, какъ умиралъ шумъ ея шаговъ; шаги замолкли, а она долго еще стояла среди комнаты съ наклоненной головой.

— Умерло ты что-ли, сердце? прошептала она, выходя изъ задумчивости.

На третій день, утромъ, Владиміръ пріѣхалъ къ Аниѣ Петровнѣ, совсѣмъ по дорожному, проститься. Сюртукъ его былъ наглухо застегнутъ, около шеи изъ-подъ галстука выбѣгала маленькій, бѣлоснѣжный воротничекъ, придававшій еще болѣе свѣжести его красивому лицу. Нашъ герой не обладалъ, къ сожалѣнію, той интересной блѣдностью, которая такъ плѣняетъ молодыхъ мечтательницъ; у него также не было того смуглаго южнаго оттѣнка, придававшего лицу Симонскаго страстное, мужественное выраженіе. Это было одно изъ тѣхъ открытыхъ, мягкихъ лицъ, при взглядѣ на которыя становится веселѣе на душѣ. На этотъ разъ, однако, оно выражало неподдѣльную грусть. Онъ ходилъ по комнатѣ, въ ожиданіи хозяйекъ. Черезъ минуту, вошла Анна Петровна съ пирогомъ.

— Нѣтъ ужъ, Владиміръ Николаевичъ, заговорила она,—какъ хочешь, а возьми мой пирожокъ на дорогу. Сама стряпала. Захочешь покушать на станціи, и вспомнишь меня старуху.

— Благодарю васъ, добрая, почтенная Анна Петровна! Онъ поцѣловалъ у ней руку. У старушки навернулись слезы.

Вошла Юлія. Темное шерстяное платье ловко охватывало ея красивую талію; сдержанная печаль бросилась ей въ лицо жаркимъ румянцемъ. Она была хороша; Владиміръ глядѣлъ на нее упорно, почти страстно... Анна Петровна пошла хлопотать о завтракѣ.

— Скажите мнѣ что-нибудь, Julie; вѣдь, можетъ-быть, мы въ послѣдній разъ видимся.

— Что сказать? Вы и безъ словъ знаете, что мнѣ жаль съ вами разстаться, что я желаю вамъ счастья.

— Есть минуты, когда слова имѣютъ невыразимую силу и прелесть.

— Есть минуты, когда они нейдутъ съ языка.

— Знаете-ли, что я вчера и сегодня нѣсколько разъ принимался плакать?

— Вотъ, это ужъ не хорошо. О чемъ же?

— Не знаю; какъ вы думаете, о чемъ?—Онъ вопросительно взглянулъ на нее.—Вамъ жаль меня? спросилъ онъ.

— Разумѣется, жаль, я этого не скрываю.

— Я пирогъ-то, мой другъ, велю положить къ тебѣ въ сани, сказала вошедшая Анна Петровна.

Настало прощанье; они всѣ, на нѣсколько минутъ, сѣли, потомъ помолились по христіанскому обычаю.

— Прощайте, дорогая Анна Петровна! говорилъ Владиміръ, обнимая старушку, которая плакала.—Прощайте, Julie!

Онъ остановился передъ дѣвушкой, скрестя руки на груди; на глазахъ у него блестѣли слезы.

— Прощайте, мой другъ! Она подошла и перекрестила его.

— Julie! заговорилъ онъ взволнованнымъ, прерывистымъ голосомъ,—не забывайте меня... я васъ... я никого не буду такъ любить... Я очень несчастливъ... вы... онъ не договорилъ.

— Это пройдетъ, мой другъ, сказала она,—время... разсѣяніе... дайте срокъ, это пройдетъ. Повѣжайте, Богъ да сохранитъ васъ отъ зла!

Она быстро поднесла руку къ глазамъ. А между тѣмъ въ отворенныхъ дверяхъ показался цѣлый рядъ лицъ, одно другаго любопытнѣе. Тутъ блестѣли и живые глаза Маши, пунцовѣли толстыя щеки Дуняши, изъ-за которыхъ величественно возвышались рыжіе усы апатичнаго Федора. Всѣ они любили Владиміра, всѣ хотѣли съ нимъ проститься

и каждый изъ нихъ получилъ отъ него на прощанье денегъ.

— Славный баринъ, добрый баринъ! Счастливый ему путь! говорила небольшая дворня Анны Петровны, когда его дорожная повозка выѣхала со двора.

Юлія стояла у окна; въ сердцѣ ея пробудилось какое-то томительное безпокойство, будто она что потеряла, будто въ чемъ ошиблась. Мокрый снѣгъ крупными хлопьями прилипалъ къ окну, улица дышала безконечной пустотой. Ей показалось, что жизнь протягивала ей ледяныя, душные объятія: она закрыла глаза и прислонилась пылающей головой къ холодному стеклу. Въ эту минуту, ей чувствовалось, что всѣ земныя радости проносились мимо нея блестящей вереницей, и напрасно протягивала она руки, чтобъ уловить хоть одну изъ нихъ,—она ловила воздухъ... Горько ей стало; она и не замѣчала, какъ ея слезы кропили листы герани.

Прошло два года. Былъ апрѣль мѣсяць. На губернской городъ слетала весна; сѣверное небо улыбалось; снѣгъ сбѣгалъ шумящими ручьями; на улицахъ огородники усердно счищали грязь съ мостовой и увозили въ телѣгахъ на гряды. Ничто не пмѣнилось въ жизни Юліи и Анны Петровны. На лицѣ старушки прибавилось только нѣсколько лишнихъ морщинъ; но,—странно,—личико дѣвушки пополнѣло и похорошѣло. Отъ того-ли, что она помирилась съ жизнью и обрѣла тотъ свѣтлый міръ души, о которомъ такъ чудесно говорила ей религія, котораго жаждало ея сердце. Да, онъ слетѣлъ къ ней и сталъ непроницаемой стѣной между ею и печалами житейскими; хоть иногда бурныя волны и ударили объ эту ограду, но до души доходилъ только одинъ неясный гулъ ихъ...

Было около восьми часовъ утра; апрѣльское солнце свѣтило изъ всѣхъ силъ, но Анна Петровна, къ великому удивленію своихъ домашнихъ, только что просыпалась.

— Что это со мной сдѣлалось? говорила она, надѣвая

свой темный капоть,—никогда не бывало, чтобъ я такъ проспала.

Она вышла въ дѣвичью. Тусклый самоваръ стоялъ на простомъ, невращенномъ столѣ.

— Что ты самовара-то не почиштишь! обратилась она къ рыжеусому Федору,—ужъ я просплю, такъ и всѣ проспятъ. Лѣвтяй!

— Да я вчера его чистилъ, сударыня...

— Какъ чистилъ! Еще и лжешь! Посмотри-ка, это что?

Она приложила къ самовару руку, и въ ту же минуту, отдернула ее съ громкимъ: ай!

— Да онъ наставленъ-съ.

— Такъ ты что же не скажешь, болванъ! Иногда, такъ въ десятомъ часу не готовъ, а сегодня еще не далъ глазъ раскрыть, ужъ и самоваръ суетъ подъ носъ... Юлинька встала?

Последній вопросъ относился къ горничной, которая юркнула мимо ея съ накрахмаленной бѣлой юбкой, пахнувъ свѣжимъ воздухомъ.

— Нѣтъ еще, не встаютъ-съ, отвѣчала она, взлетая на лѣстницу.

Юлія еще въ самомъ дѣлѣ не вставала. Головка ея граціозно покоилась на подушкѣ; сонъ не совѣтъ еще отлетѣлъ отъ полураскрытыхъ глазъ; густая прядь волосъ, выбившись изъ-подъ чепчика, блестящей змѣйкой скользила по бѣлой шеѣ; изъ-за темномалиновой сторы пробился яркій лучъ солнца и упалъ на ея маленькую, узенькую, бѣленькую ножку, которая выдѣянула изъ-подъ одѣяла, будто хотѣла подышать воздухомъ и покетничать съ солнечнымъ лучомъ. Юлія посмотрѣла на часы, стоявшіе на столикѣ у ея кровати.

— Какъ я проспала, Дуня! Что ты не разбудила меня?

— Да сегодня всѣ проспали, сударыня, и тетенька только что сейчасъ встала.

— Право?

Она вышла въ другую, маленькую комнату; тамъ стоялъ весьма небогатый, но чистый приборъ для умыванья. Дуня не жалѣла студеной воды и усердно лила ее на лицо и плечи

своей барышни, потомъ накинула на нее полотенце. Отеревъ личико, Юлія сдѣлала шаловливую гримаску Дуниѣ, причеиъ эта послѣдняя не могла удержать сердечнаго умиленія и прильнула своимъ толстыми губами къ атласному плечу Юліи.

— Красавица моя барышня!

— Тепло сегодня, Дуняша?

— Ахъ, матушка, что за погода! тепло, тихо...

— Знаешь-ли, мнѣ хочется сегодня надѣть бѣлое платье, — то, кисейное, съ двумя оборками.

— Да развѣ гости будутъ, сударыня?

— Нѣтъ, не гости. А еслибы и гости, такъ мнѣ хочется не для нихъ нарядиться, а для себя, для яснаго дня. Кому у насъ быть? Развѣ Марья Алексѣевна, Петръ Сергѣичъ, или тотъ рыжеусый майоръ, что недавно съ тетенькой познакомился.

— А знаете-ли, сударыня? вѣдь вы ему больно приглянулись. Оноиъясъ подослалъ женщину, та и говоритъ мнѣ: что, красавица, пошла ли бы твоя барышня за майора Бѣлкина? Не знаю-молъ, пошла-ли бы; посватается, такъ узнаетъ.—Да ты, говоритъ, скажи ей, что она ему больно нравится. Такъ, ей Богу, и говоритъ-съ. А я ей говорю: да я не смѣю. Ну ужъ какъ нибудь, говоритъ, да скажи.

При этомъ разсказѣ Юлія расхохоталась такимъ добродушнымъ, дѣтскимъ смѣхомъ, какимъ она давно не смѣялась. Воображеніе представило ей майора женихомъ; она уже видѣла, какъ онъ покручиваетъ свои рыжіе усы, потопываетъ, подбоченивается и мечетъ на нее своими маленькими водянистыми глазами нѣжные взоры. Дуняша также улыбалась, но не потому, чтобы майоръ казался ей смѣшнымъ,—вкусъ у ней не былъ взыскателенъ,—а потому, что звучный, серебристый смѣхъ Юліи дѣйствовалъ на нее магически.

Въ это время, у дверей комнаты, слышалось бряканье чашекъ и дѣтскій голосокъ пропищалъ:—отворите! Дуня отворила. Вошла дѣвочка лѣтъ одиннадцати, съ подносомъ, на которомъ были чашка чаю, молочникъ и груда сухарей.

Все это прислала Анна Петровна, разливавшая сама чай въ это утро. Дѣвочка была робка и неловка, потому-что недавно взята изъ крестьянъ.

— Зачѣмъ это тетенька прислала сюда чай? я бы къ ней пришла, подумала вслухъ Юлія.— Эти слова совсѣмъ озадачили дѣвочку; она остановилась въ недоумѣніи у дверей и не двигалась съ мѣста.

— Что же, Лиза, поди, сказала ей кратко Юлія.— Ахъ, да какой на тебѣ славный платокъ! сказала она, потрепавъ дѣвочку по щекѣ; та вспыхнула и не выговорила ни слова, хоть въ сердечушкѣ у ней сильно пошевелилось желаніе разцѣловать добрую барышню.

— Кто-то къ намъ пріѣхалъ, сказала Дуня, глядя въ окно, выходящее на дворъ, гдѣ она увидѣла отъѣзжающія отъ крыльца дрожки.

— Кто же такъ рано? Давай скорѣй одѣваться.

— Да бѣлое то платье еще не выглажено.

— Ну, дай какое-нибудь другое. Тетушка будетъ сердиться, она не любитъ быть одна съ гостями.

— Извольте надѣть лиловое.

— Давай хоть лиловое.

Юлія на-скоро одѣлась и вышла въ гостинную. Невольное: ахъ!—вырвалось у ней, когда она увидѣла тамъ молодого человѣка въ щегольскомъ фракѣ.

— Вольдемаръ! вскрикнула она радостно, подавая ему руку.

— Julie!

Юлія обрадовалась ему, какъ другу, какъ брату.

— Здоровы-ли вы? вижу, что здоровы, говоритъ онъ, глядя на ея пополнѣвшее и похорошѣвшее личико.

— Давно-ли вы здѣсь? откуда? какъ? спрашивала его Юлія. Анна Петровна, между тѣмъ, молча, улыбалась про себя.

— Я здѣшній житель, честь имѣю рекомендовать. Я здѣсь на мѣсто Птицына.

— Ворона съ мѣста, а соколъ на мѣсто, проговорила Анна Петровна.

— О, такъ вы теперь важное лицо! сказала Юлія.

— Моя квартира близехонько отъ васъ; четыре комнаты окнами въ чей-то садъ, или, скорѣе, огородъ, потому-что не знаешь, чего больше, яблонь или грядокъ. Есть и цвѣтничекъ.

Владиміръ неутомимо говорилъ о Петербургѣ, о своей жизни тамъ.

— А что, отъ *нихъ* не получали писемъ? спросилъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, отвѣчала Юлія и призадумалась.

Это воспоминаніе не помѣшало однако провести день свѣтло и весело.

— Вотъ какъ, Юлинька, сказала Анна Петровна, когда онѣ остались однѣ,—опять къ намъ пріѣхаль!...

Спустя нѣсколько дней, Юлія вышла въ небольшой садикъ, въ которомъ Анна Петровна, съ материнскимъ попеченіемъ, возвращала бобы, горохъ и другія овощи. День былъ ясный; яблони, рябина покрывались яркой зеленью. Осмотрѣвъ и покопавшись въ своемъ цвѣтникѣ, Юлія съла на скамейку, находившуюся у самага забора, который въ этомъ мѣстѣ прислонился къ довольно большому деревянному дому, окна котораго были почти совсѣмъ заслонены густо разросшимися рябинами.

— Весна, весна! опять слетѣла ты, волшебница, подумала Юлія,—опять тѣснишься въ душу непостижимой отрадой. Чего хочешь ты отъ меня? зачѣмъ шепчешь несбыточные надежды? зачѣмъ будишь уснувшія желанія? Не надо ихъ! спи, сердце! Богъ и природа пошлютъ тебѣ счастье, которое не въ силахъ ни дать, ни отнять человѣкъ... Разсыпай же, весна, твои цвѣты, неси жизнь и счастье всему живому,—я не буду лишнимъ гостемъ на твоёмъ пиру. Я упьюсь твоимъ очарованіемъ, залюбуюсь твоими красотами и благословлю Творца и жизнь...

— Здравствуйте, Юлія Павловна! произнесъ надъ ней голосъ Владиміра.

Она сперва вздрогнула отъ неожиданности, потомъ невольно разсмѣялась, увидавъ въ окнѣ, между зеленью, улыбающееся лицо молодого человѣка.

— Такъ вы здѣсь? сказала она.

— Такъ это вашъ садъ? воскликнулъ онъ, — пріятное открытіе!

— Вы давно сидите у окна?

— Все люблюсь на васъ. Еслибъ вы знали, какъ вы теперь хороши, между зеленью! Все бы глядѣлъ!

— Это новое!

— Нѣтъ, напротивъ, старое, давнишнее.

— Что вы хотите дѣлать?

— Вылѣзть отсюда. Онъ ухватился за вѣтку.

— Да это безуміе! Вы упадете...

— Къ вашимъ ногамъ.

И онъ сдѣлалъ истинное сальто-мортале, поставившее его передъ Юліей, которая поблѣднѣла отъ страха.

— Я испугалъ васъ?

— Какъ не испугаться? Какая неосторожность!

— Что дѣлаетъ Анна Петровна?

— Ушла къ Аннѣ Степановнѣ.

— А вы?... О чемъ вы думали, когда сидѣли на скамейкѣ?

— О томъ, что все вокругъ свѣтло и хорошо, что скоро зацвѣтутъ деревья, что въ природѣ есть чудесная, чарующая сила.

— Да, хорошо, ясно! А помните, какъ я увѣзжалъ отсюда, стояла зима; мы прощались подъ шумъ вьюги. Что у васъ тогда было на душѣ?

— Страшная тоска. Я думала, что у меня не достанетъ силы жить.

— Я тоже. Знаете, я хотѣлъ воротиться, но вы сказали, что *это* пройдетъ: я и повѣрилъ вамъ, а вышло напротивъ, *это* не прошло... Последнія слова онъ произнесъ тихимъ, взволнованнымъ голосомъ. — Неужели еще вы несчастливы этимъ роковымъ воспоминаніемъ? Что вамъ этотъ человѣкъ? Вѣдь онъ не отдаетъ за васъ счастья всей жизни,

а я готовъ это сдѣлать... Онъ взялъ ее за руку и съ восторгомъ замѣтилъ, что рука ея дрожала.—Загляните въ свое сердце... можетъ быть, тамъ живетъ для меня теплое чувство, можетъ быть... Ахъ, Юлія Павловна! Какъ я люблю васъ! Я и самъ этого не зналъ прежде; разлука показала. Скажите мнѣ... одно слово... взгляните на меня!

Она подняла глаза, но тотчасъ опустила ихъ, встрѣти страстный взоръ молодаго человѣка. Охваченная непобѣдимымъ очарованіемъ, она закрыла лицо руками, и, склонивъ голову, чуть слышно проговорила слово любви и счастья.

— Когда же, Платонъ, исполнишь ты свое обѣщаніе? говорила Катя мужу,—когда же мы поѣдемъ къ ней?

— Не знаю, мой другъ, проговорилъ онъ лѣниво, ставя въ уголь докурившую трубку.—Вотъ вѣдь, какъ дорога-то...

— Дорога хороша; третьяго дня пріѣхали Залѣвныи; говорятъ, прекрасно доѣхали. Милый Платонъ не медли, не мучь меня; поѣдемъ! Теперь же ты свободенъ, а тамъ откроется мѣсто по службѣ и опять надолго отложится поѣздка. Подумай, мой другъ, — два года не видать ея! Это ужасно!

— Смѣшная привязанность! Что она тебѣ? не мать родная.

— Не будетъ мнѣ счастья безъ ея любви, безъ ея прощенія! Не мать! А кто научилъ меня мыслить, чувствовать, любить добро? кто окружалъ меня нѣжнѣйшими попеченіями? Все она, Платонъ. Поѣдемъ къ ней, утѣшь, успокой меня.

— Хорошо...

— Нѣтъ, мало что хорошо! Ты дай мнѣ слово нанять лошадей сегодня или завтра непременно. Я хочу изъ усть ея слышать прощеніе...

— Ужъ не прикажешь-ли и мнѣ просить у ней прощенія?

— Можетъ быть, болѣе, нежели кому-нибудь, подумала Катя, которая не рѣшалась еще объяснить мужу мисти-

цизмъ, окружающій для него Юлію. Притомъ же этотъ мистицизмъ бросалъ на жизнь Кати заманчивый покровъ поэзіи и тайны и представлялъ вдали эффектную развязку, которая давно созрѣла въ головѣ мечтательной Кати.— Такъ неправда-ли, Платонъ, голубчикъ мой, завтра или послѣ завтра?

— Терпѣть не могу, какъ ты называешь меня голубчикомъ! Что за голубчикъ! какая пошлая ласка!

— Вотъ еще! Что тутъ дурнаго? Голубчикъ—это очень хорошо. Какіе у тебя капризы!

— У всякаго свои.

— Оставимъ это, милый Платонъ! Я никогда не назову тебя голубчикомъ, только дай мнѣ слово ѣхать. Мы поѣдемъ?

— Ну, поѣдемъ, отвѣчалъ онъ тономъ, который ясно значилъ: нечего дѣлать, отвязаться отъ тебя.

— Завтра?

— Помилуй, Катя! собраться не успѣемъ.

— Успѣемъ, долго-ли? Я въ двѣ минуты соберусь. Такъ завтра, мой другъ? Да?—она поцѣловала его.

— А, вотъ, увидимъ, сказалъ онъ мягче и ласковѣе.

На четвертый день послѣ этого разговора, въ десятомъ часу яснаго майскаго утра, на дворъ Анны Петровны въѣхала дорожная коляска, изъ которой выпрыгнула Катя, слегка облокотясь на руку слуги, покрытаго пылью и загаромъ. За ней вышелъ Симонскій. Въ прихожей встрѣтила ихъ незнакомая женщина, повязанная пестрымъ платкомъ, съ распущенными сзади концами; лицо у нея было доброе и глупое.

— Анна Петровна дома? спросилъ Симонскій.

— Юліе здорова? въ одно время спросила Катя. Дома онъ?

— Нѣту-тка, родимые. А вы роденька, что-ли?

— Да гдѣ она?

— Да ужъ въ церкви, родная.

— Какъ въ церкви? вскричала Катя, блѣднѣя, что это значитъ? она умерла?

— Какое умерла, матушка! Она ко суду Божьему поѣхала.

— Къ суду Божьему! Платонъ! вѣдь это значитъ вѣнчаться.

— Нешто, родная.

— Съ кѣмъ же, Боже мой?

— Съ бариномъ, матушка. Ужъ такой хорошій баринъ. Да пожалуйте въ горницу. Вѣдь я, вотъ, недавно изъ деревни, ничего еще не знаю. Вотъ, я дѣвцу позову.

Они вошли въ гостиную. Въ ней было такъ-же чисто и просто, какъ два года назадъ. Катъ казалось, что каждая вещь улыбалась ей знакомо и дружелюбно; изъ каждаго уголка летѣло тайное привѣтствіе. Она съ жаднымъ вниманіемъ осматривала и портреты въ темныхъ рамахъ, и высовій шкафъ съ библіотекой покойнаго мужа Анны Петровны, и герань на окнахъ, и бронзовые часы на комодѣ, хитро вложенные въ корзину съ виноградомъ, которую несъ мальчикъ въ шляпѣ и съ посохомъ. Въ эту минуту она не промѣняла бы этого домика на великолѣпный дворецъ.

— Матушка, Катерина Николаевна! вскричала вбѣжавшая Маша, и бросилась цѣловать руки своей прежней барышни.

— Маша! что Julie? за кого она выходитъ?

— За вашего жениха, сударыня. Да, вотъ, и старая барыня ѣдетъ.

Она бросилась къ окну. Анна Петровна, запыхавшись, почти вбѣжала въ комнату. Лицо ея сіяло полною радостью.

— Давай хлѣбъ да соль, Марья! кричала она торопливо.

— Здѣсь, сударыня, сказала Марья, взявъ со стола блюдо, на которомъ лежалъ большой, вычурный хлѣбъ; въ срединѣ хлѣба вырѣзано было мѣсто, въ которомъ помещалась серебряная солонка.

— Ну, держи, а я ихъ образомъ встрѣчу.

— Позвольте мнѣ замѣнить мѣсто Марьи, сказала Катя, выходя изъ другой комнаты. Простите меня, тетушка! при-

бавила она умоляющимъ голосомъ, замѣти, что тѣнь изумленія и досады пробѣжала по лицу Анны Петровна.

— Сегодня не такой день, чтобъ не прощать, Катерина Николаевна, хоть вы ушли отъ насъ, точно изъ разбойничьяго вертепа; никто не стѣснялъ... Извольте. Вотъ и они!

Новенькій, красивый фаэтонъ Владиміра подвѣхалъ къ крыльцу; за нимъ вѣхало двое пролетокъ, на однихъ сидѣли двое молодыхъ людей, на другихъ черноусый мужчина съ молодой, миловидной женщиной. Это были товарищи Владиміра по службѣ и единственные гости его скромной свадьбы.

Катѣ чуть не сдѣлалось дурно, когда въ дверяхъ зашумѣло вѣнчальное платье Юліи. Это платье было прозрачно, какъ туманъ, и бѣло, какъ горный снѣгъ. Юлія была въ немъ восхитительна. Померанцовые цвѣты дрожали на ея головкѣ; Владиміръ, веселый и счастливый, держалъ ее за руку, будто боясь, чтобъ она не улетѣла отъ него. Увидѣвъ Катю подлѣ Анны Петровны, Юлія остановилась, будто окаменѣлая.

— Катя! вырвалось у ней, заглушаемое волненіемъ.

Катя, безъ словъ, съ громкими рыданіями радости бросилась ей на грудь.

Только теперь вышелъ Симонскій изъ своего равнодушія; только теперь на его лицѣ выразилось удивленіе— онъ узналъ Юлію. Какое-то непріятное чувство неловкости и досады пробѣжало у него по душѣ. Такъ это она невидимое существо, надъ которымъ онъ часто посмѣивался? Она—сестра Кати! Она!.. Странная игра судьбы!.. Онъ бросилъ бѣглый взглядъ на прошлое, и ему все объяснилось. Въ это время Владиміръ подошелъ къ нему весело и дружески.

— Вотъ, это очень мило, Платонъ, съ твоей стороны, что ты сдержалъ давнишнее обѣщаніе пріѣхать ко мнѣ на свадьбу!

— Ты не сердить на меня?

— Нисколько. Мы, кажется, оба довольны размѣномъ.

— Симонскій хотѣлъ улыбнуться, но странно, это легкое дѣло стоило ему большаго труда.

— Всякая неприятность между нами должна быть кончена, Вольдемаръ. Я виновата передъ тобою. И слава Богу, что это все такъ устроилось.

— Прости же и его, шептала Катя Юліи, привлекая ее къ окну, у котораго мужъ ея разговаривалъ съ Владиміромъ.

Юлія протянула руку Симонскому, взглянувъ на него съ неизмѣннымъ спокойствіемъ.

— Платонъ Михайловичъ! сказала она;—нѣсколько лѣтъ назадъ, мы встрѣтились съ вами и полюбили другъ друга, теперь я вполне убѣждена, что это было ни что иное, какъ предчувствіе того, что мы современемъ будемъ родня.

— Сердце, мой другъ, также, какъ и умъ, имѣетъ свои ошибки, произнесъ Владиміръ, глядя на жену съ нѣжной улыбкой. Однако, что же, господа? милости просимъ ко мнѣ! Насъ ждуть обѣдъ и шампанское.

Всѣ отправились на квартиру Владиміра. Юлія не могла не улыбнуться, когда сѣла у окна, изъ котораго, мѣсяцъ тому назадъ, Владиміръ выпрыгнулъ къ ней въ садъ.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Опять нависла угрюмая осень, опять стучалъ въ окно мелкій дождикъ; спустился вечеръ темный и холодный; но въ домѣ у Владиміра было свѣтло и тепло. Онъ съ женой и Анной Петровной сидѣлъ около чайнаго стола. Юлія что-то весело рассказывала мужу и теткѣ, набрасывая на свой рассказъ игривый покровъ тонкаго комизма, часто срывавшаго улыбки слушателей. Анна Петровна попрежнему вязала вѣчный чулокъ; все вокругъ нихъ дышало ясностью невозмутимаго домашняго счастья.

Вошедшій слуга подалъ письмо, примодвя:—«Почтальонъ принесъ».

— Ахъ, бѣдный! сказала Юлія, въ такую погоду! Отнеси ему чашку чаю. Это отъ *нашихъ*, Вольдемаръ. Она распечатала. Это тебѣ отъ Платона, а это мнѣ отъ Кати.

— Знаете, тетушка? сказалъ Владиміръ, прерывая чтеніе,

они здѣсь имѣніе покупають—усадьбу Жилово. Вѣдь это въ тридцатити верстахъ отсюда.

— Вотъ, и Катя тоже пишетъ, сказала Юлія, не отрывая глазъ отъ мелко-исписаннаго листа почтовой бумаги, и зоветъ къ себѣ на лѣто, по крайней мѣрѣ, на тотъ мѣсяцъ, въ который ты свободенъ отъ службы. Это очень весело.

— Да, точно пріятно.

— Однако, дѣти, чай-то вашъ совсѣмъ простылъ, сказала Анна Петровна.—Что-то много написано, послѣ прочтаете.

Письма были прочитаны; чайный приборъ исчезъ со стола, на которомъ остался сиротой одинъ стаканъ Владиміра. На собесѣдниковъ налетѣла одна изъ тѣхъ минутъ безотчетнаго молчанія, въ которыя душа будто отвлечена чѣмъ-то высшимъ, невидимымъ, забываетъ мелочные житейскіе интересы и погружается въ созерцаніе чего-то необъяснимаго, духовнаго. Недаромъ говорятъ, что въ такую минуту тихій ангелъ пролетаетъ...

Сильный порывъ вѣтра хлеснулъ вѣтвями старой черемухи; молодые люди невольно взглянули другъ на друга.

— Пусть его злится, сказала Юлія, отвѣчая на взглядъ мужа, ему не удастся нагнать темнаго облака на наше счастье.

Владиміръ отвѣчалъ ей нѣжнымъ пожатіемъ руки.

Уже двѣ недѣли Юлія гостить у Симонскихъ. Въ первый разъ еще ей приходится быть въ деревнѣ, посреди природы; чудное дѣйствіе производятъ на нее поля, дуга дерева, свобода: она будто переродилась, ея взоръ горитъ чистымъ восторгомъ. Дочь служащаго человека, она съ рожденія всегда была жительницей какого-нибудь города. Очутаясь среди неподдѣльныхъ красотъ волшебницы-природы, ея душа, казалось, обрѣла крылья, которыя уносили ее далеко отъ всего грустнаго и горькаго жизни. Она точно была счастлива чистымъ, свѣтлымъ счастіемъ, тонула въ блестящемъ, чудномъ мірѣ. Съ ней говорятъ цвѣты и шумящій рой насѣкомыхъ; къ ней наклоняются, будто живыя, трепещущія

вѣтки деревьевъ; на нее черемуха сыплеть душистый снѣгъ своихъ цвѣтовъ; надъ ней, въ тихій вечеръ, раскидывается звѣздное небо и несется плѣнительная пѣсня соловья, — пѣсня, отъ которой смолкаетъ таинственная рѣчь деревъ и голубая струя останавливается, какъ очарованная, не смѣя дрогнуть, съ отразившимися въ ней небесами. Бываютъ, правда, и такія минуты, когда душа омрачается невольной тоской; но она умѣла ладить съ этой тоской, умѣла прогонять ее силой воли. Ей одной принадлежала способность погружаться душой въ самые темные, въ самые возмутительные вопросы жизни, и выносить изъ нихъ, вмѣсто горькихъ умствованій, или отчаяннаго ропота, свѣтлую вѣру и покорность. Съ другой стороны она принадлежала къ числу тѣхъ натуръ, которыя измѣняются туго и медленно, ничего изъ жизни сердца не отдаютъ даромъ, безъ бою, все уносящему времени. Ей сперва тяжело было встрѣчаться съ Симонскимъ; разговоръ и обращеніе съ нимъ требовали всевозможной ловкости и осторожности ума. Невозможно, чтобы мужчина смотрѣлъ безъ нѣкотораго участія и любопытства на женщину, нѣкогда любимую имъ и любившую его. Самолюбіе поминутно задаетъ ему вопросы: неужели она совсѣмъ разлюбила меня? неужели у ней не осталось и тѣни прежняго чувства? И, вотъ, онъ внимательно слѣдитъ за женщиной въ надеждѣ подмѣтить эту тѣнь чувства; и чѣмъ скрытнѣе она, тѣмъ раздражительнѣе становится въ немъ желаніе узнать истину. Юліи нельзя было не замѣтить въ Симонскомъ подобнаго вниманія; она ловко оградилась правами родства и дружбы, съ самымъ яснымъ спокойствіемъ называетъ его братомъ; говоритъ ему «ты»; смотритъ ему въ глаза свободно и прямо, и видитъ въ нихъ иногда мгновенную тѣнь досады и недоумѣнія. Последнее могло бы радовать ее, еслибъ она не презирала такъ глубоко всѣ бездѣльныя и мелочныя потѣхи самолюбія, еслибъ не любила нѣжно Катю, еслибъ не уважала себя и не ставила долгъ выше всего. Сперва бывало ей грустно и тяжело, но потомъ, мало по малу, она успокоилась и такъ привыкла къ своей роли, что была

увѣрена, что не измѣнитъ ей до конца и радовалась своей силѣ.

Быль жаркій юньскій день; солнце однако зашло уже за деревья Жиловскаго сада и бросало трепетную тѣнь на песокъ дорожекъ и на ступеньки балкона, по которымъ Юлія спорхнула въ зеленую, тѣнистую алею и поворотила въ сторону на большой, круглый лугъ въ саду, среди котораго возвышалась копна недавно скошеннаго сѣна. Она шаловливо опустила на нее и осталась полудежа, одной рукой поддерживая голову, а другой задумчиво стала выбирать изъ сѣна засохшіе цвѣты.

— Помилуй, Julie, сказала показавшаяся въ кустахъ Катя, — я за тобой гонюсь, какъ тѣнь, а ты, какъ тѣнь, убѣгаешь отъ меня. Съ полчаса, какъ ищу тебя.

— Что это ты какая нарядная, мой другъ? сказала Юлія, бросивъ взглядъ на ея шелковое платье.

— Меня звали къ Синицинымъ на вечерній чай; она пмянинница. Какъ жаль, что ты съ ней незнакома! вмѣстѣ бы поѣхали.

— Это ихъ домъ съ красной крышей виденъ отсюда?

— Ихъ. До свиданія!

— А твой мужъ не пойдетъ? спросила Юлія.

— Нѣтъ, онъ ихъ не любитъ. Велѣлъ сказать, что нездоровъ. А гдѣ Вольдемаръ?

— Ушелъ съ ружьемъ. Прощай, моя Катя!

Она проводила ее за нѣсколько шаговъ и опять воротилась на свой сѣнной диванъ, опять задумчиво стала выбирать изъ сѣна скошенные цвѣты. Вечерній вѣтерокъ слегка колыхалъ ея волосы, въ которыхъ синѣли полуувядшіе васильки. Ея голубые глаза свѣтлѣли и темнѣли, полукрываясь длинными рѣсницами; мало по малу, веселое, безпечное выраженіе ея лица преобразилось въ тихую, глубокую грусть. Но едва она замѣтила въ концѣ аллеи пыльнаго цвѣта сюртукъ Симонскаго, эта грусть исчезла вмѣстѣ съ легкой тѣнью, мелькнувшею у ней между бровей. Когда онъ подошелъ къ ней, лицо ея снова стало безпечно и весело.

— Что ты не поѣхалъ къ Синицынымъ? спросила она его.

— Что тамъ дѣлать? задыхаться отъ жара въ комнатахъ, слушать цѣлые часы пустѣйшую болтовню этой бабы.

Онъ сѣлъ возлѣ Юліи. На западѣ разлилось цѣлое море огня и золота; до нихъ долеталъ вечерній ароматъ цвѣтовъ.

Напрасно они оба хотѣли говорить о чемъ нибудь, предметы разговора исчезали, затемняемые самымъ желаніемъ уловить ихъ. Симонскій началъ первый.

— Мало тебѣ живыхъ цвѣтовъ, Julie? сказалъ онъ,—ты набрала еще сухихъ.

— И они также жили.

— Жили да отжили. Любить отжившее, не все-ли равно, что любить прошедшее; а вѣдь ты не любишь *своею* прошедшаго?

— Мнѣ жаль его, какъ преждевременно скошеннаго цвѣтка.

— Какъ тебѣ нравится то положеніе, въ которое поставила насъ судьба?

— Очень мило и ново...

Она улыбнулась съ легкой насмѣшливостью.

— Не застала бы Катю на дорогѣ гроза; да и Вольдемаръ на охотѣ; бѣдняжка! куда-то онъ укроется отъ дождя? сказала она, помолчавъ.

Въ самомъ дѣлѣ, съ южной стороны заходила темносиняя туча, по которой, время отъ времени, пробѣгали огненные змѣйки. Разлилась удушливая тишина.

— Нѣтъ, сказалъ Симонскій,—ни ей, ни ему нечего бояться грозы. Что ты такъ пристально смотришь на тучу? Ужъ не хочешь-ли остановить ее взглядомъ.

— Нѣтъ, въ ней самой есть что-то притягивающее; притомъ она нисколько не затемняетъ заходящаго солнца, видъ прелестный.

— Онъ еще лучше, вонъ, изъ той бесѣдки,—сказалъ Симонскій:—пойдемъ туда.

Она подала ему руку. Бесѣдка стояла въ самомъ тѣни-

стомъ углу сада; но сквозь сѣтку окружавшихъ ее кленовъ открывался видъ на рѣку, церковь и темный лѣсъ съ убѣгающею далью. Удушливый воздухъ былъ напитанъ благоуханіемъ резеды и воздушныхъ жасминовъ. Туча находила все ближе. Зашумѣли и закачались гибкія вершины кленовъ; удары грома становились чаще и сильнѣе.

— Julie! сказалъ вдругъ Симонскій и голосъ его какъ-то странно слился съ шумомъ грозы,—вѣришь ты въ судьбу?

— Да, но я не фаталистка, я не сваливаю на нее всѣхъ глупостей сердца и ошибокъ ума...

Она отвернулась и продолжала смотрѣть въ даль глубокимъ. вопрошающимъ взоромъ.

— Julie! продолжалъ Симонскій, взволнованнымъ голосомъ, приближаясь къ ней;—полно! Кончимъ эту комедію! Ты завела мою душу въ потемки; я хочу свѣта; сомнѣніе невыносимо. Скажи... Скажите, что вы меня простили... что въ вашей душѣ нѣтъ никакого чувства затаенной ненависти... или, что вы ненавидите меня... Что нибудь, только вѣрное, истинное! Умоляю именемъ прошедшаго!..

Она вздрогнула и выпрямилась.

— Чего вы хотите? Было время, когда я точно была близка къ ненависти, и это чувство было для меня слишкомъ тяжело... Теперь оно прошло, я желаю вамъ добра; это, по моему, значить простить... Вотъ вамъ правда. Я никогда не гнала передъ вами, оттого вы и разлюбили меня... Но... вѣдь вы братъ мнѣ? братъ!—сказала она, задущая волненіе,—въ этомъ имени есть свое прекрасное счастье.

— Правды, Julie, правды! Ради всего святаго!

— Я сказала правду, Платонъ; не спрашивай меня больше... Мнѣ тяжело...

Голосъ ея задрожалъ, она не могла скрыть слезъ, выступившихъ на глаза.

— Такъ это что же значить, мой другъ? такъ это что же значить?.. сказалъ онъ, остановясь передъ ней съ выраженіемъ неотразимой вѣжности.

Розовый лучь заката падалъ на его смуглое вспыхнувшее страстью лицо, и ей показалось, что все ея прошедшее счастье воскресло и олицетворилось въ этомъ образѣ... Она хотѣла уйти, но осталась неподвижною, окованная непобѣдимымъ очарованіемъ. Ей вдругъ стало душно и страшно; она пошатнулась и упала бы, еслибъ онъ не поддержалъ ее. Но она тотчасъ опомнилась...

— Забудьте эту минуту! говорила она тоскливо, отнимая свою руку.—Это такъ... это только сила прошедшаго... Забудемъ его!..

— Забудьте, если это вамъ такъ легко, отвѣчалъ онъ;— что же касается до меня, то забвеніе и память не въ моей власти... Послушайте, продолжалъ онъ,—только теперь, только въ эту минуту, я понялъ, что люблю... т. е. любилъ васъ истинно, потому-что ваше вліяніе надо мной пережило вліяніе многаго и многихъ. Я потерялъ васъ навсегда; чувствую это и скорблю; но обвинять мнѣ въ этомъ некого... Я забывалъ васъ долго; это не могло не оскорбить вашей гордости, вашего чувства. Отчего и какъ это сдѣлалось, я не умѣю, не хочу объяснять... Но, какъ бы то ни было, я хочу, чтобъ мы разстались друзьями, чтобъ вы простили меня. Мы расстаемся только теперь; завтра я буду для васъ чужой... Но теперь... Эта минута—минута разлуки вѣчной... Мы умираемъ другъ для друга... Дайте же вашу ручку, не отворачивайтесь отъ меня...

Онъ былъ искрененъ. Голосъ его дрожалъ; онъ былъ блѣденъ. Она тихо плакала. Надъ ней опять грозной тучей нависла сила прошедшаго... Ея рука дрожала въ его рукѣ. Все, что до сихъ поръ сдѣлала она надъ собой силою своей воли, убѣгало изъ ея души, какъ туманъ отъ лучей солнца... Уста ихъ встрѣтились...

— Julie! гдѣ ты, куда пропала? раздался въ ту же минуту голосъ Владимира.—Какъ можно сидѣть въ саду въ такой дождь!..

Этотъ голосъ показался ей звукомъ послѣдней трубы.

Она, сама не понимая, что дѣлаетъ, выпрыгнула въ противуположную дверь бесѣдки, и исчезла въ кустахъ.

— Ты ищешь Julie? сказалъ Симонскій, выходя къ Владиміру на встрѣчу.—Она вѣрно дома. Ай, какой дождь! Давно-ли?

— Да ты спалъ, что-ли? сказалъ Владиміръ.—Съ полчаса, какъ льетъ.

— Да, я уснулъ; ты разбудилъ меня своимъ крикомъ. Да ты весь промокъ, и, какъ разъ, къ чаю пришелъ. Войдемъ поскорѣе.

Когда Владиміръ вошелъ въ чайную, Юлія сидѣла за самоваромъ и встрѣтила его привѣтливой улыбкой, жалѣя, что онъ промокъ и опасаясь за его здоровье. Лицо ея было спокойно, но чрезвычайно блѣдно. Въ этотъ вечеръ взоръ ея ни разу не встрѣтился со взоромъ Симонскаго. Она не шутила съ нимъ по прежнему, но была холодна и молчалива...

— Ты ужъ не поссорилась-ли съ Платономъ? спросилъ ее Владиміръ, когда они остались одни.

— Нѣтъ, отвѣчала она.—А ты скоро ѣдешь домой, Володя?

— Черезъ три дня, мой другъ. Ты знаешь, что отпускъ мой кончается. Черезъ двѣ недѣли я пріѣду за тобой; но дольше, ради Бога, не оставайся здѣсь, я съ ума сойду отъ скуки.

— Я поѣду съ тобой, сказала Юлія.

— Неужели? Какъ ты добра, мой ангелъ! Но это жертва... тебѣ такъ хорошо въ деревнѣ; Катя такъ проситъ...

— Я поѣду съ тобой, Вольдемаръ. Мнѣ скучно безъ тебя, безъ тетушки.

И черезъ три дня, не смотря на просьбы Кати и Платона, она уѣхала съ мужемъ домой...

1851.

Содержаніе перваго тома.

Юлія Валеріановна Жадовская Стр. I—XXVI

Стихотворенія.

1844—1847.

Лучшій перлъ тамся	1
Приближающаяся туча	2
Молитва (Молю Тебя, Создатель мой)	3
Водяной	4
Возвратъ весны	5
Притворство	6
Вечерняя мысль	7
Совѣтъ	8
Мнѣ грустно; осеннее небо угрюмо	10
Ты скоро меня позабудешь	12
Молитва (Къ Тебѣ, Всемогущій)	13
Въ сумерки	14
Сожалѣніе	15
Вечеръ и утро	16
Теперь не то	18
Искушеніе	19
Двѣ сестры	20
Я плачу	22
Я все еще его безумная люблю	23
Что такъ неожиданно	24
Русалка	25
Вечеръ	27
Исторія цвѣтовъ	28
Опять спокойно надо мной	30
Я люблю смотрѣть	31
Молитва (Мира Заступница, Матерь всецѣлая)	33
Ангель Хранитель	34
Дитя	35
Невыдержанная борьба	36
Ночь	37

	Стр.
Все ты уносишь, нещадное время	38
Ребенокъ (Дума)	39
Вопросъ о счастьи	41
Тяжелый часъ	42
Ноктурно	43
Жажда небснаго	44
Монологъ	45
Бабушкинъ садъ	46
Много капель свѣтлыхъ	48
Ө. Н. Глинкѣ	49
П** (Напрасно ты сулишь такъ жарко славу мнѣ)	50
Вечеромъ	51
Взглядъ	52
Ошибка	53
Воспоминаніе	54
Какъ сильно тебя я любила	55
Впередѣ темнѣтъ	56
Неизбѣжное	58
До свиданья	60

1847—1856.

Я вновь полна чудесныхъ звуковъ	61
Никто не виноватъ	62
Прощай	64
Облака	65
Возрожденіе	66
Сила звуковъ	67
Отвѣтъ С. А. Николаевскому	68
Не бросай ты цвѣтовъ	69
Необходимое притворство	70
Ты всюду предо мной	72
Э. И. Губеру	73
Вѣрь—не вѣрь	74
Вчера, уединясь съ тобой въ саду тѣнистомъ	76
Чудная минута	77
Все бы я теперь сидѣла да глядѣла	78
Вечернія думы	79
Письмо	82
Дума	85
Пробужденіе сердца	87
Разная участь	91
Люди много мнѣ болтали	93
Ты спросила, отчего я	94

	Стр.
Любви не можеть быть межъ нами	95
Скучный вечеръ	96
Ночь. Все тихо. Только звѣзды	97
Для милыхъ	99
Отсутствующему другу	100
Грустная картина	102
Часы вечера	104
Ты меня позабудешь не скоро	107
Ночь... Вотъ, въ садъ тѣнистый	109
Письмо (М. П. Вронченко)	110
Вечеромъ	112
Скоро весна	114
И. С. Аксакову	115
Мигъ обновленія	117
Т. Г—ой (Страсти истинной глубокой)	118
Въ столицѣ	120
О, съ какой умилительной грустью	122
Кто мнѣ родня?	123
Полночная молитва	124
Раннимъ утромъ	125
Другъ мой! видишь-ли по небу	126
Неутоленная жажда	127
Среди бездушныхъ и ничтожныхъ	129
Посѣщеніе	130
У креста и на крестѣ	135
Ты знаешь-ли, мой другъ, я видѣла Брюлова	138
Въ Москвѣ	139
Современному человѣку	140
У портрета	141
Н. Ѳ. Щербанъ	142
Отрывки изъ неоконченнаго разсказа	143

1856—1859.

На пѣснь соловья	152
Да, я вижу,—безумство то было	154
Кляню тебя, слѣзное убѣжденье	156
На пути	157
Не зови меня безстрастной	158
Увы! и я, какъ Прометей	159
Тихо я бреду одна по саду	160
Они не сердца голосъ страстный	161
Мой другъ печаль твоя напрасна	162
Какъ сладко принять мнѣ	163

	Стр.
Тотъ, кого любила	164
Здѣсь я, здѣсь, въ благовономъ саду	165
Вижу, въ слезахъ ты	166
Лѣтній полдень страстнымъ зноемъ	167
Заколдованное сердце	168
Нива	170
По зеленому лугу гуляя	171
Туча	172
Посѣвъ	173
Говорять,—придетъ пора	175
Не даромъ вставила всю жизненную драму	176
Видѣнне пророка Іезекииля	177
Не святотатствуй не грѣши	179
Молитва (Духъ премудрости и разума, и силы).	180
Тунеядцамъ	181
Не твердишь онъ мнѣ льстивыхъ рѣчей	182
Н. А. Некрасову	184
Много лѣтъ ладью мою несло	185
Чѣмъ ярче шумный пиръ	186
Нѣтъ, никогда поклонничествомъ низкимъ	187
Фея весны	188
Михаилу Павловичу Розенгейму	192

Переводы.

1849—1859.

Ель (Изъ Фрейлигграта)	193
Прощай (Изъ Уланда)	195
Вечернее небо (Изъ Зейдлица).	196
Изъ Гейне. Intermezzo I—XLVIII	197
Изъ Гейне (Мѣсяць всталъ, морскія волны)	216

Повѣсти.

1847—1851.

Простой случай	219
Неумышленное зло	231
Отрывки изъ дневника молодой женщины	243
Переписка	261
Ни тьма, ни свѣтъ	283
Непринятая жертва	293
Сила прошедшаго	321

